

ЛЕНИЗДАТ



СОВРЕМЕННАЯ

ПРОЗА

ГДР

ИДЕОЛЮГИЯ ОСОБИ





ЛЕНИЗДАТ
1987

**СОВРЕМЕННАЯ
ПРОЗА
ГДР**

**Эберхард
ПАНИЦ**

**Гюнтер
ХОФЕ**

НЕСВЯТАЯ СОФИЯ

Перевод В. В. Фадеева

Несвятая София: Современная проза ГДР. —
Н55 Л.: Лениздат, 1987. — 320 с., ил.

В состав сборника входят роман лауреата Государственной премии ГДР Эберхарда Паница «Несвятая София» и цикл рассказов Гюнтера Хофе. Они посвящены осмыслению уроков второй мировой войны, переоценке немецким народом нравственных ценностей после разгрома фашизма, строительству новой Германии — государства рабочих и крестьян.

Н 4709000000—189
М171(03)—87 225—87

84.34(4Ге)

© Перевод, оформление,
состав, Лениздат, 1987

Эберхард Паниц родился в 1932 году в Дрездене. Вместе с семьей (его отец был кондуктором трамвая) пережил варварскую бомбардировку города американской авиацией во время второй мировой войны. Трудовую жизнь начал строителем. Литературной работой занимается с 1959 года. С тех пор выпустил около десятка книг художественной прозы и репортажей, создал несколько сценариев для кино и телевидения. С его романами и повестями советского читателя познакомил издательство «Радуга», повесть «Трамвай моего отца» была напечатана в журнале «Иностранная литература». Творчество писателя посвящено в основном современной жизни ГДР, становлению новой Германии. Э. Паниц удостоен медали Эриха Вайнера и двух литературных премий ГДР.

Гюнтер Хофе — прозаик, публицист, автор пьес и киносценариев. Родился в 1914 году в Берлине в семье рабочего. Как и большинство сверстников, был вовлечен в развязанную Гитлером войну — в качестве офицера резерва. После войны был журналистом, преподавателем, руководил крупным издательством. Широкую известность в ГДР получили его романы «Красный снег» и «Мерси, камерад». Главная тема творчества — социальная сущность гитлеризма, осмысление немцами трагических уроков второй мировой войны.



Эберхард
Паниц

НЕСВЯТАЯ СОФИЯ

Роман

1

Судя по всему, Красная София постаралась исчезнуть бесследно. Не удалось отыскать ни фотографий, ни документов, ни писем, — огонь уничтожил все ее имущество. Остались лишь устные предания, да и те часто не внушают доверия и так противоречат друг другу, что судить по ним о человеке — дело почти безнадежное. Одни говорят, что это была ничем не примечательная, вполне заурядная личность, другие, наоборот, подчеркивают неотразимую силу характера и при этом наделяют его столь трудно сочетаемыми качествами, как живой ум, чувство юмора, железная воля, мужество, легкомыслие, тяга к приобретательству, честолюбие, взбалмошность, фанатизм, гордыня, простодушие и полнейшая беззастенчивость. Даже насчет цвета волос нет единого мнения — получается довольно богатая гамма от красно-рыжего до темно-каштанового. Нос рисуют заостренным или чуть вздернутым, рот — маленьким, но с пухлыми губами, которые могли, однако, принимать дерзкое выражение, когда с них срывались приказы и распоряжения или раскаты звучного смеха. В больших глазах якобы отражалось вечное беспокойство, они были неопределенного цвета и умели точно подыгрывать всем капризам характера, в них могли вспыхнуть искра соблазна и огонь торжества — смотря по обстоятельствам.

8 В конце войны она появилась вдруг в Зандберге, близ Лухова,— в деревушке, схоронившейся меж холмами и озерами. Уже тогда сплеталось затейливое кружево легенд о ее летучей жизни, и разговоры эти не смолкают по сей день. Никто не верит в ее смерть, потому что исчезновение Софии было не менее интригующим, чем появление. Но, вероятно, следует признать достоверным тот факт, что сюда она прибыла из Галиции, а именно — из городка Дрогобыча. Во всяком случае, кроме этих самых общих сведений, от нее никто ничего не добился. В Дрогобыче издавна жили бок о бок украинцы, поляки, евреи и немцы, кстати сказать, неплохо ладившие друг с другом. Улицы были тесные, заборы трухлявые, сквозь них просвечивали цветущие сады и деревянные подворья. Правда, некоторые из улиц претендовали на респектабельность, тяготели к порядку и четкости планировки. Были там две-три виллы с узорными чугунными решетками; обнесенная неприступной оградой гимназия; торговый квартал с золочеными кренделями и пузатыми буквами в витринах; большая рыночная площадь, набухающая после дождя жижей непроходимой грязи. И только узенькая мощеная дорожка, по диагонали пересекающая площадь, была тут единственным надежным путем. Так добирались до церкви — каменной кубышки с граненой башенкой, где извозчик по имени Франц Гвиннер и его супруга, давно уже миновав пору молодожества, крестили свою единственную дочь Софию.

Может статься, что родители ее, правоверные христиане, дали ей имя в честь святой Софии — той самой истово верующей римлянки, которую вместе с тремя детьми в 120 году нашей эры префект предал позору и пыткам, после чего ее тело было найдено на Аппиевой дороге, где единоверцы и оплакали смерть мученицы.

2

Дом с островерхой крышей, в котором меня ждали непредвиденные встречи с прошлым, был весьма невелик, аккуратно оштукатурен и по деревянным деталям обведен каймой черно-красного лака. Он прилепился к горному склону, так что сосны гладили и царапали его крышу. Деревенские ребяташки прозвали его «ведьмин дом», они же придумали дразнилку:

Кто шуршит-шебуршит,
Кто свой домик шелушит?

В погребе жили мыши, под кровлей гнездились птицы, вокруг — песок да песок, намытый еще доисторическими

реками и плотно осевший в окрестностях Зандберга. Сразу же после войны в домике у горы стали селиться беженцы, прежде всего берлинцы. Спасаясь от бомбежек, они потянулись в лесную глухомань, стали занимать пустующие дома и даже сарай.

Десять лет назад я взял этот дом в долгосрочную аренду. Он давно уже пустовал, хотя чьими-то стараниями поддерживался в полном порядке. Меня не особенно смущали предостережения местных жителей, которые обходили его за версту, а при упоминании о нем бормотали что-то тревожное и невнятное. Мне нравилась уединенная оседлая жизнь, я был сыт по горло отпускными поездками и предпочитал целыми днями валяться на солнечной просеке, обложившись со всех сторон книгами по специальности, главным образом сочинениями историков. Утром и вечером я купался в Луховском озере, иногда просто сидел без дела на кочковатом берегу, смотрел на парусники, на чаек, на детей, играющих в мяч, и культивировал в себе глухоту к визгам купальщиков и реву транзисторов. Однажды все эти усилия были посрамлены: я услышал разговор о Красной Софии.

— Живи она здесь сейчас, все выглядело бы иначе — и деревня, и побережье, — сказал мужчина лет сорока.

Я узнал в нем киномеханика — со своей установкой он разъезжал по здешним местам. Какая-то женщина и два ее спутника стали шумно возражать ему:

— Дрянь, каких поискать, вот кто ваша София. Распутная тварь. Думала только о себе, а над деревней измывалась как хотела!

— Ну уж нет, — не сдавался киномеханик, — в чем, в чем, а в чувстве справедливости ей не откажешь. Если кто здесь и жил для блага всех, так это она, хотя, может, не все у нее хорошо получалось.

Ему ответили саркастическим смехом. Еще бы, ведь родители рассказывали совсем другое, а сами они в те годы были детьми и Софию как-то не запомнили.

— Она и впрямь с неба свалилась — это каждый знает. А по деревне разъезжала в коляске, что твоя госпожа, да еще и бичом щелкала, — сказала женщина, закрываясь рукой от солнца.

— Не надо придавать значения мелочам.

Примерно в таком же духе был склонен думать и я, когда в один из вечеров от удара камня вдребезги разлетелась стеклянная дверь моей веранды. Я успел только заметить, как бросилась наутек ватага мальчишек, тех самых младшекласников, которые часто облепляли изгородь и

10 выкрикивали свою дразнилку про «ведьмин дом». От них я и услышал самый ехидный куплет:

Ведьмин дом
с барахлом,
заперлась София в нем.
Ты не запирайся!
Лучше выметайся!

Моим первым побуждением было догнать мальчишек, призвать их к ответу, может быть, поговорить с их родителями, тем более что кое с кем я уже свел знакомство. Но вместо этого я нагнулся за предметом, которым был нанесен ущерб моему дому, и увидел, что это совсем не камень, а ржавая гильза от снаряда — реликт последней войны, прогремевшей и по этим тихим местам. «Какое-то сумасшедшее лето,— писал я в тот же вечер в Берлин моей жене Рут, по горло занятой своими журналистскими делами.— Читаю ветхие фолианты, повествующие об истории Тридцатилетней войны, я безуспешно воюю с комарами, которые, кажется, способны пролетать сквозь стены». Нашей восьмилетней дочери Ане я послал открытку с видом Зандберга. Аня находилась в детском лагере близ Укернца, и я пожелал ей как можно больше солнца, песка, красивых камней и как можно меньше комаров! «И гильз от снарядов»,— добавил я уже про себя.

Я постепенно погружался в отдаленную эпоху, мысленно уходил в средневековье, в кануны нового времени, когда прусский ландшафт лишь изредка оживлялся селениями, дорогами и прудами. Подпочвенной толщей, на которой появились потом обширные леса, с незапамятных времен был песок, и только песок. Но проходили века, и тонкий слой чернозема все больше затягивал песчаные равнины. Летом луга превращались в высохшие и окаменевшие торфяники, покрытые буро-зеленой сетью переплетенных корневищ, и ей не было видно конца. Весной же, во время разгула талых и почвенных вод, сеть становилась густой и почти непроницаемой, она поднималась вместе с водой, образуя коварное подобие зеленой тверди.

Вот откуда берутся здешние комары. Уже поздней ночью я погасил лампу и твердо решил вытребовать утром стекольщика. Бойтся он этого места или нет — кто-то должен чинить дом на горе. С этими мыслями и с мечтой о покое я наконец уснул, несмотря на массивные комариные атаки.

Утром, только я собрался идти за стекольщиком и уже запер дверь, ко мне пожаловала некая старая дама. Это была фрау Скаландер.

— О, да вы недурно устроились в моем доме! — воскликнула она и тут же споткнулась о корень дерева, пересекающий дорожку. Она покачнулась, хватаясь руками за воздух, потом оперлась на сосну и попросила, чтобы я помог ей подняться по ступенькам. — Кошмар, а не лестница, — заворчала она, — стоило чуть-чуть недоглядеть, и вот пожалуйста — сделали кое-как. Уж потом-то я глаз строителей не спускала, и домик получился на славу. Или вы не согласны со мной?

Действительно, лестница состояла из невероятно крутых ступеней, некоторые камни давно уже расшатались, и без риска сломать себе шею в дом было не подняться. Лучший способ — одолевать ее одним прыжком, на что я, естественно, никак не мог вдохновить дряхлеющую даму. Не хотелось мне и отказывать ей от дома, хотя меня раздражал ее чересчур самонадеянный тон. Я достаточно любезно кивнул ей, когда она назвала себя, и тут вспомнил имя прежней домовладелицы, которое значилось в договоре об аренде. Я подхватил ее под руки, мягко направил к двери и спросил:

— Вы, собственно, ко мне?

— Совершенно верно. Сейчас самое время нам кое-что обсудить.

Она вошла в дом твердой походкой, как-то сразу подтянулась, о улыбкой огляделась вокруг и тут же снова приняла серьезный вид.

— Ну это же полный разгром, — сказала она, указывая на разбитую дверь веранды. — Я, конечно, не ожидала увидеть здесь ничего хорошего, но чтобы до такой степени... Короче говоря, я собираюсь продать дом, пока он еще не превратился в развалины. Как вы на это смотрите?

Я стоял как громом пораженный, не зная, что ей ответить и вообще как вести себя в этой ситуации, а она непринужденно расхаживала по комнате, брала с полок книги, листала их, приценивалась к лампам, шкафам, косякам и оконным рамам, прошупывала и простукивала стены и, наконец, угнездясь в моем кресле, стала настойчиво внушать, что именно я должен переменить в этом доме и чего мне здесь якобы не хватает.

— Но послушайте... — пытался я возразить, задетый и

12 этим неожиданным визитом, и бесцеремонным тоном, и предложением купить дом.

До сих пор мне было здесь хорошо — тут она, безусловно, права. Вот уже десять лет, как я нашел здесь, на горе, свой второй дом. Я платил за него сущий пустяк совету общины, и еще мне надлежало поддерживать его в приличном состоянии: надо новую лестницу — извольте, поправить покосившуюся изгородь — пожалуйста, и о стеклах должен, конечно, заботиться тоже я, хотя до вчерашнего дня они были целехоньки.

— Стекло разбили только вчера, — сказал я, воздерживаясь от более решительных объяснений. — Местные сорванцы поработали.

— Вчера? — Старую даму всю передернуло, ее морщинистое, худосочное лицо выражало и ужас и гневную решимость. — Вчера приехала я. Значит, это в мой огород камешек.

Она встала, назвала свой западноберлинский адрес и пояснила, что приехала сюда на пару деньков к приятельнице и бывшей соседке — фрау Трибель. Я хорошо знал эту пожилую вдову, она иногда выручала меня луковицей или пучком петрушки.

— Я думаю, нам хватит недели, чтобы все уладить, дольше я здесь просто не выдержу, — заявила фрау Скаландер. — Боже! Чем меня встречают родные места! В прежние времена я не позволяла швырять в себя камнями.

Она направилась к двери, заглянула в кухню, постояла там немного, потом начала придирчиво изучать доски пола — новенькие, отциклеванные, сверкающие бесцветным лаком.

— У меня был линолеум, никому бы и в голову не пришло, что под ним — крышка погреба, — хитровато хохотнула она. — Но и это не помогло. Наоборот. Получилась ловушка.

И она тут же, без околичностей, стала мне рассказывать о сыне. Поднесла к глазам платочек и, расчувствовавшись, призналась мне, что этот дом был предназначен ему, что, отказывая себе во всем, она думала лишь о его благе.

— А потом нас постигло несчастье. Все пошло прахом. Сын был там, внизу, когда пришли русские. Они вытащили его и повели под конвоем. Они отняли его у меня и даже не слушали, когда я бежала за ними и умоляла не трогать его. Я обещала все, что они ни попросят...

Она стояла на крышке погреба, словно не собиралась сходить с этого места и не желала признавать перемен, происшедших за десятилетия. Казалось, что всем своим не-

великим весом она пытается так придавить крышку погреб, чтобы сын оставался внизу и никогда не покидал этого дома.

— Война уже кончилась, а сын все не верил, — дважды сказала она. — Он не хотел снимать военную форму и расставаться с оружием, он не слушал меня, он вообще никого не слушал.

Она протянула руку к электроплите, недавно мною купленной, очевидно не сомневаясь, что это — ее старая плита, в которую она перекидала столько угля, и мечтательно, с какой-то судорожной улыбкой начала вспоминать:

— Хорошая плита! Когда сын вернулся, я готовила ему уйму вкусных вещей... — Тут вот стояли горшки и кастрюли, там — плетка для жаркого и тазы для варенья. Уж она-то сумела набить погреб консервами и банками с компотом.

Старуха словно прилипла к полу и не могла отвести от него глаз, совсем как в тот день, когда линолеум скрывал вход в убежище сына, а советские солдаты уже стучали прикладами в дверь.

— Якобы дым из трубы их привлек. Да никогда я не поверю в эти сказки. Русских кто-то навел!

Она ткнула пальцем в сторону леса — русские пришли оттуда. Ее сын, не разгибаясь часами, сидел в погребе, он боялся самого страшного, а вот она, по ее словам, сохраняла спокойствие, когда по лестнице загрохотали сапогами пятеро мужчин. «Я здесь одна как перст, — уверяла она пришельцев, — можете обыскать весь дом: комнату, кухню, чердак... у меня негде прятаться, да и некому». Но пришлось все-таки отойти в сторону. Не помогли ни клятвы, ни уговоры, ни отчаянное сопротивление — солдатский штык вспорол линолеум, крышка погреба подалась вверх, и вскоре ее сын с поднятыми руками стоял среди кухни. «Умоляю, не убивайте его!» — кричала она и бежала за ними, а сын уже искал опоры в кузове рванувшего с места грузовика. Потом она услышала выстрелы, сломя голову бросилась под гору и побежала напрямик через сосновый бор, где еще и в помине не было ни «бунгало» для отдыхающих, ни детских лагерей, ни волейбольных площадок. Тогда все выглядело иначе — лес, глухой кустарник, расчищенный прямоугольник садового хозяйства Трибелей с летним домиком и едва принявшимися деревцами, дальше — «башня» художницы Алексис, у подножия — озеро Красноперка, дюжина крестьянских дворов с сельским ресторанчиком в середине и господским домом, откуда лились звуки гармошки. Ни выстрелов, ни убитых и вообще никаких

14 видимых примет войны. Только маячившая вдалеке колонна грузовиков, бесшумно исчезающих в облаке за клубившейся пыли.

Позднее она узнала, что вдоль дороги, ведущей к соседней деревне, захоронены немецкие солдаты. Никто не знал, сколько их, никто не знал имен. Да и в лесу, на укромных тропинках, местные грибки натыкались порой на холмики свежей земли, на каждом лежала серая стальная каска. Фрау Скаландер целыми днями бродила среди них, осматривала и ощупывала каски, вздыхая, возвращала их на место, но имени «Скаландер», этих нескольких букв, выцарапанных на серой поверхности металла, она так и не нашла.

— И все-таки я знала, что потеряла его,— сказала она,— здесь, в этом доме, потеряла. Дом я, конечно, продам, не принес он мне счастья.

Растроганная собственными словами и воспоминаниями, она наконец замолчала. Чувствуя, что мое терпение на исходе, я пошел к двери и довольно внятно напомнил ей:

— Мне надо в деревню, к стекольщику.

— Здесь нет никакого стекольщика,— ответила она, еще раз окинув взглядом помещение.

Сокрушенно вздохнула я отступила от крышки погреба, но снова застыла на месте, пока я не взял ее за руку и не повлек за собой вниз по лестнице.

— Этому дому почти тридцать лет,— сказала она, вновь впадая в задумчивость.— А крыша как новая! Кровельщиков я выписала из Берлина, стекольщика — из Лухова, здешним был только плотник, старый плут Левке! Он уж давно умер, но успел порядочно мне нагадить. Вот так-то.

У калитки она попрощалась и пошла в деревню. Стекольщика я нашел, это был молодой парень, мастер на все руки, сейчас на нем держалось строительство теплицы. Он обещал зайти после обеда и спросил, как меня найти. Когда я описал ему дом на горе, он прищурился и сказал:

— Ага, теперь понятно. Там ведь жила Красная София?

4

Лесные могилы, упомянутые фрау Скаландер, в нашей округе знает всякий — березовые кресты, до дыр проржавевшие каски, кое-где кувшинчики с цветами. Ни одна из могил не запущена. Даже зимой за ними ухаживают, украшают их еловыми ветками, весной расчищают от валежни-

ка, выпалывают бурьян, сажают анютины глазки, поправляют поребрики из булыжника. Но в большинстве своем деревенские и приезжие обходят эти могилы стороной и не любят мрачные воспоминания, с ними связанные. Траншеи и окопы последних дней войны мало-помалу засыпались песком, зарастали травой, ежевичником, молодыми сосенками. О том, что творилось здесь много лет назад, говорят неохотно. Но черные руины у Щучьего озера если и можно обойти, то взглядом не миновать. Правда, там появились штабеля строительных материалов, через несколько месяцев вырастет новенький корпус дома отдыха.

Плотника Левке, который наверняка нашел бы, что порассказать, уже нет в живых. Я часто думаю о нем. Его я знал лучше, чем других жителей деревни. На память мне приходят его занятные байки и многозначительные изречения, смысл которых часто был мне неясен. Старика буквально воротило при одном упоминании о Скаландерах, как правило, он уходил от разговора о них, отделялся каким-то высокоумным бормотанием, определенно наваянным чтением книг, громоздившихся вдоль стен его комнаты. «Сколько домов — столько и крыш, сколько голов — столько и нравов», — что-то похожее он бубнил в таких случаях. Он всегда посасывал трубку, уговаривая меня следовать его примеру, и вообще всячески побуждал ко всевозможным начинаниям. Договором об аренде дома, который вознамерилась продать фрау Скаландер, я тоже обязан старому Левке. От него перешла ко мне часть книг, наполняющих мою комнату в этом доме, — многотомная «Всемирная история», «Энциклопедический словарь» Брокгауза и другие издания прошлого века. Эти книги были для Левке платой за работу, когда в последний год войны здесь началось строительство «временок». В лесную глушь ворвался рев моторов — автомобили, мотоциклы, военные грузовики. Эсэсовцы, нацистские функционеры, офицеры, приехавшие в отпуск, военные промышленники, коммерсанты и берлинские чиновники поделили сосновый заказник на участки. Некоторые пригоняли целые обозы с мебелью, тут же, в лесу, выгружали свой скраб и, оставив жен и детей в наспех поставленных налатках, благословляли мир и тишину здешних мест, удаленных и от сотрясаемого взрывами Берлина, и от неотвратимо надвигающегося фронта. Сюда были согнаны иностранные рабочие, откомандированы такие люди, как Левке, доставлены стройматериалы. Домики пошли расти как грибы. Владельцы со спокойной душой переселяли в них свои семьи и на все лады превозносили плотницкий талант мастера Левке, они совали ему

16 всевозможные презенты: хрустальные вазы, столовые приборы, слегка износившиеся ковры, картины и те самые книги, с которыми он поначалу не знал что делать, так как с утра до полуночи орудовал топором и пилой, вытесывая балки, стропила, косяки и двери. Надо заметить, что на себя он не работал и часа, потому и не имел собственной крыши над головой. На первых порах он ночевал на сеновалах. Потом его стали пускать в дом женщины, привезенные сюда своими столичными мужьями: одни приглашали на пирушку по случаю новоселья, другие — как бы в качестве ночного сторожа. «Покажи чёрту палец — он всю руку отхватит», — философствовал Левке. Или: «Умная муха держится поближе к хлопущке».

Лет двенадцать назад я с группой школьников, моих учеников, затеял велосипедный поход. Так я открыл эти места: затерянное среди холмов озеро, оранжевые от лисичек лесные поляны. С тех пор я бываю здесь чуть ли не каждый год. Купание, рыбалка вперемежку с чтением и бесцельными прогулками занимали все мое время, пока я не познакомился со старым Левке.

— Есть путные книжки? — спрашивал он, подходя к моим полкам, и тут же начинал рассыпать свои доморощенные афоризмы и максимы, потом переходил к повествовательным жанрам и раз упомянул Красную Софию, которая, по его мнению, достойна занять подобающее место в истории, не говоря уже о местной хронике.

— Ты что же, историк, даром, что ли, нюхаешь наш целебный воздух? — смеялся Левке.

А когда он повел меня к собственноручно срубленному дому, где жил с конца войны, и вытащил из кармана тяжелую связку ключей, я счел все это продолжением шутки.

— Ну-ка, выбери себе один, — предложил он. — Благодарные женщины, которых мне удалось утешить, удирая отсюда, оставляли мне свои ключи. — Это звучало довольно комично, если учесть, что речь шла о времени, когда вся земля вокруг была перелопачена строителями оборонительных сооружений, когда в боевые действия вводились отряды фольксштурма¹ и земля содрогалась от артиллерийских обстрелов. Одновременно, как по команде, наглухо запирались только что отстроенные дома, и женщины, окончив трогательное прощание с Левке, наказывали ему следить за порядком в пустых жилищах. Снаряды начали

¹ Ополчение, созданное в фашистской Германии во время второй мировой войны на основе тотальной мобилизации мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, (Здесь и далее примечания переводчика.)

уже беспокоить соседний Кляйн-Айххольц, где окопались эсэсовские подразделения. Иные дамочки слишком замешкались и сдали ключи неделю-другую спустя. Когда же в их двери постучали бойцы Красной Армии, они немедленно покинули деревню, не забыв заклинить замки. Самой последней из них — она решилась уехать лишь через два года — была фрау Скаландер. Это я узнал от Левке.

— Она убралась отсюда только после того, как поняла, что София погибла. Можешь селиться в этом доме. Старуха уже не вернется!

И хотя это мне показалось авантюрой, я взял ключ, пошел в совет общины и, к своему удивлению, тут же оформил договор об аренде. Бургомистр был доволен, что у дома появился хозяин, он закурил сигару, пустил в потолок колечко дыма и с поразительной непосредственностью аттестовал мне старого Левке:

— Это старый бубнило, зануда и мучитель! Не поддавайся его завиральным идеям, не верь ни единому его слову! И не позволяй брать свои книги: он их не вернет!

5

После полудня, когда нещадно палило солнце, пришел стекольщик и, не проронив ни слова, сделал свое дело.

— Может, хотите чего-нибудь выпить?

Он отмахнулся и привел здравое рассуждение:

— Либо пить, либо работать.

Играючи, выровнял он большим пальцем замазку на рамах и навел последний лоск маленьким мастерком.

— Так, ну теперь в порядке.

Парень собрал инструмент, с нескрываемым любопытством оглядел мое жилище и как-то разочарованно заметил:

— Вот бы не подумал, что она жила здесь... с ее-то графскими замашками.

Я не имел ни малейшего желания ворошить старые слухи, я лишь спросил, сколько должен за работу, и хотел поскорее вернуться к своим книгам. Но избежать разговора не удалось. Парень с улыбкой стал уверять меня, что не придает значения дурацким домыслам, но сам точно помнит: когда был еще ребенком, София пылила по деревне, стоя в пролетке.

— Иногда она кидала нам, малышам, конфеты и печенье! Не сойти мне с этого места,— говорил он почти взволнованно.— Графиня, да и только.

18 Пробормотав что-то вроде: «Бывает. До свидания», я направился к письменному столу, который стоял теперь у двери веранды. Отсюда я увидел удаляющегося со своей тележкой стекольника, потрогал новое стекло и пришел в восторг при мысли, что теперь мне не страшны ни комары, ни ветер, безжалостно гоняющий по комнате листки с записями. Я достал с полки старые хроники и мемуары, собрал повсюду разбросанные записи и начал читать. На какое-то время мне удалось погрузиться в прошлое, зримо представить себе картину этого края эпохи Тридцатилетней войны: глинобитные хижины, кое-как сляпанные обесилевшими за день руками землепашца, грудились у перекрестков дорог, боязливо жались друг к другу. Эти нищие селения издали, должно быть, напоминали колонии бобров. Ни одно из ветхих строений, разумеется, не дожило до наших дней, остались лишь кое-где уцелевшие господские дома — на редкость угрюмые, без всякого намека на украшения.

Я читал, делал выписки, иногда поглядывал вниз, на деревню Зандберг. Я видел красивые кровли, утонувшие в сочной зелени деревьев; один-единственный крытый камышом каркасный дом и старую помещичью усадьбу; в основном же здесь преобладали свежоштукатуренные каменные здания — целые кварталы новых крестьянских дворов, помещения сельхозкооперативов, десятка два новомодных «бунгалов» для туристов, дома отдыха, обрамленные ровными садовыми аллеями. В начале XVII века это местечко впервые было упомянуто в исторических документах. После Тридцатилетней войны край обезлюдел и как бы перестал существовать. Прошло три столетия, и новая война обрушилась на эти места — Зандбергу в третий раз пришлось появляться на свет.

В раскинувшийся передо мной пейзаж, наложенный на рамку исторической ретроспективы, неожиданно вторглась малопривлекательная фигура. За мной следила фрау Скаландер, стоявшая по ту сторону веранды. Ей, очевидно, не приходило в голову, что нас разделяет стеклянная стена, и она начала что-то горячо мне доказывать и даже протянула мне руку, но наткнулась на стекло и сконфуженно засмеялась. Сверкнув золотыми коронками, она недовольно скривилась, когда поняла, что я не спешу распахивать перед ней дверь. На ее темном шелковом платье красовалась золотая брошь, на запястье болтался золотой браслет, серьги тоже были золотыми, ну и, конечно, золото на пальцах. В этом была какая-то логика — стоило мне выйти к ней, как начался разговор о деньгах. Она назвала точную площадь

участка, определила состояние деревянных построек, полуразвалившегося забора и веранды, припомнила стоимость материалов, не забыла и о добротной, но, разумеется, влетевшей в копеечку работе мастеров.

— Чего стоят хотя бы только крашенные двери и ставни. И все это, заметьте, ручная работа.

Она предложила проследовать к садовым скамейкам, которые, конечно же, обошлись ей весьма недешево.

— Ну каково ваше предложение? — вдруг спросила она. — Берете все целиком? В противном случае свое владение я завещаю сыну.

— Сыну? — удивился я, вспомнив, как при первой нашей встрече она рассказывала об его исчезновении.

Вероятно, она и сама подумала о том же, потому что вдруг хихикнула и протестующе взмахнула рукой:

— Что я говорю! Он не получит ни пфеннига, ни сосновой шишки, ни щепки с моего участка. Он мертв для меня. — Она выразительно повела бровями. — Учтите, молодой человек, я не намерена швыряться своим добром!

Мы сидели с ней по разные стороны садового столика, над нами шумели сосны, зачехшая яблоня почти касалась нас своими ветвями.

— Ее посадил мой покойный муж, вот кого уже не вернешь, — сказала она, протянув руку к засохшим сучьям. — Не везло мне с мужьями. Я уже трижды вдова.

Тут я узнал, что ее третий муж был чиновник и притом горожанин до мозга костей, здесь он никак не мог прижиться.

— Все хлопотал насчет фруктового сада, а какой уж тут сад — на песке да среди леса. Но я его ободряла: сажай, сажай. Это шло ему на пользу, он ведь был сердечник. В конце концов осталась я одна в недостроенном доме. Перед самым концом войны муж умер. И если бы я не вертелась как белка в колесе, дом так бы и стоял без крыши.

Крыша, по ее словам, и была главным достоинством дома, она якобы рассчитана на века, и вообще — каково местоположение: тишина, покой, горный воздух, а какой открывается вид! Он будет еще великолепно, если спилить несколько сосен.

— Раньше были видны все три озера. Мы не могли любоваться. — Она показала рукой в ту сторону, где, по моим понятиям, должны были находиться пристань, лодочная станция и пляж с казино. — Раньше здесь не скучали, хотя и не было такой прорвы народа, как сейчас. Да, все

20 уже позади, все утрачено, настали другие времена! — философски заключила старая дама.

Не надо особо напрягать фантазию, чтобы представить себе часть бывшего пейзажа, так вдохновлявшего фрау Скаландер: берег, превращенный в полосу военных укреплений, блиндажи, бункеры, склады боеприпасов, остовы судов и головешки лодочных сараев, казино, приспособленные под госпитали, обезлюдившая деревня, луга, развороченные воронками и гусеницами танков, а дальше — лес, перемежаемый дичающими полями.

— Да,— сказал я, чтобы получилось хоть какое-то подобие диалога.— Время не остановишь.

Она кивнула и тут же ехидно возразила:

— Но дереву все равно не дорасти до неба.

— Что вы имеете в виду? — спросил я.

Она кокетливо поджала губы и задала встречный вопрос:

— Что вы скажете о моем возрасте?

Я почти с тоской посмотрел на нее, разговор начал меня утомлять. Что все это значит? К чему мне это знать? Она даже заговорила о внучке, которой готова в общем-то оставить кое-что в наследство, если мы не придем к соглашению. «Есть сорт людей, которых не излечить от глухоты, пока не дашь по уху», — говаривал старый Левке. Уж он-то бы не постеснялся ее вытолкать, грубость такого рода отнюдь не претила ему. «Для меня она давно покойница, прах ее побери». У него даже была наготове язвительная эпитафия: «Не все, кого величали благородием, дружок, кончает благосмертием. Запомни это!»

— Мне восемьдесят один год,— продолжала вещать фрау Скаландер. Пришлось принять к сведению, что она еще работает — помогает деловым людям в налоговых вопросах, умеет сварить отличный кофе, когда надо принимать представителей государственной инспекции, угощает их сигаретами, может без промедления отыскать любую бумагу, так что господа очень довольны и работа у них спорится.— Было бы просто смешно и неприлично, если бы я не сумела все обставить как следует.

А ведь она очень стара, она прямо-таки реликт, хотя по виду ей дашь лет шестьдесят, от силы — шестьдесят пять, вон как бойко и самоуверенно болтает, с каким важным видом лезет в ридикюль, чтобы выложить на стол свою визитную карточку.

— Тут мой служебный адрес, ниже — домашний,— говорит она.— Мало ли что. Может, после моего отъезда воз-

никнут какие-то вопросы. Но я уже позаботилась, чтобы оценщик пришел в самом скором времени.

Она встала, опираясь руками на стол, потом посмотрела на дверь веранды и темно-красные наличники и, скрипнув рот, сказала:

— Я бы посоветовала вам выбрать более светлые тона: этот дом и так переживает мрачную пору.

Но я-то знал, как выглядел дом в недалеком прошлом: ни о каких светлых тонах говорить не приходилось, не было ни ставней, ни садовой мебели, все это либо восстановил, либо сделал заново старый Левке. Здесь вообще появилось много нового: кроме стола и скамейки — сарай, колодец, детские качели, живая изгородь, розарий и поднявшиеся во весь рост подсолнухи.

— Света мне здесь хватает, — сказал я, шагая к калитке и пропуская даму вперед. На том я и хотел проститься.

— Конечно, это ваше дело, как обустроить хозяйство, — заявила она. — Но прежде всего надо безотлагательно решить главный вопрос. Я не намерена вечно терпеть здешнюю скуку. В деревню хорошо приезжать ненадолго, но задерживаться тут — благодарю покорно.

Она улыбнулась, и я, кажется, понял, что именно означала ее улыбка. Я подошел к колодцу, набрал ведро воды, окунул в него голову и почувствовал себя таким свежим, что мне не стоило особого труда вернуться к книгам и на пару часов отключиться от всего остального.

6

Насколько старик Левке ценил полюбившиеся ему книги, настолько же ненавидел другие.

— Что это за герои, — говорил он, швыряя мне под ноги какой-то роман, — они же бестелесны. Эти искусственники способны носить одежду, но ни дышать, ни переваривать пищу они не умеют. Они вообще не могут выполнять никаких органических функций. Уму непостижимо, как это они обходятся, например, без денег или без желудка. И эти-то бескровные оболочки должны служить образцами всему человечеству! Черт их дер! Да лучше я сам буду себе образцом!

Образцом старик все-таки не был. Некоторые вообще считали его сумасбродом, чудаком и бузотером, с каким лучше не связываться. Но я имел все основания дорожить его дружбой, я любил слушать его и находил немало поучительного в ершистых рассуждениях старика. Ему ставились в вину и приписываемые кое-кем замашки небожителей.

22 ля, и в то же время страусиная привычка при малейшей опасности прятать голову в песок, и полнейшая бестактность. Уж если он брался за дело, которое считал стоящим и справедливым, то не щадил ни себя, ни других. Не разбирая дороги, он буквально ломился к цели, употреблял всю присущую ему хитрость и практическую сметку и добивался своего, даже если сам оставался внакладе. На вопрос: «Как живешь?» — он любил отвечать: «Как кусок мыла. Постоянно убываю, помаленьку растворяюсь, но все еще нужен».

Прогулки с ним по улицам Зандберга действовали на меня освежающе. Разговоры о всякой всячине — часто полузабытой — будили память, заставляли думать. Когда мы познакомились, ему было шестьдесят шесть лет, он поражал своей бодростью, хотя большую часть суток проводил в четырех стенах. Он читал множество книг, которые купил, украл или у кого-нибудь одолжил, и, читая, покрывал поля страниц бесчисленными каракулями своих замечаний. При всем этом он был скромным и на редкость непритворным человеком: спал на какой-то допотопной софе, с которой лоскутьями слезала обивка. И только когда у него разбивались очки, он становился совершенно беспомощным и безутешным: надо было ехать в районный центр к оптику — час езды на автобусе, шесть часов шатания по городу и позднее возвращение домой.

— Ну почему не выпускают очков с небьющимися стеклами? — горестно вопрошал он. — Кто вернет нам впустую потраченные часы? Вся моя жизнь, вплоть до пенсии, была простым уничтожением времени. Если я и умру от жадности, то только — к часам и минутам!

Такие речи в деревне нравились не всем, а за ехидные подковырки, от которых никто не был застрахован, старики не любили многие. Со слесарем по фамилии Трибель он сблизился на строительстве времянок, оба, как могли, защищали иностранных рабочих и военнопленных от издевательств нацистов.

— Верзила с длинными руками всегда в услужении у короткоруких недомерков, а самые низкорослые унтера — всегда и самые свирепые, — балагурил старый Левке.

Сразу же после войны, когда он вручал Красной Армии ключи от рубленых домиков, иные из деревенских возмущались, что он не поделил между ними спрятанное в домах барахло, не побаловал их съестными и винными запасами.

— Погодите, любезные, — вразумлял их старик, — русские пьют вино и курят толстые сигары. Так? А мы? Что

сделали мы? — Левке повышал голос. — Мы выпили кровь половины рода человеческого! Мы зажигали, как сигары, города и деревни!

Однажды он пошел на прием к медицинскому советнику Треббину. Тот жил в своей горной вилле, задарма построенной иностранными рабочими. Когда врач предложил Левке проверить зрение по таблице, он отказался и пояснил:

— Не надо. Мне больно смотреть только на вас. Врач счел это абракадаброй и переспросил:

— А в этих очках вы видите лучше?

— Можете не сомневаться, — заверил старый Левке, уставясь на воротничок белого халата. — Просто у меня болят глаза, когда я вижу пятно от вашего золотого нацистского значка.

Врач ему этого не простил — отныне Левке не входил в круг его обычных пациентов и подлежал психиатрическому лечению. Он нашел у Левке все известные формы душевного расстройства, перебрал множество высоконучных терминов и, наконец, составил заключение, согласно которому старого плотника следовало препроводить в соответствующее медицинское учреждение, так как он, несомненно, обременителен и вреден, если даже не опасен для окружающих.

— Вот ведь как бывает, — сказал Левке, описывая мне ту встречу. — Иной дождичек так брызнет, что свинью вымоет добела, а люди в грязи по уши.

Он и не помышлял расставаться со своим крошечным хозяйством в лесу, с самым маленьким из здешних деревянных домов. Он сам его поставил, своими руками обтесал каждое бревнышко. «Поздно пересаживать меня на зеленую ветвь», — заявил он председателю сельской общины, когда тот убеждал его, что для одинокого старика нет ничего лучше пансиона, где о нем будут заботиться и куда, между прочим, не так легко устроиться.

— Нет, я вроде улитки, мне впору только мой дом. Обмен невозможен.

Но поскольку уговоры не прекращались (заключение врача возымело некоторое действие), Левке пришел в ярость, разорвал направление, сулившее ему дом престарелых, и сказал свое последнее слово:

— Улитка всегда умирает в собственном доме. Закон природы. Баста!

Медицинский советник Треббин распенил столь упрямое поведение как обострение душевной болезни и продолжал

24 свои попытки поместить Левке в клинику для нервных больных. Тогда старик гаркнул ему прямо в лицо:

— Если вас так беспокоят чужие нервы, полюбуйтесь, есть ли у вас свои!

А немного спустя в кабинете доктора появился некий человек, только что вернувшийся в родные места. Перед ним стоял бывший солдат, прошедший через исправительный батальон. От отлично знал, скольких товарищей сей врачеватель одним росчерком пера приговорил к смерти.

— Мы с вами знакомы,— сказал человек, которому пришлось проделать слишком долгий путь, чтобы найти прибежище убийцы в белом халате.

На этот раз не помогли ни научные термины, ни медицинские заключения, ни угрозы упрятать в больницу. Врач еле слышно прошептал:

— Простите меня...— Он выбежал из приемной, схватил чемоданы, сел в машину и канул в неизвестность.

Старый Левке продолжал метать свои афоризмы в каждого встречного, с интересом наблюдая за взрывами — то негодования, то смеха. Он по-прежнему огорашивал меня саркастическими филиппиками и против себя самого, и против целого света. Впрочем, в следующую минуту он с прежним пылом мог говорить о прочитанных стихах и романах. Стоя у моих книжных полок в доме на горе, он как-то признался:

— А я, видать, непростой орешек — меня только книгами и расколешь!

Когда же я внушительно напомнил ему, чтобы он вернул взятые у меня книги, старик ворчливо огрызнулся:

— Книги — не собаки на привязи, но тоже любят кусаться.

Все больше и больше я открывал для себя старого Левке, его слова не выходили у меня из головы, а мой последующий опыт добавил им глубины и ясности. Старик был один как перст. Желу потерял во время бомбежки в Берлине, сына — на фронте, в дурацком переходе через североафриканскую пустыню.

— Зачем? За что? — снова и снова спрашивал Левке.

7

Возле ресторанчика мне бросилась в глаза черная афиша. Изборожденное морщинами мудрости лицо с пронзительным взглядом, заклиная жест вытянутой вперед руки. Надпись:

«Ясновидец Вару. Человек с феноменальной памятью. Аттракцион мирового класса. Воскресенье. 20.00. Большой зал».

Отпускники валили толпами. Фрау Скаландер тоже не мешкала, она была тут как тут, и ее глазки уже придирчиво озирали публику. Мне от них скрыться не удалось, и фрау Скаландер торжествовала.

— Знаете,— сказала она, усаживаясь рядом со мной,— ни в какую магию я, конечно, не верю. Но меня забавляет, когда столько людей принимают надувательство за чистую монету.

Зал был переполнен. В дверном проеме теснились люди, в проходах стояли принесенные из дома дачные стулья. Подростки и дети жались вдоль стен и пересмеивались. Только с ударом гонга и появлением на сцене самого мага в зале воцарилась напряженная тишина. Парень из публики писал на доске названия городов, а Вару их отгадывал. При этом он не пользовался зеркалом и не прибегал к иным пошлым трюкам, как он лично заверил зрителей.

— Вы только подумайте,— шептала фрау Скаландер,— это же явно нечестная игра. Чего только не придумают, лишь бы деньги выудить. Разве вам они достаются так вот легко? Вы, я слышала, учитель?

Я отодвинулся от нее, насколько позволяло пространство. Сзади на нас зашикали. В руке чародея вдруг оказалась игральная карта — надо полагать, выскользнула из рукава. По требованию публики он извлекал любую названную карту: валет крестей, девятка пик, туз крестей. Шквал аплодисментов, уважительный шепот в зале. На сцене — поклоны и эффектные взмахи рук. Червонной даме, разумеется, принадлежит почетное место и здесь и повсюду. Взмахнув рукой, он веером рассыпал карты в воздухе вдоль задника сцены — червонная дама прилепилась к материи. Все увидели маленький портрет молодой златокудрой красавицы.

— Красная София! — донеслось из глубины зала.

— Что вы сказали? — озадаченно спросил Вару.

Фрау Скаландер придвинулась ко мне и шепнула:

— Ну, с меня, пожалуй, хватит!

Однако она продолжала сидеть. А маг своим звучным голосом пытался перекрыть всеобщий гвалт. Он спрыгнул со сцены и начал раздавать телефонные книги.

— Тысячи адресов и фамилий. Все будет угадано. Или кто-нибудь сомневается? — спрашивал Вару.

Но об одном человеке и маг не смог бы ничего сказать,

26 в чем его, конечно, нельзя винить. Это была Красная София. Откуда знать заезжему артисту, сколько легенд, слухов, воспоминаний пронеслось в головах у сидящих в зале людей, когда они увидели рыжеволосую червонную даму.

— Шарлатан,— шипела фрау Скаландер в то время, как Вару называл адреса и номера телефонов, в которые тыкал пальцем любой человек из зала. Маг уверял, что для его взора никаких преград не существует.

Он вновь поднялся на сцену, и червонная дама спорхнула с матерчатой стены, упав прямо ему под ноги. На сей раз никакой выкрик не сбил бы его с толку. Улыбаясь, он поднял карту.

— Итак, эта дама вам известна. Может быть, хотите еще что-нибудь узнать?

В зале снова начался шумок.

— Не дурите нам головы! — раздался чей-то гневный голос.

— Ведьмин дом, с барахлом! — крикнул какой-то мальчишка.

И снова карты слетели с руки. Червонная дама множилась прямо на глазах. Тридцать две карты с ее изображением уже красовались на стене. Взрыв восторженных возгласов и аплодисментов заглушил все слова, в шуме потонуло даже имя Софии, которое так дразнило стариков и детей.

Между тем на сцене возникло еще восемь фигур: трое мужчин, четыре женщины и какой-то подросток. Каждый зажимал в руке какой-нибудь предмет, Вару угадывал: вмят, пробка от бутылки, спички, проездной билет, заколка для волос, клочок бумаги.

— И наконец — десятипфенниговая монета, — сказал он и, чуть помедлив, добавил, подмигнув залу: — нездешней чеканки.

Зал разразился смехом и аплодисментами. Только фрау Скаландер сохраняла серьезный вид.

— Вот я о чем подумала, — шепнула она, — за дом возьму вашими деньгами и обменяю их.

— Моими? — рассеянно спросил я.

— Вашими, восточными. Поговорим чуть попозже. У вас ведь найдется свободная минутка?

Двое мужчин писали на доске сорокавосьмизначную цифру. Маг замер, как бы подпирая рукой лоб.

— Прошу полной тишины, дамы и господа, — сказал он и затем медленно, но без запинки пробубнил всю устрашающе огромную цифру. Это заставило изумиться даже фрау Скаландер.

— Ого! Кругленькая сумма. Ничего не скажешь!

Но вот был объявлен последний номер — самый знаменитый, захватывающий, непостижимый и сенсационный, именуемый также аттракционом высшего мирового класса, было сказано также, что этот номер ставил в тупик даже известных ученых: ведь тайны человеческого мозга до сих пор еще не раскрыты.

— Дамы и господа! Несколько человек прошу подняться на сцену,— обратился Вару к публике.— С их помощью я покажу вам, что моему всеведению нет предела.

— Ну что ж! Можно и позабавиться,— усмехнулась фрау Скаландер, встала с места и засемила по направлению к сцене.

Она позволила магу помочь ей подняться по ступенькам, хотя они были куда более плоские и удобные, чем в доме, который она собиралась мне продать. Фрау Скаландер тут же выбрала себе место и встала с таким видом, будто хотела сказать: «Попробуйте только сдвинуть!» Точно так же она стояла на крышке погребца, когда рассказывала о своем пропавшем сыне. Другие участники аттракциона пристраивались к ней или менялись местами, но старуха стояла неколебимо. Поначалу она отказалась выполнить одно условие эксперимента — взять в руки свой паспорт и держать его на уровне глаз. На нее не произвело особого эффекта даже публичное оглашение паспортных данных всех стоящих на сцене, в том числе и ее собственных. И лишь когда маг обратился прямо к ней со словами: «Уважаемая дама живет на ренту!» — она почти возмущенно возразила ему:

— Вы ошибаетесь, молодой человек. Вам никогда не узнать, как и на что я живу.

Вару отвел от лица ладони и, улыбаясь, повернулся к ней:

— Простите, я бы мог еще добавить, что кроме всего прочего вы прирабатываете услугами в делопроизводстве.

— Услугами? Не смешите меня! — горячилась фрау Скаландер.— Что тут у вас понимают в деньгах!

— Вы живете в Западном Берлине, Юнгфернхайде,— невозмутимо продолжал Вару, вновь заслоняя лицо руками.— У вас есть сын. Он живет в США, штат Северная Каролина. Но на материальную помощь от него вы рассчитывать не можете. В вашей сумочке хранится письмо от него. Вам пришлось доплатить за пересылку.

— Ну уж хватит,— возмутилась фрау Скаландер, дрожащими руками засунула паспорт в сумочку и даже хотела сойти со сцены.— Это никого не касается! Никого! —

28 крикнула она, остановившись возле самой лестницы, вероятно, боялась спуститься.— Да помогите же! — Она повернула голову к магу. Тот поспешил исполнить ее просьбу и при этом сказал:

— Милая дама, я никоим образом не хотел вас обидеть. Но истина есть истина, никуда от нее не деться. Особенно нам, ясновидящим.

От ее прежнего надменного самообладания не осталось и следа. Она вновь сидела рядом со мной и запальчиво говорила:

— Никому не позволю касаться моих отношений с сыном. Это наши дела. И только наши.

Она, вероятно, забыла про финансовую операцию, о которой договаривалась со мной, и как только грянули последние аплодисменты и маг с триумфом закончил представление, она поспешила уйти. Прощаясь со мной, она сказала:

— Сына я ни в чем не виню, всему виной эта Красная София, это она навек разлучила нас.

Я видел, как маг вернулся на сцену, как подпрыгивали мальчишки, силясь дотянуться до карт с изображением червонной дамы. Вару прогнал их единым мановением руки и собрал карты. Какой-то старик сказал:

— Она бы этого не допустила. Красная София была против колдовства.

8

До сих пор мне как-то удавалось не «заболеть» Красной Софией.

— Значит, здесь она и жила,— ронял кто-нибудь за кружкой пива, но чаще всего на этом разговор и обрывался. В лучшем случае эта реплика сопровождалась щелканьем пальцев или многозначительным взглядом.

Никто не мог сказать больше того, что знал. Да и то немного, что знали, пересказывалось тысячу раз. Это отнюдь не разжигало моего любопытства, мне уже стали докучать и нелепые рассказы и по-детски наивные домыслы. Я затосковал по книгам, меня властно тянула к себе история этого края со всеми ее большими и малыми вехами. Меня захватила идея восстановить всю цепь событий, развернуть их в зримую картину, чтобы мои ученики вживе представили себе то, что мы обычно называем освобождением от фашизма, установлением народной власти, расчетом с нацистскими преступниками и возрождением Германии на социалистических началах.

Старый Левке, конечно, рассказывал мне когда-то, что в последний год войны Красная София каким-то загадочным образом появилась в Зандберге с двумя чемоданами в руках. Ей шел двадцать второй год. Старик уверял, что она была хороша собой. Рыжеволосая, с высокой грудью, сильного телосложения, хотя и среднего роста, она почему-то злоупотребляла косметикой. Эта женщина знала себе цену, но легко освоилась в деревне и благодаря веселому и общительному нраву быстро вошла в контакт с местными жителями, сразу нашла себе дело. Она стряпала для рабочих, которые строили временки. По словам Левке, война заставила ее проделать путь через поля Украины и всю Польшу, а здесь она решила дожидаться своего жениха, еще не вернувшегося с фронта. По-немецки она говорила с едва уловимым акцентом и даже кокетничала этим, но когда поблизости оказывались иностранные рабочие и военнопленные, она обычно замолкала и отворачивалась. По вечерам любила ужинать в кругу строителей-немцев, держалась при этом раскованно, не отказывалась от глотка вина, смеялась, шутила, флиртowała, ее большие глаза почти исчезали в лукавом прищуре, и она вполголоса напевала песни, которых никто не знал.

Старика она буквально околдовала, он ходил за ней как привязанный.

— Никогда бы я больше не взглянул на другую женщину, если бы мне повезло с этой,— с клятвенной убежденностью говорил он много лет спустя.— Но как только я пробовал подойти к ней ближе, чем она позволяла, тут песням конец.

«Я жду своего жениха, ты меня с кем-то путаешь»,— говорила она, шутливо толкая его в бок, и снова пела.

Правда, для тех, кто помоложе, у нее находились более приятные слова, и бедному Левке не оставалось ничего иного, как заползать в брезентовую духоту палатки, в то время как София, совершенно не таясь, обнималась с молодым белобрысым каменщиком, и ее странные, незнакомые песни звучали при этом еще сильнее и выразительнее.

— Будь проклята тишина, наступавшая вслед за этим,— ворчал старик.— Всю ночь я глаз сомкнуть не мог, потому что она тешилась с каким-то шалопаем. У меня руки чесались поколотить ее. Больше всего я боялся, что сопляк когда-нибудь расчухает, какое сокровище ему позволено обнимать.

Появление фрау Скаландер в качестве свекрови Красной Софии уже меньше волновало Левке.

— Семейная идиллия, да и только,— посмеивался он,

30 мрачно созерцая, как дом на горе крадет Софию у рабочих сразу же после обеда. Красная София шла к домику фрау Скаландер, где старый Левке еще орудовал топором и рубанком, возился с косяками и ставнями. Он не мог не знать, о чем целыми днями хлопочут обе женщины.

Где могла застрять полевая почта? Как долго бесценный жених будет находиться в пути? Что нужно сделать, чтобы этот дом стал для него самым что ни на есть уютным гнездышком? Когда отпраздновать свадьбу? Требуется ли для этого особое разрешение, учитывая условия военного времени? Много народу приглашать, конечно, не стоит. Лучше обойтись семейным кругом. Вполне достаточно раздвижного стола и двух кроватей (одна — для мамочки, другая — для новобрачных).

«Дорогой Гарри, поскорее возвращайся домой», — телеграфировали обе женщины по адресу полевой почты.

Это было в марте сорок пятого. Фронт придвинулся почти вплотную. Над горой кружили самолеты, солдаты рыли траншеи и строили опорные пункты. В лесу окопалась пехота, на горе расположилась зенитная батарея, вся земля между трех озер была изборождена противотанковыми рвами, они перерезали луга, деревню и дороги. Стараниями Красной Софии строительные рабочие были поставлены на довольствие при полевых кухнях. Вечерами старый Левке не раз видел из окна скаландеровского дома, как она бежит к артиллеристам, ночью ее подвозил на мотоцикле один смазливый солдатик. А однажды он заметил ее в лесу, на обратном склоне горы, возле барака с иностранными рабочими. Она стояла окруженная группой украинцев и что-то оживленно обсуждала с ними.

— Развѣ ты знаешь их язык? — спросил изумленный Левке.

Она не ответила, просто рассмеялась и убежала. Красная Армия была уже на Одере.

Для деревни София оставалась загадкой. Вместе с фрау Скаландер она хлопотала по хозяйству, будто ничего, кроме домашних дел и скорого возвращения жениха, ее не занимало. Полевые кухни вовремя доставляли еду рабочим, тут, вероятно, обходилось уже без ее содействия. Вскоре заметили, что она перестала бывать у артиллеристов, в ресторанчике ее тоже больше не встречали. Значит, и беспечный смех, и застольные песни, и милование с солдатами были не чем иным, как очередным капризом переменчивой натуры.

Старик Левке горохом рассыпал новые афоризмы: «Это не девица, а просто картинка, надо только подыскать дру-

гую раму». И лишь однажды он не удержался на котурнах язвительного наблюдателя и просто сплюнул в сердцах, когда, завершая свои плотнические дела, в последний раз переступил порог скаландеровского дома. Его привели в ярость бесчисленные кружевные салфетки — под кофейником, под чашками, под сахарницей, даже под радиоприемником, из которого летели патетические фразы о последнем величайшем сражении. София пригласила старика «на чашечку доброго кофе», мило болтала с ним на сей раз почему-то без акцента, все время держала на виду карман своего кружевного передничка, откуда торчал конверт со штемпелем полевой почты — явно от жениха, — и удивленно поднимала брови, слушая его афористические рассуждения.

— Ладно уж, — шутил старик, — за шесть недель я так возвысился в своих помыслах, что теперь сам боюсь опустаться.

Когда и до Зандберга докатился гул фронтовой артиллерии, жизнелюбие Красной Софии взыграло с новой силой. Сергей, Николай и еще с полдюжины украинцев заполнили дом фрау Скаландер. К ужасу почтенной хозяйки, они сдернули со стола скатерку, вытряхнули из карманов куски хлеба, луковицы, шматки сала, залезли в погреб, извлекли оттуда вино и колбасу, предусмотрительно припасенные для свадьбы. До глубокой ночи гомонила в доме теплая компания. Гости ели, пили, просили Софию петь песни, и она во весь голос выводила мелодии, которые они сами решались лишь чуть слышно подтягивать. Левке наблюдал за этим весельем с какой-то незнакомой ему тревогой и вместе с тем со смутной надеждой. Однажды и его пригласили на пирушку, тут он увидел Софию в объятиях чернокудрого Сергея.

— Ее нижняя юбка была темно-красного цвета, точно театральный занавес, но для меня этот занавес так и остался опущенным, — мрачно резюмировал старик.

Как-то вечером, когда небо на востоке озарялось желто-багровыми вспышками, а в лесу рядом с артиллеристами спешно окапывались отряды фольксштурма, Красная София еще раз пришла к строительным рабочим — они рыли противотанковые рвы — и, дернув за рукав старика Левке, шепнула ему:

— Тебе я верю и могу полностью на тебя положиться. Если завтра никто из украинцев здесь не появится, не вздумай поднимать шума.

Это был единственный случай, когда она доверилась ему. Объявилась она лишь через несколько дней, и старо-

32 му Левке пришлось целых два часа что-то врать артиллерийскому майору. В те же дни вернулся Гарри Скаландер — долгожданный жених и горячо любимый сын. Он коснулся ногой порога как раз в тот момент, когда невеста в страшной спешке запирала чемоданы, набитые бутылками и консервами, заготовленными для свадьбы. Он был в униформе, на поясе болталась связка ручных гранат. Угощение, выставленное для молодоженов, особых соблазнов в себе не таило, удался лишь пирог, только что подрумянившийся в духовке. Ночью София покинула брачное ложе и сгинула. Деревня наполовину опустела, исчезли и обитатели бараков. Даже фрау Скаландер, недолго думая, пустилась бы в бега, если б не сын. Он не был готов к капитуляции. Усталый, испуганный, растерянный, он, едва продрав глаза, начал без конца задавать один и тот же вопрос — о местонахождении своей невесты. Мать приспособилась прятать его в погреб всякий раз, как вблизи дома слышались чьи-то шаги. Кто же нанес первый визит? Красная София и патруль Красной Армии.

Возможно, я изложил события по рассказам старого Левке, а может быть, мне так только кажется: их связь и очередность возникли по моему личному ощущению. Мне помогли отчасти и свидетельства других очевидцев, вспоминавших о тех днях, когда шли ожесточенные бои за деревню, когда каждый дом укреплялся, оборонялся, отстреливался, как маленькая крепость, и в конце концов превращался в груды обломков. Одни утверждают, что Гарри Скаландер затаился у окна собственного дома и, увидев группу красноармейцев, бросил в них несколько ручных гранат, но не сумел причинить никакого вреда. Другие говорят, что Красная София вразумила его щипками, пинками и оплеухами, буквально спихнув бывшего воина в погреб. Он якобы пересчитал все ступеньки, покрылся синяками и, сидя в домашнем карцере, клокотал от гнева и ревности, слыша, как там, наверху, его невеста празднует долгожданный мир в кругу рабочих-украинцев и красноармейцев, празднует их победу и его, Гарри, поражение.

— Победа! Победа! — кричала она утром во всю мощь своих легких, и даже внизу, в деревне, были слышны ее слова: — Новая жизнь начинается! Теперь сбудутся все мечты!

По ту сторону ограды, на затянутом пеленой тумана склоне, я увидел блуждающую фигуру — силуэт женщины

с огненно-рыжими волосами, Красную Софию, смутное и почти безликое порождение моей фантазии, призрак, который начинал не на шутку морочить мне голову. Я запретил себе смотреть в ту сторону, попытался сосредоточиться на событиях реальной истории, вернуться к теме своей диссертации. Пробежав глазами несколько строк, я сделал запись: «Нет другого такого княжества, где бы распри, убийства и жесточайшее насилие цвели таким пышным цветом, как в Бранденбурге». И дальше: «Случалось, что местные дворяне месяцами оставляли трупы родственников без погребения, чтобы поднакопить денег и придать обряду подобающую торжественность: с попойками, обжорством, с рыком животного восторга, чаще всего это был разгул каннибализма, ибо все кончалось драками, костоломством, смертоубийством и новыми трупами».

В этот момент я вздрогнул от неожиданности: чей-то резкий голос окликнул меня по имени. Значит, это был не призрак, но и о Красной Софии не могло быть речи. Фрау Скаландер стояла у изгороди и делала мне какие-то знаки. На голове — красный платок. Погода была довольно ненастная, моросил дождь, и я, естественно, не подпрыгнул от радости и не побежал навстречу непрошеной гостье, которая перегнулась через изгородь, энергично размахивала руками и еще раз выкрикнула мое имя.

— Слушаю вас,— сказал я, выходя на крыльцо.

— Добрый день,— поздоровалась старая дама и проворно спустилась со склона.— Надеюсь, у вас все хорошо? Продвинулась ли работа?

Я с готовностью кивнул и поспешил ей навстречу, чтобы предупредить ее очередное вторжение в дом, но она уже прошла через калитку и, ухватив меня за руку, семенила к двери.

— А я, признаться, забыла про того чародея. Вы, надеюсь, тоже? — весело болтала она.— Ох уж эти ступеньки, для меня слишком высоки. Как виноград для лисицы.

Не давая мне рта раскрыть и цепко держась за мою руку, она поднялась в дом и продолжала без умолку трещать, в основном о погоде, которая может внушить отвращение даже к такому чудесному уголку, где она провела столько прекрасных дней. Потом указала на свое излюбленное местечко — клочок мшистой земли между двумя голубыми елями. Здесь, по ее словам, можно было так хорошо, так укомно отдохнуть и от людских глаз и от палящего солнца в то первое послевоенное лето.

— Дурное и страшное быстро забывается, а хорошее остается в памяти,— сказала она и засмеялась, странно пе-

34 рекосив рот.— Поэтому уж и не буду вспоминать, какого срама я тут натерпелась.

Разумеется, она по-хозяйски устроилась в моем кресле-качалке, ее голова плавно взлетала и при этом подмигивала.

— Вы позвали меня, чтобы воспользоваться моим хорошим настроением? — Золотой браслет ездил по ее сухой ручке, она уперлась ногой в пол и перестала раскачиваться.— Кто-то наверняка пожалеет о том, что упустил подобный случай. Но вас-то я, откровенно говоря, не считаю болваном. Если хотите знать, я продаю дом исключительно ради внучки.

Теперь я мог дать волю досаде из-за того, что меня оторвали от письменного стола, я был вновь поражен наглостью этой дамы и провалами в ее памяти. Однако предпочитал молчание. С постным видом стоял я у двери и ждал ухода старухи, я смотрел на сосны и голубые ели, которые, как она рассказывала, были совершенно изуродованы градом осколков.

— Они торчали прямо из древесины, как будто кто-то специально постарался вогнать туда крючья для бельевых веревок. Чтобы мне было удобнее! — Она находила это настолько забавным, что повторила несколько раз.

Фрау Скаландер снова оттолкнулась ногами от пола, начала не без удовольствия раскачиваться, хихикать и развивать забавляющую ее тему. Ей, оказывается, пригодились даже траншеи на откосе, она вылиwała в них помои, выбрасывала ящики из-под патронов, противогазные коробки, простреленные каски, ни на одной из которых ей, слава богу, не встретилось имя сына.

— Может, это и было самое прекрасное время моей жизни! — с пафосом воскликнула она.— Если б, конечно, не томительное ожидание и жуткая картина, которая до сих пор стоит у меня перед глазами: мой бедный мальчик, а за ним — двое русских с автоматами. Такое не забывается. И прощать этого нельзя. Никогда!

Я повернулся к ней, на языке уже вертелись какие-то дерзкие слова, но она и тут опередила меня:

— Что мне только не пришлось вытерпеть — и эту бесстыжую бабу, которая бросилась в объятия солдат.

Глаза старухи потемнели от ненависти, когда она заговорила о Красной Софии — этой нищенке, постучавшейся в их дом, этой случайной знакомой ее сына,— а кого не встретишь на дорогах войны,— об этом темном двоедушном создании, потаскушке, чудовище в женском образе, которое вдруг обнажило свою страшную суть.

— Распутная, низкая, легкомысленная, жадная до удовольствий.— Фрау Скаландер находила для Красной Софии все новые эпитеты и сравнения.

Старуха буквально захлебывалась желчью, почти безгубый рот искривился, напоминая зарубку на сухом дереве. Она шипела что-то насчет хищений и притеснений.

— Ей было вообще наплевать на то, что здесь происходит. Она, видите ли, развлекалась! Услаждала овою душеньку, хватала все, что плохо лежит, ни в чем себе не отказывала, закатывала целые пиры в честь победы! Ее точно кто одурманил, воображала о себе бог знает что, хотела всех к рукам прибрать. А что для нее все? Шваль, сброд, фашисты! Удивляюсь, как она меня-то из дома не выставила, из моего собственного дома!

Старуха вскочила и мелкими шажками забегала по комнате.

— Мой дом! — выкрикивала она чуть ли не в экстазе. Потом, видимо, снова вернулась к воспоминаниям, огляделась и, поймав мой взгляд, сказала: — Прогнать меня никому не позволю!

На лице ее появилась улыбка, она снова забралась в кресло и стала его раскачивать. Ей не терпелось продолжить рассказ о Красной Софии, о надежно запертых дверях и ставнях, с которыми эта девка ничего не смогла сделать, несмотря на свои знакомства, пистолеты, автоматы и танки, превратившие деревню со всеми окрестными лесами в сущий ад.

— Я заткнула уши, я просто сидела и ждала, — говорила фрау Скаландер, — я ждала своего сына, больше мне нечего было ждать от жизни. Правда, один раз я подошла к двери и крикнула: «Шлюха поганая! Обыкновенная шлюха! Кусок дерьма! Ты мне еще ответишь за сына! Ты и твой парни!»

Она устало взмахнула рукой, сверкнув золотым браслетом.

— Ей было на все наплевать, в одно ухо влетало, в другое вылетало... Меня тоже не очень волнует то, что было в давние времена. Я же говорила вам, что плохое забывается. Но внучка осталась мне. В этом не сомневаюсь.

Я подошел к окну и распахнул его. Дождь уже перестал, но под порывами ветра с деревьев слетали тяжелые капли. Солнце пробивалось сквозь облака, над горой еще висел клоч тумана, он поднимался из песка и вязнул в вершинах сосен. Мне хотелось просто уйти и оставить эту даму одну, пусть себе решает, как поступать с добром и

36 злом — хранить ли в памяти или предать забвению. Но тут она заявила, что мы отклонились от темы.

Я заметил, что она окончательно овладела собой, ей снова удавался бодрый любезный тон. Я выразительно посмотрел на часы и сказал:

— Между прочим, время обеденное.

Она была удивлена, но продолжала сидеть и вновь завела речь о внучке:

— Я просто обязана ее найти, здесь малютка была целиком на мне, а ведь кругом-то ад крошечный. Кто знает, что из нее вышло бы, если б я не заботилась о ней.

И она стала рассказывать о детях беженцев. Красная София приносила малышей в этот дом. Это были изголодавшиеся оборвыши, несчастные создания, осиротевшие или отбившиеся от родителей в хаосе гибнущей империи. Их подбирали в дюнах, в горящих местах, где они кричали, обезумев от страха.

— Вот здесь,— фрау Скаландер показала на дверь,— увидела я их большие глаза. Здесь. Сначала — семь-восемь, потом — целая дюжина. Все толкались в этой вот комнате. Всех я и ласкала и обихаживала, кормила и одевала. Пока не сбыла с рук, ни от кого не дождавшись ни слова благодарности. Из старых простыней, из одеял шила им рубашки и штанишки, даже платья для засаленных кукол и всяких там плюшевых зверюшек. Как я только выкручивалась, имея на всю ораву одну тощую козу? Ее мне дала София. Она, конечно, воображала, что оказывает мне королевскую милость. Какое сокровище — коза! Это на мой-то детский сад! Все равно что выжатый лимон. Без смеха и говорить-то невозможно. — Фрау Скаландер действительно смеялась и даже утирала слезы. — У вас есть дети? — спросила она.

— Дочь.

— Как учитель, вы знаете, конечно, что значит ответственность за детей. — Она взглянула вверх — на крышку чердачного люка. — Там они у меня ночевали. Один все постанывал да покашливал. Иной раз целую ночь не смыкала глаз. Часто они возились, шумели, придумывали разные глупости. Тогда я думала о сыне, теперь — о внучке. Все мои мечты только о ней. И пока не узнаю, что вышло из моей малютки, без кошмаров мне не прожить.

Я проводил фрау Скаландер до калитки, а когда повернулся к горе, увидел, что она потонула в сплошном тумане. Мне показалось, что там звучат голоса. Детские голоса. Сосны смутно чернели стволами, туман поглотил сучья и

кроны. Казалось, что это деревья той самой поры, когда Красная София пришла сюда с дочкой на руках, с грудой чужих ребятишек у подола, с козой на веревке. Коза вряд ли могла рассчитывать на вольготную жизнь: бугры траншей и рвов поросли скудным низким кустарником, в Зандберге война спалила даже зелень. Позднее, когда я рассказал об этом, Рут — моя жена — заметила:

— Могу себе живо представить эту худую козу, за которой тоже надо было ходить, как за ребенком: ведь тогда не оставалось ни единого зеленого стебелечка.

А дом, который мы с женой обживали годами, показался мне каким-то иным, чужим, непонятным. В памяти явно прозвучал голос старого Левке: «Если хочешь познать мир, познай для начала свой собственный дом».

10

На расщепленных стволах сосен сохли маленькие побеги. Начинала цвести ольха, но в ее зарослях разрывались снаряды. Опушенную нежной зеленью березовую рощу на пригорке словно срезало артиллерийским залпом. Гусеницы танков перемалывали кустарник. По дорогам тянулись беженцы, женщины и старики катили ручные тележки, лошади, навьюченные скарбом и впряженные в телеги, то и дело сворачивали к обочине, завидев хоть что-то напоминающее зелень. В небе кружил самолет, он пикировал на колонну вермахта, идущую вслед за бегущими. У горы взорвались две-три бомбы, с треском валились деревья, облако дыма медленно уходило в небо. Поперек улицы лежал огромный дуб, им придавило корову, ребенка и женщину, крики боли и ужаса были слышны издалека. Первым прибежал старый Левке, он начал пилить ствол, работал до тех пор, пока не упал от усталости. Кое-как он дотащил до дома и покалеченную женщину, и легко раненного ребенка, и мертвую корову.

— Дня через два, — рассказывал потом Левке, — пришла Красная София, она потребовала корову. Человек сто голодающих кормились не один день.

Май только начинался. В Берлине шли яростные бои. Горизонт был черным от дыма. Вокруг горы пылали леса. Красная София восседала в коляске, прежде принадлежавшей владельцу имения, который убрался на Запад, едва успев набить мебелью кузов грузовика. В господском доме, у озера, разместились красноармейцы. К всеобщему удивлению, там обосновалась и София — в качестве переводчицы. Она владела не только немецким, украинским и рус-

38 ским, но также вполне успешно объяснялась с польскими рабочими, которые жили в бараке у леса.

— Деревянные постройки конфискованы,— чеканным голосом говорила она старому Левке.— Сдай ключи. Такова воля Красной Армии.

Последнюю фразу она умела произносить гордо, строго и внушительно.

— Самовольный забой скота запрещен. Собственность нацистов, имущество вермахта подлежат немедленной сдаче. Военные преступники и нацистские прихвостни предаются суду. Такова воля Красной Армии!

София быстро нашла себе возницу — крестьянин Шульте уже сидел на козлах. Не прошло и часа, как рубленые домики на доброй половине горного склона лишились всей своей обстановки, не осталось ни одного радиоприемника, ни ковра, ни картины, ни единого предмета роскоши. Крестьянину Шульте пришлось запрягать вторую лошадь. Жалобно протестовала фрау Скаландер — у ее дома началась разгрузка реквизированного имущества.

— Я уже три ковра постелила друг на друга, но для приемников и кресел у меня просто нет места. С детьми и без того ужасная теснотища!

У старика Левке теперь остался один-единственный ключ, да и тот был не нужен, поскольку подходил лишь к не совсем настоящей двери. В гуще леса стояло несколько столбов, подпирающих крышу, вместо стекол — мешки с цементом, за ними еще недавно укрывались фольксштурмисты. Под градом пуль наступающих советских войск мешки разлетелись в клочья, а песчаная почва покрылась серовато-белым налетом — получился до странности мрачный зимний пейзаж. Две недели спустя, в середине мая, появился уже деревянный домик на невысоком фундаменте, здесь перерабатывали остатки цемента. Молодые липы и буки были усыпаны цветом, к шершавым доскам клонились грозди дикой сирени, а за стеной на чурбачке сидел старый Левке и читал книги.

«Возрождение,— писал он на переплете любимой своей книги — афоризмов Лихтенберга,— смахивает на картофель. Целую вечность проторчать под слоем навоза и грязи, чтобы потом пустить слабые травянистые росточки».

Вскоре его вызвали в бывшее имение, где он предстал перед советским комендантом. Его привлекли к ответу за то, что он якобы украл корову, тайно поджарил ее на вертеле и тем самым устроил лесной пожар.

— Лесной пожар? — спросил озадаченный Левке и вдруг разразился взрывом смеха.— Сейчас я в положении

молокососа, которого скребут до тех пор, пока не начнет расти борода. 39

Комендант, молодой капитан, не понимал по-немецки, он пользовался услугами Красной Софии. Выслушав ее, он потемнел лицом и с металлом в голосе спросил:

— Вы сказали «волосы»? «Выскребать волосы»?

София, которая со всеми в деревне держалась запросто, сейчас, гордо скрестив руки, сидела в кресле с подлокотниками в виде львиных лап и с графским гербом на спинке. Она холодно отчитала Левке:

— За эту нахальную выходку вам тоже придется ответить! Извинитесь сию же минуту!

Только тут Левке догадался, что комендант по-своему истолковал его шутку. Он заметил, что капитан совершенно лыс и потому, вероятно, даже в помещении не снимает фуражку.

— Простите... я имел в виду... совсем не то... — запинаясь, бормотал Левке.

— Фашист! — крикнул капитан и, хлопнув дверью, убежал из комнаты.

Красная София сидела не шелохнувшись, она смотрела на Левке с отчужденно-брезгливой миной, как будто собиралась вынести ему приговор.

— Комендант получил три боевых ранения, — сказала она, — из-за этого он потерял волосы. Он герой Красной Армии, а вы позволяете себе шутки, как какой-нибудь фашист.

— Но я же говорил про бороду, которую у меня хотят выскрести, — возражал не на шутку огорченный Левке.

— Вы сказали: «волосы». Я перевела точно.

— Но ведь и со мной шутили. Не жарил же я корову на вертеле.

— Где корова? — холодно спросила она.

В комнату вошли два красноармейца.

— Где корова? — повторила София.

Солдаты приказали Левке встать в центре комнаты, осмотрели его и повели вниз по лестнице в погреб, который граф переоборудовал в комфортабельное бомбоубежище.

— Нет у меня никакой коровы! — кричал старик, когда за ним запирали на замок дверь.

Он просидел в подвале до вечера. Не раз принимался барабанить кулаками в дверь. Наконец пришли комендант и София. Левке уже не сомневался в том, что пробил его последний час.

— Корова была мертвая. Беженцы съели ее за милую

40 душу, хотя уже был запашок! — выпалил Левке, когда дверь тяжело открылась.

— Готовы ли вы искупить свою вину? — спросила Красная София.

Во дворе усадьбы звучали песни и выстрелы, стоял гвалт множества голосов, среди бойцов царило радостное возбуждение. Выйдя из погреба, Левке увидел сияние разноцветных огней, в небе рвались красные, зеленые, желтые ракеты.

— Идите домой, да поживее! — крикнула ему София. Но комендант остановил, положив руку ему на плечо.

Они выпили по рюмке водки. Комендант говорил:

— Мир! Понимаешь — мир? — Потом он снял форменную фуражку, показал на свою безволосую голову и, счастливо улыбаясь, сказал: — С войной покончено. Ты понял это?

11

Мне захотелось наконец хоть ненадолго расстаться с прошлым, я бы даже сказал, опомниться от него в дне нынешнем. Я сидел за столиком в нашем деревенском ресторанчике, собираясь просто пообедать. Но и это оказалось отнюдь не просто. Через открытое окно на меня уставилась фрау Скаландер, она умела преследовать с неотвязностью призрака. Опять эта липучая улыбка. На сей раз даме не нравилось, что я элементарно насыщаю плоть, ей надо было, чтобы я еще и сторожил свободный стул для нее, фрау Скаландер.

— Нет уж, извините, — опередил меня кельнер.

А хозяйка, фрау Губицке, обратила ее внимание на столпившихся у входа отдыхающих. Молодежь из палаточного городка, обитатели семейных «бунгалов» с чадами и домочадцами, даже старички-горожане, прибывшие сегодняшним пароходом, — все они озабоченно искали глазами свободные стулья.

— Но ведь всегда найдется, где посадить одного человека, — визгливо возражала старуха. — Я, пожалуй, сейчас отлучусь на почту, а как приду, будьте любезны обеспечить место!

Кельнер непреклонно покачал головой:

— Ничем не можем помочь, фрау Скаландер. — Мне он шепнул на ухо: — Скорее дам отрубить себе руку, чем стану обслуживать эту даму.

Не мешало бы поговорить с этим человеком, — на вид ему было лет сорок, — не исключено, что он знал Красную

Софию. Но пока я собирался с мыслями, он уже убежал в другой конец зала. Хозяйка подсела ко мне,— несмотря на приток клиентов, один стул оставался свободным.

— Поймите меня правильно. Я человек не злопамятный. Но эта Скаландериха и Красная София — одного поля ягоды.

Взгляд хозяйки тут же беспокойно скользнул к раскрытому окну, как будто она опасалась, что либо та, либо другая не замедлит появиться в ресторане.

— Как она смеет сюда соваться, я просто теряюсь от такой наглости,— негодовала фрау Губицке.— Если б вы только знали, сколько она мне крови перепортила. Да и не только мне, она никого не щадила.

Я снова остался в одиночестве. Хозяйка побежала на кухню, там стоял дым коромыслом. На минуту мне представилась Красная София в том мифически грозном облике, каким иные старожилы пугали детей: женщина с развевающимися на ветру огненными волосами нахлестывает пару серых коней. Стоя в графской коляске, она мчится по лугам и лесным дорогам, взлетает аж на самую гору и насылает оттуда на бедную деревню всяческие напасти или хотя бы плохую погоду.

— Еще пива? — мимоходом спросил кельнер.

— Да, и коньяка.

На улице было солнечно. Дорога уже просохла. Я видел в окно, как дети бежали по направлению к пляжу. Даже не верилось, что сегодня, пасмурным утром, у меня в доме был разговор с фрау Скаландер. Я видел, как она семенит по улице, возвращаясь с почты, даже не глядя в сторону ресторанчика. Она уже не казалась мне столь малоприятной особой, скорее — дряхлой, беспомощной старушенцией, которая когда-то пеклась о детях и никак не могла понять, почему получает везде от ворот поворот. Но я вспомнил, что она прокляла Красную Софию, и все сетования показались мне такими же сомнительными, как уверения хозяйки ресторанчика. Коньяк слегка ударил мне в голову, и снова меня обступили образы прошлого, никогда не виденные мною въяве. Тут же сложилась новелла с почти детективным сюжетом: Красная София сваливает в графский экипаж все конфискованное за ночь имущество — ковры, картины, мебель — и, щелкая бичом, гонит лошадей через всю деревню. Вскоре она сбивается с пути и попадает в болота близ Луховского озера. Душераздирающие крики и стоны слышны даже в деревне, не умолкают до самого рассвета. Но на помощь никто не приходит. И только на следующий день люди увидели на озере какое-то

42 красное пятно. Но что это — живое существо или опускающийся на дно ковер? Понять было невозможно.

Хозяйка еще раз подошла к моему столу и сказала:

— Когда-то она меня на порог не пустила, я за дверью сидела. Вот теперь пусть сама посидит. Так будет справедливо.

— О ком речь?

— О старой карге, ясное дело. Всюду свой нос сует. И руки у нее загибаются. Красная София по натуре не была такой мерзавкой.

Кельнер по своей инициативе принес мне еще рюмку водки. Я выпил и уставился в окно. Но на дороге, уходящей вдаль вместе с двумя рядами елей, едва ли я мог различить фигуру фрау Скаландер. Она знала каждую тропинку и наверняка направилась к горе кратчайшим путем. Я тешил себя надеждой, что она решила наконец уложить свои вещи и оставить меня в покое.

— Могу показать вам приказ о конфискации, я его сохранила, — сказала хозяйка. — Правда, подписи Красной Софии тут нет: старый Левке с Трибелем постарались. Все мое добро уместилось в два чемодана, на остальное они лапы наложили. До чего же подлые, ненасытные твари! Не все, конечно, такие были. А теперь вот мой муж лежит тяжелобольной. Уже пятый день.

Вокруг было шумно. Я не мог разобрать всего, что говорила хозяйка. Вероятно, ее последние слова (она кивнула в сторону окна) относились к давно уже скрывшейся за частоколом елей фрау Скаландер, которой было и невдомек, что хозяин, этот добродушный толстяк пятидесяти пяти лет, на днях наступил на ржавый гвоздь и тем самым прибавил хлопот своей супруге.

— Что врач говорит? — спросил я у кельнера.

— Лечит от гриппа. Температура больно высокая. Вызвали «скорую».

Было уже далеко за полдень. Посетителей замтно прибавилось. Но я уходить не спешил. Меня занимала третья новелла с призраками. Пять дней назад в этом зале был маг, экстрасенс Вару, с которым вступила в спор фрау Скаландер. Хозяин занял позицию прямо на стойке бара — ни дать ни взять морской волк на капитанском мостике, ничто не могло укрыться от его взгляда. Он наверняка не упустил из виду замешательство фрау Скаландер. А призраками тут, в сущности, и не пахло. Всего-навсего маленькие хитрости опытного артиста, который умел боковым зрением заглядывать в документы и мгновенно обрабатывать имеющиеся данные, но у него не было таковых о Крас-

ной Софии, зловещей тенью сопровождавшей фрау Скаландер в местных преданиях. 43

Перед домом остановилась машина с красным крестом. Кельнер по-прежнему разносил пиво и жаркое. Кто-то требовал кофе с пирожными. На кухне не стихала горячка. И лишь хозяйка прервала свою работу. Двое парней, взявшись за носилки, поднимали грузного хозяина в машину. За ним последовала и супруга. Предварительно она успела распорядиться насчет закупок продуктов, заказов на пиво и прочих хозяйственных дел.

— Если старая ведьма припрется, посылайте ее к черту! — крикнула она напоследок.

12

Со временем я понял, что, живя в доме на горе, я имел самые смутные представления о событиях, некогда разыгравшихся в его стенах. Для старика Левке фрау Скаландер вообще не существовала, а Красную Софию он боготворил как идола, к которому неприменимы категории добра и зла. Старик не находил нужным посвящать меня в суть семейных неурядиц или раскрывать подоплеку амбиций фрау Скаландер. Мало-помалу, кружным путем, я собрал весьма противоречивые сведения о жизненных перипетиях Красной Софии. Я вспомнил, как неожиданно Левке обрывал свои рассказы.

— Нет ничего хуже полуправды, это самый опасный вид лжи, — говаривал старик, задумчиво качая головой.

Начнем с того, что никто не знал точно, откуда София прибыла в Зандберг. Одни рисуют ее одетой в форму вермахта — в тот момент, когда она с двумя чемоданами в руках впервые постучала в дверь скаландеровского дома. Другие убеждены, что на ней была красноармейская гимнастерка, что только так и могла быть одета парашютистка, заброшенная в лес под Зандбергом, и дом на горе она выбрала не случайно: отсюда было удобно подавать сигналы и поддерживать радиосвязь с наступающими войсками русских. Но никаких доказательств ни одному из этих утверждений обнаружить не удалось. Никто не находил ни военной формы, ни парашюта, ни радиостанции. Красная София не оставила после себя даже пуговицы, даже заколки для волос! Ничего, кроме слухов, легенд, полудетективных историй.

Старый Левке при этом только посмеивался, и ему вроде бы даже нравилось видеть расхождение молвы с тем, чему он сам был свидетелем. История с коровой не сдела-

44 ла Красную Софию его врагом. Он лишь недоумевал, почему она перевела «волосы», а не «борода». Он упорно учил русский, чтобы не дать себя дурачить. Но Красная София говорила в таком темпе, что он никак не мог понять, о чем она толкует с комендантом, прежде чем выкрикнуть свое знаменитое: «Такова воля Красной Армии!»

Ее действия были оправданны и объяснимы: она конфисковывала временки скрывшихся нацистов, размещала в них советских солдат и беженцев. И даже то, что она вскоре заняла такой домик, не вызывало ничьих нареканий,— ведь Скаландериха больше не желала жить с ней под одной крышей. София окружила себя комфортом, обзавелась мебелью, коврами, парой живописных полотен, радиоприемником и патефоном. Она любила музыку, особенно русские песни. Разъезжая по лесным дорогам, она изливала душу русской песней.

— Я любил ее слушать, иногда нарочно в кустах прятался,— признавался старый Левке,— а до чего весело было на ее вечеринках с русскими! Как мне хотелось попасть в их компанию!

Но вскоре и дом и весь круг быта Красной Софии оказался тесным для нее. Ей понадобился зал ресторанчика с паркетом и сценой, с микрофонами и другой техникой. Для деревенских жителей теперь приглашались профессиональные ансамбли. Теперь и сама София могла петь и танцевать на публике, танцы тоже были ее страстью. На свой страх и риск она стала принимать единоличные решения. Пришла однажды к хозяйке ресторанчика и распорядилась, чтобы та немедленно передала свою собственность деревне и, забрав два чемодана с пожитками, убиралась бы на все четыре стороны. Когда хозяйка попыталась возразить, то услышала знакомую повелительную фразу: «Такова воля Красной Армии!»

Старик пожимал плечами:

— То, что один считает вопиющей несправедливостью, для другого — высшая правда.

Красная София сама появилась в деревне с двумя чемоданами в руках, а теперь прогоняла другую, ни в чем не знавшую недостатка, с имуществом, уместившимся в два таких же чемодана. Про фрау Губицке в деревне поговаривали, что в ближайшем городке она участвовала в увеселительных затеях эсэсовцев, даже имела среди них любовника, какого-то обер-шарфюрера. Муж ее, призванный на службу в качестве унтер-офицера, служил бортмехаником в легионе «Кондор». Прильнув к иллюминатору в хвостовой части своей машины, он видел, как в руины и пепел пре-

— Фашистское отродье! — кричала на нее Красная София, когда хозяйка упорно отказывалась покинуть свое заведение. Фрау Губицке написала жалобу в земельный совет Бранденбурга.

«Мой муж никогда не был членом национал-социалистической партии. А я даже прихватывала с собой одну еврейку на развлекательные мероприятия эсэсовцев. И если меня хотят наказать за то, что мой муж воевал в Испании против красных, то надо тогда отдать под суд половину всех немцев — они воевали в России против Красной Армии», — писала Губицке.

Тут старик Левке вставлял свой комментарий: «Логично мыслит. Логично». Он как раз штудировал основные элементы диалектики, и ему была близка мысль о том, что старое качество внезапно переходит в новое, старое отжившее общество уступает место прогрессивному, подобно тому, как вода при нуле градусов превращается в лед, а при ста — в пар.

— Лично мне больше нравится вариант с паром, — решительно заявил он старому Трибелю, когда тот пришел просить его оказать активную помощь в деле денацификации. — Красная София превратит деревню в ледник, вместо того чтобы выгнать всю гадость паром.

Однако Трибель, председатель местного антифашистского комитета, не отступал, он задал Левке строгий вопрос:

— Ты что, в кусты? С кем ты — с антифашистами, с Красной Софией или против них?

Тут старому Левке было над чем поломать голову. Отделаться афоризмами больше не удавалось.

— Если глаза разучились видеть, им надо не очки, а крышку гроба, — сказал он. — Мне очки больше не помогают.

Но он все-таки явился на заседание антифашистского комитета, внимательно выслушал все, в чем Красная София обвиняла чету Губицке, и даже несколько раз кивнул головой в знак согласия, однако под конец сказал:

— А кто же будет заправлять заведением? Кто будет запасать провизию, готовить, обслуживать? У вас есть на примете новые хозяева? — По его лицу скользнула мимолетная улыбка, он даже подмигнул Красной Софии. — Что это за новый мир без сытного обеда и кружки пива? Это будет довольно грустный мир.

Мне он рассказывал об этом, ничего не тая и не приукрашивая. Вместе со слесарем Трибелем они подписали

46 приказ о конфискации, чем немало удивили ландрата¹, который вскоре приехал в деревню, чтобы решительно воспрепятствовать самовольным действиям Красной Софии. Она же, как щитом, заслонила магическими словами: «Такова воля Красной Армии!» На что ландрат, коммунист, возразил ей:

— Нет, воля Красной Армии не такова, совсем не такова.

13

В ресторанчике я встретил бургомистра. Он, как обычно, пришел за своей суточной порцией сигар.

— Что у тебя с этой фрау Скаландер? — спросил он, закуривая, чертыхаясь и обдавая меня клубами сигарного дыма. Он решительно потащил меня к выходу: — Советую тебе поберечь нервы и послать ее подальше. Вчера она была у меня. Я, можно сказать, так с ней и обошелся.

Он хорошо знал старика Левке, да и в ресторанчике супругов Губицке долгое время считался не самым скучным завсегдатаем. Но за последний год у него стало сдавать здоровье, он выглядел усталым и каким-то помятым. Вместе с семьей он жил в бывшем господском доме, в тесной квартирке, сделанной из помещения для прислуги, хотя путь в нее лежал через настоящие апартаменты. В служебных помещениях, образующих анфиладу второго этажа, кое-где сохранилась роскошная мебель, например фламандский секретер XVI века, резная скамья и те самые украшенные львиными лапами кресла, которым по тем или иным причинам удалось избежать цепкой хватки Красной Софии.

— На редкость беспардонная особа, — говорил бургомистр. — Приезжает сюда и делает вид, что все по-прежнему, корчит из себя невинного ангелочка. А потом сует мне бутылку коньяка и ждет моего благословения. Черт бы ее побрал, старую пройдоху!

На этом запас сильных выражений у него не истощился. Мы вышли на площадь, миновали почту и через открытые ворота чугунной ограды попали в бывший графский парк. Справа — буйные заросли травы, слева — аккуратные клумбы, выложенные камнем дорожки и всевозможные сооружения для детских забав, здесь же пара скамеек, на которых в ожидании бургомистра сидело несколько пожилых посетителей.

¹ Глава районного органа местного управления.

— Посиди пока тут,— сказал мне бургомистр,— когда подойдет твоя очередь, я тебе кое-что покажу.

Сверху доносились дробные трели пишущих машинок, парк наполнился голосами играющих детей. Я заметил, что их больше влекли заросли и глухие тропки, чем изобретенные специально для них аттракционы. Одна из старушек повернулась ко мне и спросила:

— Не вы ли будете тот гражданин, что живет у фрау Скаландер? Вам, что же, придется съезжать, коли она объявилась?

— Нет,— ответил я,— и не подумаю.

— Об этом нынче много говорят,— сказала другая женщина и покачала головой.— Жива, должно быть, Красная София, жива...

«Жива или нет,— думал я,— а жизнь у нее здесь была, как говорится, кипучая». Крутая гранитная лестница с гранитными же перилами вела в бывший господский дом. Когда-то его заняла на время комендатура советских войск. Тут собирались бургомистры десятка ближайших деревень, а иногда и со всего района. И все они не раз могли слышать, как, переводя слова капитана, Красная София возглашала: «Такова воля Красной Армии!» В конце концов она сама стала бургомистром. Впервые в истории эту должность заняла женщина. И за дело она взялась с поразительной энергией и энтузиазмом, с каким-то внутренним пониманием своей задачи, так что на первых порах все дивились ее успехам. Снова зазеленели пашни, начали открываться лавки и пекарни, школы и столовые. Еще не было покончено с арестами «бывших», еще шло перераспределение имущества и случались побеги на Запад, но жизнь прочно входила в нормальную колею. И в заведении фрау Губицке по выходным дням устраивались танцы.

Дети гурьбой штурмовали гранитную лестницу, они торопились на завтрак. Столы были накрыты прямо в холле, где только камин напоминал сейчас о графских временах. По соседству с детским садом, здесь же, в нижней части здания, располагались кабинет врача и библиотека. Если я не заставал дома своего друга Левке, это означало, что он в библиотеке.

— Завещаю тебе свой ластик,— сказал он незадолго до смерти.— Когда мои книги перейдут библиотеке, все в них должно быть в полном порядке.

Таким образом, мне пришлось сводить со страниц начертанные на них комментарии и таскать увесистые кипы в библиотеку. В качестве благодарности я получил крепко

48 засевшие в голове изречения: «Лопух — лучший салат для ослиной утробы». Или: «Большой корабль повинуетея маленькому штурвалу».

На стене дома висела табличка: «Совет общины», на ней были указаны часы приема, рядом — доска объявлений: новое расписание автобусов, «Все на флюорографию», объявления о собраниях филателистов и рыболовов-любителей. Постоять с удочкой на мостках у лодочной станции не гнушалась и Красная София. Более того, она сияла от гордости, если ей удавалось вытащить здоровенную щуку.

— У нее были все задатки настоящего рыболова, — говорил старый Левке, — выдержка, хладнокровие и вкус к хорошей рыбе.

Меня позвали к бургомистру. Мы встретились в холле, где завтракали дети.

— У нас тут пчелиный улей, а тебе выпала роль осы. — Я было вздумал обидеться, но он еще строже прищурил глаза и ворчливо добавил: — Хватит тебе копаться в старом хламе. Радоваться надо, что прошлое быльем поросло. Через неделю старуха уберется восвоюси, и все будет забыто.

Он потащил меня в кабинет, подвел к бюро, взял в руки толстенную папку и, грозно взмахнув ею в воздухе, предупредил:

— Только через мой труп, понял? В нее нос не совать. Точка!

На обложке я разглядел надпись: «Документы 1945—1946 гг.». Бургомистр не торопясь раскуривал свою потухшую сигару, а я сидел, не спуская глаз с папки, лежавшей у него на коленях. Он молча листал ее.

— Если б ты знал, — сказал он наконец, — чего стоило водворить спокойствие и порядок в этой деревне. Об остальном я уж молчу.

Он захлопнул крышку и положил на нее ладони.

— Что было, то прошло. Кануло. Забыто. Окончательно и бесповоротно.

— Неужели? — спросил я.

Он скрылся в облаке табачного дыма, и оттуда я услышал раздраженную фразу:

— Если б не лезла эта Скаландер!

Легенды о Красной Софии он знал не хуже меня и верил им не больше, чем я. Он бросил на стол папку, мотнул головой, встал и подошел к окну. Луховское озеро плескалось менее чем в ста метрах. Весь берег был усыпан пестрыми фигурками купальщиков, вдалеке маячил парусник,

у входа в канал был виден пароход, над ним витало маленькое облачко дыма.

— Этой фрау Скаландер надо основательно прочистить мозги. Она должна понять, что на нее смотрят только как на гостя, на туриста, на отдыхающего. А хозяева здесь мы, и она будет подчиняться нашим законам, и никакой торговли народной собственностью мы не допустим. Точка!

Я кивнул ему и собрался уже уходить. Мне больше нечего было сказать и не хотелось попусту терять время. Но он вдруг громко окликнул меня и бросил папку на стол:

— На вот, возьми. Ну хватай же! Черт тебя подерил! Но имей в виду: я тебя предупреждал. Хватит с меня неприятностей. Я здесь седые волосы нажил.

14

Первое, что я увидел, раскрыв папку, была подпись моего друга Левке, по соседству с автографом Красной Софии. Не помню, как и каким образом я выбирался из служебных помещений, помню только, что я сидел на лестнице. Вокруг меня стоял шум детских голосов, беготни, возгласов и разговоров множества людей, невесть откуда и для чего появившихся. Несколько раз мне приходилось отвечать на приветствия и вопросы. Не могу сказать, как долго я там просидел — минуты или часы, читал или не читал бумаги. Дрожащими руками я листал пожелтевшие страницы, надеясь за один присест узнать всю правду о Красной Софии.

Запах, веками устоявшийся в этом старинном здании, голоса, беготня по лестнице, телефонные звонки, музыка из репродуктора, приемная, кресла с львиными лапами — все это вдруг дохнуло на меня тем самым прошлым, которое запечатлелось на желтой бумаге. Я бы, наверно, не очень удивился, увидев перед собой лысого коменданта. «Прошу, товарищи!» — сказал бы он на не очень чистом немецком языке, а потом бы добавил несколько русских фраз, с лету переведенных Красной Софией. Оба они сидели в креслах напротив друг друга, по обе стороны длинного стола, который упирался в бюро. Думаю, рядом с ними могли находиться плотник Левке и слесарь Трибель и еще два-три человека из числа тех, с кем я познакомился в последние годы их жизни. Отсюда было видно, как к нижней ступени лестницы с ревом подруливают грузовики и танки. К коменданту подходят красноармейцы, они рапортуют, получают указания и сбегают вниз по лестнице. Некоторые

50 останавливаются возле меня, садятся, роются в карманах в поисках махорки и бережно свернутой газетной бумаги.

— Закурим, что ли? — спрашивают меня.

Я киваю, неумело тяну свою сигарку, отвечаю коротко и невпопад, потому что боюсь упустить из виду то, что происходит за моей спиной, — чем занимается Красная София. Несмотря на оглушительный рык громкоговорителей и рев моторов, я понимаю ее довольно легко.

— Комендант доверяет немецкому населению всю полноту ответственности, — говорит она, поднимаясь с места, и тем самым дает знак встать всем остальным, коменданту она подает на прощание руку. Отныне он будет находиться в штабе гарнизона, неподалеку от этих мест, а здесь вступит в права немецкий бургомистр. — Комендант предлагает товарища Левке, — говорит она. И это звучит как приказ.

Как я ни силился извлечь из небытия лицо Красной Софии, мне не удалось даже смутно вообразить его. Остались только слова: то властные, то озорные, то суровые — ворох документов, полных приказов, решений, указаний. Старый Левке рассказывал мне, что он уклонился от вступления в должность, хотя София насаждала на него, осыпая бранью и насмешками: «Трус! Обыватель! Тряпка!» Комендант знаком приказал ей замолчать, он вновь положил руку старику на плечо и спросил:

— А почему бы и нет?

Но Левке показал глазами на заброшенную, совсем почти безлюдную деревню и пробормотал:

— Я слишком стар, не смогу я.

Ни один афоризм не пришел ему на выручку, он опустил глаза.

— А ты? — спросила София, обращаясь к Трибелю.

Но и тот отказался. Другие взяли самоотвод еще до того, как им предложили место бургомистра. Комендант подошел к окну, стал молча смотреть во двор, потом долго что-то говорил по-русски, но София не переводила. Она снова опустилась в кресло и сказала короткое: «Да». Но тут за окном послышался рокот мотоцикла, она вдруг вскочила, сломя голову бросилась вниз, добежала до ворот парка и заключила в объятия молодого солдата, стоявшего там как на посту.

— Я стала бургомистром! — громко и радостно крикнула она. — Теперь я уж точно остаюсь здесь! Ты доволен?

Комендант распахнул окно и позвал ее. Но она уже оседлала мотоцикл и вместе с парнем помчалась вверх по улице. Но вскоре повернули обратно. Она знала, что нельзя перегибать палку.

— Сегодня повеселимся, непременно приходи, Роланд,— говорила она.

Она любила такие моменты, когда жизнь принимает неожиданный оборот. Вообще-то она подумывала о возвращении, об учебе, получении специальности, о какой-нибудь хорошей работе у себя в Дрогобыче и тем самым стремилась приглушить свое влечение к этому молодому человеку. Но сейчас она висела у него на шее, целовала его, пьянела от этих поцелуев, обнималась с ним в стогу сена и шептала:

— Люблю! Остаюсь с тобой! Теперь мы вместе!

Над ними вспыхивали ракеты, деревья вокруг озарялись отблесками красных, желтых, фиолетовых огней. Дело шло к ночи. Лесное эхо вторило разноголосым крикам. Их искали. Комендант и другие офицеры.

— Ты должен пойти со мной, Роланд. Вместе будем праздновать,— говорила она.

— Не надо, не уходи,— упрашивал он,— давай лучше уедем.

— А ты, оказывается, ревнивый,— смеялась она.

Парень вскочил на мотоцикл, буквально поднял его на дыбы и умчался, оставив ее без ответа.

В свете костра, разведенного часовыми перед графским домом, Левке увидел, как комендант на руках вносит Софию в коляску. Отныне это личный транспорт бургомистра.

— Да здравствует София, первый коммунистический бургомистр Германии! — кричит комендант.

А пожилой красноармеец, осеняя себя крестным знаменем, шепчет: «Святая София!» Тут она не выдержала, прямо-таки зашлась смехом, прыгнула с коляски и, повернувшись к солдатам, крикнула:

— Святая или несвятая, но если взялся за гуж, не говори, что не дюж. А мы теперь весь мир за гуж взяли!

Комендант повел ее в дом. Там был накрыт праздничный стол — не только для офицеров и солдат, но и для нее, Трибеля и старого Левке.

— Ну так где же твоя священная корова? — в шутку спросил комендант у Левке.

Красная София перевела это так:

— То, что ты отнюдь не святой старец, мы уже поняли, но если ты сделал выбор в пользу меня и коммунизма, тогда скажи громко и четко, как перед свадьбой: «Да!»

Старик взял рюмку, улыбаясь, чокнулся с комендантом и сказал свое: «Да!»

На следующий день она сидела за письменным столом,

52 одна в опустевшем графском доме. Красноармейцы покинули его еще ночью. Во дворе не было ни машин, ни часовых. Комендант отдал ей автомат и сказал:

— Теперь ты здесь наш единственный солдат. Смотри же: ни шагу назад!

Потом пришли те, с кем ей предстояло работать: Левке, Трибель, крестьяне. Начали с составления ведомости сдачи молока.

Я держал в руках эту поистрепанную бумагу. Что-то заставило меня оглянуться. За моей спиной стоял бургомистр. Он укоризненно качал головой, вероятно, раскаиваясь, что передал мне папку.

— Только, ради бога, не поднимай шума,— проворчал он,— тут и так хлопот полно рот.

На лестнице, тремя ступенями выше, расселся здоровенный детина с сигарой во рту, над его квадратной головой нимбом висело кольцо сизого дыма. Он смотрел на меня сверху вниз и ждал приема по поводу «повышения закупочных цен». Я уже был внизу, в дверях, но не утерпел и задал ему вопрос:

— А в чем, собственно, дело-то?

Он нахмурился и выпустил из себя целое облако. Прошлое не могло тягаться с современностью. Или же нет?

15

В доме на горе, куда более двадцати пяти лет назад поступала Красная София, я дочитал то, о чем говорили и что внесли в протокол первый послевоенный бургомистр, мой друг Левке, слесарь Трибель и еще несколько деревенских. Это был план национализации, принятый антифашистским комитетом. Не очень пространный, от руки написанный текст содержал заявления, равносильные присяге. По соседству с ним — пожелтевшие листочки машинописи с именами, адресами, датами рождений и постановлениями относительно недвижимого имущества, прежде всего земельных участков вместе с постройками и хозяйственным инвентарем.

«Проведение земельной реформы. Предложение о конфискации,— читал я.— Основание: бывший государственный прокурор, доктор Фр. Кубьерски, который нашел здесь прибежище в так называемой «временке», был членом «народного суда немецкой нации». Этот суд приговорил множество людей антифашистских убеждений либо к заключению в концентрационном лагере, либо к смертной казни, на судьях и обвинителях — кровь антифашистов, та-

кое правосудие было верным оружием нацизма и его бесчеловечных законов. Мы не потерпим общества тех, кто преследовал наших братьев, борцов за освобождение народа, кто обрекал их на пытки и смерть. Поэтому мы требуем справедливого наказания и конфискации всего имущества». Тут же было подклеено заявление, напоминающее свидетельское показание, оно было написано от руки, под ним стояло имя Красной Софии:

«Готова подтвердить под присягой, что в мае 1945 года господин Фр. Кубьерски во время своего посещения Зандберга заявил мне как бургомистру, что он, будучи членом народного суда немецкой нации, вынес лишь два смертных приговора. Тон, каким он произнес эти слова, свидетельствует о том, что смерть двух ни в чем не повинных людей не кажется ему заслуживающей внимания».

Далее следовали постановления о конфискации, датированные мартом, июлем, августом и т. д., вплоть до конца 1946 года.

«Господин Мухов был махровейшим спекулянтом, всталась погревшим руки на трудностях военного времени. Он соблазнял своих соотечественников возможностью дешевой аренды земельных участков, суля им немалые выгоды в скором будущем. Его постоянными пособниками были судебные исполнители, которых он беззастенчиво навязывал своим клиентам. Ничего святого для него не существовало, никого он не считал достойным сочувствия. Этот ловкач ухитрился проделывать по две или три махинации с одним и тем же участком. Перед вступлением Красной Армии он скрылся и тем самым избежал справедливой кары. Пришла пора путем земельной реформы вернуть должное «арендаторам» господина Мухова — тем людям, кого он называл своими должниками и кто годами в тревоге и страхе обрабатывал землю, якобы принадлежащую спекулянту».

«...При удалении фанерной облицовки потолка в доме Вилли Клейна было обнаружено: 1) два значка члена национал-социалистической рабочей партии; 2) иллюстрированные спецномера газеты «Фёлькишер Беобахтер», посвященные 50-летию Гитлера; 3) книга «Гитлер, каким вы его не знаете» с дарственной надписью, обращенной к фрау Клейн, помечено 1932 годом; 4) биография Гитлера, снабжена ста тридцатью четырьмя иллюстрациями, издана в 1931 году; 5) биография Германа Геринга; 6) портрет Гитлера. Как доказательство принадлежности хозяина к нацистам найден партийный билет за номером 3054025, из которого следует, что Вильгельм Клейн был членом нацистской

54 партии с мая 1933 года (территориальная группа Фриден-ау) и платил членские взносы по август 1944 года. Вопрос о конфискации решился сам собой, так как супруги Клейны наложили на себя руки сразу же по вступлении Красной Армии. Просим администрацию провинции о безотлагательном утверждении нашего решения, ввиду того что объявились три наследника, заявившие о своих правах на собственность Клейнов...»

«...Господин Икес, который под псевдонимом «Маршал» выпустил уйму фашистских книг, был известен в нашей округе как ревностный функционер местной нацистской организации. Кроме того, в предпоследний год войны он опубликовал в «Берлиннер иллюстриерте Цайтунг» роман соответствующего содержания. При обыске в его доме найдено 187 книг фашистского толка (среди них девять экземпляров книги Гитлера «Моя борьба»), а также несколько флагов со свастикой и оружие...»

«...Франц Кашвиц, агент гестапо, в 1942—1943 годах провоцировал рабочего Рихарда Зибеля на высказывания против нацистского режима, после чего нанес ему настолько тяжелые телесные повреждения, что тот лишился сознания от потери крови. Затем по доносу Кашвица Зибель был на три года заключен в концентрационный лагерь. После вступления Красной Армии Франц Кашвиц вел подрывную работу, подбивал к саботажу рабочих сельской общины, позднее был арестован. Мы ходатайствуем о конфискации его сельскохозяйственной собственности». К сему прилагалась записка компетентных следственных органов: «...считаем необходимым указать, что Рихард Зибель дал ложные показания по делу Кашвица, так как, по нашим сведениям, он отбывал наказание за драку. Если же он в дальнейшем не откажется от прежних показаний, необходимо безотлагательно провести судебное расследование».

«...Вилли Фюрст, бывший вожак сельских нацистов, в середине мая задержан и взят под стражу органами Красной Армии. В национал-социалистическую партию вступил в 1937 году и вплоть до ареста состоял ее членом. Его старший сын, Курт Фюрст, стал нацистом еще до 1933 года, он принимал участие в самых крупных нацистских собраниях, не исключая и нюрнбергского — в 1935 году. На счету Вилли Фюрста немало доносов на односельчан, в том числе на товарища Трибеля, объявленного им «опаснейшим коммунистом». Тем, кто подобным образом преследовал убежденных антифашистов, нет места в свободной Германии! Просим утвердить принятое нами решение о конфискации имущества Фюрстов».

«...Крестьянин, владелец усадьбы Рюгер снискал среди земляков репутацию отъявленного фашиста. Он бил и унижал иностранных рабочих, даже в конце апреля 1945 года он доносил на многих жителей деревни, дезертировавших из фольксштурма. Сам за себя говорит тот факт, что при вступлении частей Красной Армии он был убит крестьянами. Его жена заявляет теперь, что всегда страдала от политического давления со стороны мужа, но ее слова не внушают доверия, поскольку их семнадцатилетний сын был вожаком гитлерюгенда и фашистом до мозга костей. Мы предлагаем передать усадьбу Рюгера переселенцу Петеру Шютцу, выделив ему также три комнаты и кухню в доме, ранее принадлежавшем Рюгерам». И к этому документу имелось приложение: «Поскольку жена Рюгера была с ним в разводе, юридическое оформление которого задерживалось лишь обстоятельствами военного времени, а также учитывая, что раздел имущества состоялся, Комиссия по проведению земельной реформы снимает свое заявление о конфискации».

«...Господин Пауль Мангольд был ярким приверженцем нацизма, он автор книги «Философские основы исторической миссии Гитлера», за которую получил медаль им. Гете. Несмотря на то что одно упоминание великого поэта в связи с подобного рода писаниной является оскорблением немецкой литературы, у господина Мангольда хватило бесстыдства носить эту медаль на шес даже в те моменты, когда он проповедовал культуру нагого тела. Хотя господин Мангольд имел высшее образование, это не мешало ему превозносить в своих сочинениях Гитлера, тем самым он являлся идейным союзником нацистских преступников...»

«...Помещичье владение (233,35 га пахотной земли, 250 га леса, 16,65 га луговых угодий) принадлежало некоему господину Крите из Бремена, фабриканту и торговцу ценной древесиной. Этот господин был известен как убежденный нацист. Вместе со своими многочисленными любовницами он использовал поместье как пышную декорацию для разнузданной жизни. О пущах хозяйства и работающих в нем людей он никогда не заботился. Более того, он постоянно корил управляющего за то, что имение дает мало дохода, и настаивал на привлечении дешевой рабочей силы, прежде всего иностранцев. Отсюда со всей очевидностью следует, что 500 га помещичьей земли должны быть конфискованы».

Я захлопнул крышку пухлой папки, решившись на время расстаться с делами 1945—1946 годов, но меня снова

56 потянуло перелистать ветхие страницы с собственноручными подписями Красной Софии, Левке и Трибеля. Старик ни словом не обмолвился о том, что эти документы хранятся в канцелярии бургомистра.

— Если б ты знал, как она говорила,— не раз повторял Левке, вспоминая горячие денечки в бывшем графском доме.— Это надо было слышать своими ушами. Как властно она умела прикрикнуть, одернуть, высмеять, призвать. А ее приказы и приговоры! Мы сидели с ней за одним столом. И как только она начинала говорить, всем казалось, что в жалкую деревню врывается вихрь величайшей в истории революции. Можешь себе представить, как она умела вертеть всеми нами!

16

Я научился понимать формулы, а тут надо было понять жизнь. Эта истина открылась мне, когда я убрал со стола старинные книги и засел за документы 1945—1946 годов. В глубине души я уже оплакивал свою диссертацию и тщательно обдуманный план подготовки к новому учебному году, это было нелегко, но я ничего не мог с собой поделаться: о чем бы ни думал, все сводилось к одному — Зандберг, послевоенная разруха, Красная София. Я хотел знать правду, ту самую правду, за которой столько гонялся, и, как теперь вижу, не совсем безуспешно.

Я все реже вспоминал о Валленштейне, о его верных рубаках, о суровом бражнике Гёце, убитом пушечным ядром в Богемии, или о Шпарре, награбившем несметные богатства во время Тридцатилетней войны и вместе с тем известном своими набожными пожертвованиями на колокола и церковную утварь. Охладел я и к другим бранденбургским атаманам — Гёрцке, Кенигсмарку и Арниму, которые под разными флагами грабили одни и те же провинции и, уже будучи почтенными ветеранами, довольствовались зрением двух-трех глинобитных лачуг, построенных на пепелищах.

Я побежал к фрау Скаландер, теперь уже сам хотел, чтобы она разговорилась. У Трибелей ее не оказалось, но все-таки я ее нашел — она семенила по Бергштрассе. Скаландериха была явно разочарована, когда поняла, что меня интересует не продажа дома, а Красная София.

— Какое мне до нее дело? — ворчливо отмахивалась она от моих вопросов. — Ее брак с моим сыном был фикцией с самого начала.

Но все-таки кое-чего я от нее добился. Она рассказала, как красноармейцы вытащили ее сына из погреба и увели в лес, где ему надлежало занять место в колонне немецких военнослужащих. Их было не меньше тысячи. После многочасового пешего перехода они достигли районного центра, расположились в полуразрушенном здании вокзала, можно сказать, без крыши над головой. Там провели неделю, мокли ночами под дождем, пока их не забрал поезд, следовавший на Украинну. Так как Гарри Скаландер совершил в пути попытку к побегу, его определили на работу в шахты близ Донецка. Он пробыл там несколько месяцев. В деревню вернулся изнуренный и ко всему равнодушный. Все тогда удивлялись его скорому возвращению. Он был одним из первых. Матери, которая начинала костерить Красную Софию, обвиняя ее во всех бедах, Гарри сказал:

— Давай не будем. Я знаю только то, что ничего не хочу знать.

Но фрау Скаландер решила возразить ему:

— Она и гроша-то ломаного не стоит. Какая она тебе жена? Путалась с солдатами, с пушкарями из леса, потом с рабочими и пленными, развлекалась с красноармейцами, цеплялась к каждому, от кого ждала для себя выгод. Тебе здесь любой воробей прочирикает, сколько она постелей перегрела. Такую бабенку раньше бы с позором выставили из деревни, а она разыгрывает из себя бургомистра и наше имя пятнает, бесстыжая. Если будешь считать ее женой, знай: у меня нет больше сына!

И она действительно осталась без сына, ожесточилась, отчаялась, потемнела от злобы.

— Тварь ничтожная! — шипела она. — Маленькая, ядреная, веснушки до самых ушей! Но горе тому, кто помянет про эти веснушки! Стоило кому-нибудь хоть в чем-то ей не угодить, как с этим человеком тут же расправлялись. Только я одна не боялась говорить ей то, что думаю, меня-то ей запугать не удалось. Я знала, что все это было сплошным лицемерием, хитрым расчетом, жаждой вещей и власти. И ее политическим разглагольствованиям я не доверяла, не было в них ни капли правды... голый расчет. Уж как я ей, должно быть, мешала, с какой радостью она выгнала бы меня из дома, из моего собственного дома. Только я и знала, говорила ей прямо в лицо, как она сюда заявилась: тише воды, ниже травы, жалкая, оборванная, нищая. Но она и не слушала меня, она вила в моем доме теплое гнездышко. — Фрау Скаландер неприязненно посмотрела на меня, ее губы резиново растянулись. — А вам-то зачем все это?

58 Я слышал, что Красная София и вернувшийся в родные места Гарри Скаландер обвенчались в соседней деревне. На свадьбу она надела белое кружевное платье с глубоким вырезом и длинным шлейфом. Букет роз от садовника Линдова до сих пор не оплачен. Кучер, которому из-за множества приглашенных пришлось пять раз гонять лошадей, рассказывал мне:

— Она пела песню. Мелодия была грустная. Она всегда пела такие песни. Хотя после каждого куплета смеялась. Иногда вырывала у меня кнут и щелкала им в воздухе, но это так, в шутку. На обратном пути казалась очень веселой. Меня спихнула с козел. Я сел позади жениха. А она погнала лошадей как сумасшедшая — по корягам и камням через лес к озеру. Там мы и увязли в болотной осоке. И наверно, пропали бы, если б я не вырвал у нее вожжи.

Кроме него, никто не отваживался вырывать вожжи у Красной Софии, даже старый Левке. Хотя он несколько раз брал слово на собраниях, чтобы в присущем ему афористическом стиле высказать свои соображения. На одном из собраний присутствовал и ландрат. Он выступал против конфискации ресторанчика. Однако Красная София сумела повернуть дело так, что оно оставалось вне досягаемости ландрата. Если ей и не удалось распорядиться судьбой гостиничных номеров, то участь большого зала она решила по-своему.

Свадьба Софии была уже не первым празднеством, происходившим в его стенах. Но оно было самым шумным, пышным, безудержным. До сей поры, заслышав громкий шум, деревенские говорили: «Красная София гуляет, Красная София танцует!»

— Я не пришла на свадьбу,— сказала фрау Скаландер.— Я прокляла тот день на веки вечные.

Весь день, весь вечер и всю ночь она безвыходно просидела в доме на горе, но и там не смогла укрыться от звуков неистового веселья. Ах, лучше бы она залила себе уши воском или ушла далеко-далеко. А София все не могла наплясаться, она танцевала даже утром, когда крестьяне уже выгоняли скотину. Ей стал тесен большой зал, ей понадобилась улица, и она пустилась в пляс по деревне, густо зардевшись от избытка счастья или чего-то еще. Такова была Красная София.

— Эта тема слишком вредна для моих нервов,— сказала фрау Скаландер. Она замедлила шаг и остановилась, с трудом переводя дыхание.— Не могли бы вы меня проводить к фрау Трибель, здесь недалеко. Все-таки я пожилая

женщина, а нам не всегда легко совладать с воспоминаниями.

Когда мы шли лесом, она опиралась на мою руку, вздыхала и говорила:

— Вы бы могли быть мне сыном. Ему было столько лет, как вам сейчас, когда я его в последний раз видела.

Показались летние постройки Трибелей, стоящие на-искосок от большого дома, куда часто заходила Красная София, пока фрау Скаландер этому решительно не воспрепятствовала.

— Известно ли вам, что однажды она набросилась на меня с кочергой? Можете представить себе, как мы дрожали за свои жизни.— Она стиснула мою руку и умоляла не ворошить больше прошлое.— Вы только подумайте, она кочергой погнала меня в сени.

Мы вошли в дом. Она показала на высокий порог, о который я споткнулся было при входе. Только теперь я заметил, что к порогу сверху приколочена еще одна доска. Она довольно свободно ходила, и, когда я чуть отвел ее в сторону, мне бросились в глаза выжженные на дереве инициалы. Буква «S» в слове «София» напоминала серп, она пересекалась изображением молота.

17

«Кому не дано видеть порядка, тот называет его беспорядком»,— говорил старый Левке. Красная София уточняла: «Я хочу всеобщего порядка!» Из окна канцелярии можно было обозревать всю деревню и мечтать о порядке, которого так желала София. Но она старалась поменьше говорить о завтрашнем дне и обрывала всякого, кто пускался в мечтательные рассуждения о будущем.

— Надо думать о том, как жить сейчас,— отрезала она,— будущее растет сегодня.

Мужчины, приходившие в канцелярию, по старой привычке щелкали каблуками и застывали по стойке «смирно». Она им кричала:

— Двигаться надо, а не стоять столбом, двигаться, но идти в ногу со мной!

Бывшему фюреру местных крестьян Фюрсту она бросила под ноги принадлежавшее ему пресс-папье с орлом и свастикой, когда этот мужик вытянулся перед ней во фронт и отрекомендовался искренним антифашистом. Нацистского писаку Мангольда, прославившего «историческую миссию Гитлера», по ее приказу вынесли из дома вместе со стулом, когда тот отказался покинуть конфиско-

60 ванное владение. Она в клочья рвала все письма от берлинских адвокатов — десятки пространных протестов против ее якобы незаконных действий. Она изымала старые поправки, внесенные в поземельные книги, и приказывала их публично сжигать.

— Это старые законы и старая конституция,— говорила она. — В огонь!

Она была первым послевоенным бургомистром деревни и желала действовать именем нового права, нового закона. Хотя больше половины ее обвинений и резолюций были отменены ландратом и властями провинции, даже то, что она успела привести в исполнение, изменило весь ход деревенской жизни вплоть до сегодняшнего дня. Советская комендатура к тому времени переехала в районный центр, и все свои практические шаги София подкрепляла фразой:

— Такова наша воля, воля антифашистского комитета, в том числе и Эрнста Левке!

А под конец своего правления она стала выражаться еще проще:

— Такова моя воля!

Она не любила сидеть в канцелярии и копаться в бумажном хламе. Куда охотнее она колесила по округе, частенько прихватывала в свою коляску пару мешков зерна, запрятанного в укромные уголки амбаров, и отдавала зерно крестьянам-новоселам, а какую-то часть оставляла себе. После перераспределения земли ей досталось пять гектаров, а в придачу — корова, две свиньи и несколько кур с бывшей усадьбы Крите.

— Ни одна рука не должна быть обделена работой,— говорила она,— моя не слишком устала от писанины. Что ж поделаешь? Буду трудиться больше, чем полагается.

Однажды, в разгар весенней пахоты, она распорядилась вычистить лошадей и навести лоск на свой экипаж. При полном параде она явилась к старому Левке и с порога закричала:

— Надевай лучший костюм! Мы едем в город!

Дорогой она пела, смеялась, балагурила, не обращала внимания на нетерпеливые вопросы Левке и всю гнала лошадей. Лишь перед зданием земельного управления кое-что прояснилось.

— Сегодня великий день,— сказала она,— впиши его в свой календарь красными цифрами.

От дальнейших объяснений она воздержалась. В кабинете ландрата, куда она прорвалась без малейшей задержки, София лихо припечатала к столу какой-то лист бумаги.

— Написанное здесь читай: «коммунизм, восклицательный знак», что, как воздух, необходимо населению Зандберга.

Ландрат, которому уже не раз приходилось сдерживать могучие порывы зандбергской бургомистерши, без особого восторга посмотрел на бумагу, прочитал, покачал головой и ответил:

— Если б это действительно был тот воздух, который сейчас нужен нашим крестьянам.

Он откинулся на спинку стула, возвратил записку и довольно невозмутимо выдержал новую атаку Красной Софии.

— Ах, так здесь не очень нуждаются в свежем воздухе? Здесь бояться любого предложения, любой инициативы, малейшего дуновения новых ветров?

Бумага снова оказалась в руках ландрата и так несколько раз переходила из рук в руки. Наконец София склонилась над столом ландрата, да так низко, что он вынужден был смущенно опустить глаза: ее воскресное платье отличалось глубоким вырезом, отсутствием рукавов и тонким, до прозрачности, материалом.

— Нет, нет... — попытался отбиться ландрат, — это тот самый ветер, которым ты хочешь задурить головы своим односельчанам. Это восточный ветер. Это слишком радикально. Ради бога, без меня!

Тут она выпрямилась, тряхнула гривой рыжих волос, закинула их за спину, скрестила на груди руки и сказала: «Видали его?» Она повернулась к старому Левке, который так и не понял, о чем идет речь. А когда ткнула его локтем в бок и призвала в свидетели, пробормотал нечто среднее между «гм» и «да».

— Разве не правда, что у нас хватает земли и работающих людей, а мы не можем выбраться из дерьма? — строго, как на допросе, спрашивала она и, все более горячась, продолжала: — Взялись раздавать землю, да никто не берет. Кому она нужна, если работать нечем? Голыми руками хозяйство не поднимешь! Пятьсот гектаров, что отобрали у Крите, травой заросли. А ведь мы и убеждали людей выйти в поле, и заманивали, и чуть не палкой гнали! У нас нет машин, нет обыкновенных плугов! Сараи развалились. Вместо тракторов — ржавая труха, вилы — и те без зубьев! Говорим о госхозах, а сеять нечего! Со скотиной не лучше. Два очумелых быка, семнадцать тощих коров, пять свиней, два десятка кур. Разделить на всех — выйдет ложка мясного фарша! Неужели возвращаться к проклятой нужде, к жалким огородикам? Или ждать чуда, когда на песке вырастет что-нибудь путное?!

В сердцах она стукнула кулаком по столу. Вспорхнули служебные бумаги. Она рассмеялась. Глаза уже сверкали вызовом и торжеством. Она вновь нагнулась к ландрату и с издевкой повторила его слова: «Ради бога, без меня!» Перехватив его взгляд, добавила, то ли вразумляя, то ли с угрозой:

— Ну так как? Ветер с востока или полный застой?

Потом сделала знак старому Левке. Тот мигом осознал свою вину и выдавил из себя хриловатое «да». У него будто пелена с глаз спала. Он понял, для чего потребовались и полированная коляска, и лоснящиеся лошади, и весь этот праздничный выезд, и лучший костюм, который заставила его надеть Красная София.

Он вышел из комнаты, онемев от смущения, он чувствовал себя смешным и одураченным. Эх, если б сейчас ударить потихоньку в Зандберг. Но шел дождь, лошади были беспокойны, и он остался. Старик ласково поглаживал лошадиные спины, не замечая, как мокнет под дождем, как дождь начинает слабеть и как в лучах проглянувшего солнца появляется наконец Красная София.

Двое мужчин, выделенных для этого земельным управлением, помогли им погрузить в коляску пять мешков семенного зерна. Кроме того, удалось разжиться плугом, бороной и ящиком, в котором копошилось и пищало множество желтых цыплят.

— Вот с чего начинается наш колхоз! — торжественно и гордо сказала София старому Левке. Она обняла его и взялась за вожжи. С криком «Но-о-о! Дьяволы!» они тронулись в путь. София еще раз взглянула на здание земельного управления.

— Уж я своего добыю! — крикнула она напоследок.

Снова она была веселой и бесшабашной, снова в каком-то радостном угаре! Лошади быстрой рысью грохотали по брусчатке улиц вдоль душистых палисадников, где уже распускались первые весенние цветы. За коляской бежала детвора. София порылась в карманах и начала бросать деньги и шоколад. Нимало не стесняясь, она привела в порядок свой туалет, застегнула последнюю пуговку на платье, причесала растрепавшиеся волосы.

— Этот ландрат чокнутый какой-то, — сказала она, усмехаясь, — в ответ на мое ходатайство предложил выйти за него замуж.

Старый Левке зябко поежился и недовольно заворчал:

— Ничего себе свадебный поезд. На мне сухой нитки нет. В следующий раз придется обойтись без меня.

Он хотел добавить пару колких афоризмов и попенять ей за то, что она всегда действует самовольно, считая всех вокруг дураками, и вешается на шею тем, от кого ждет выгод. Он кивнул на кучу с боем взятого добра и сказал:

— Под лежащий камень вода не течет, даже при таком дожде.

Она рассмеялась и еще сильнее погнала лошадей. Город был уже позади.

— А тебе невредно помокнуть под дождем, папаша. Тогда и я с чистой совестью смогу следовать твоим афоризмам.

Небо стало совершенно ясным, без единого облачка. Слабый ветерок чуть шевелил деревья по обе стороны шоссе. Просушенные солнцем, острее пахли луговые травы. София не пыталась увернуться от нависших над дорогой ветвей. Она хваталась за них руками, пропускала сквозь пальцы. Она была в восторге от гибких ветвей, от усеявших их цветов и от радужных капель.

— Жемчуг! Видишь, дождь превратился в жемчуг! — упоенно восклицала она и без умолку говорила: — Все пошло в рост! Все кругом цветет! И у нас тоже все наладится, надо только начать. Пусть мы пока одни, но мы будем примером для остальных. У нас пятьсот, нет, тысяча гектаров. Мы их распашем, засеем, добьемся хороших урожаев! Никто не в силах помешать нам!

В ее грезах и земля и виды на урожай имели свойство моментально разрастаться. Попискивающих на дне коробки цыплят она уже называла птицефабрикой, борону и плуг — машинно-тракторным парком. Ее воображение было захвачено впечатляющей картиной жатвы: шеренги рокочущих тракторов и молотилок. Горстка зерна превращалась в солидные фонды, переполняла амбары и силосные башни, а они были для нее заманчивее небоскребов и вознесенных над городом шпилей.

— Вот уж тогда заживем! — кричала она, захлебываясь от восторга и сжимая одной рукой плечо старого Левке. — Это будет полная чаша. До краев. У всех одна душа и одно сердце. Вся деревня — одна семья! О нас узнает страна! Коммунизм, мой дорогой, это единственное, о чем можно мечтать!

Гора была уже совсем близко. Показались сизая грива соснового леса и словно запутавшиеся в ней полоски пашни, неровные пятна лугов, темные топи вокруг озер, камыш, заросли ивняка, болотца. Тут и там виднелись траншеи, полуразрушенные артиллерийские укрепления, остатки противотанковых заграждений, заглохшие поля с обуг-

64 ленными скелетами танков и автомобилей, развалины домов на склонах — печальное зрелище, именуемое деревней.

— Раскрой пошире глаза,— сказал усталый и продрогший Левке.— Спустишься с облаков на землю. Каждый в первую очередь думает о себе, а пока грядет твой коммунизм, глаза навсегда успеют закрыться и у тебя, и у меня!

Лицо Софии словно окаменело, губы превратились в жесткую складку. Она опустила голову и не сказала ни слова. Потом вдруг резко отодвинулась от Левке, ослабила вожжи и больше не погоняла лошадей. После галопа они перешли на ленивую трусцу. Нарушив долгое молчание, София спросила:

— Так, значит, есть уже голос против? И это твой голос?

Он попытался ее ободрить и урезонить, советовал дожидаться решения ландрата, прежде чем ставить всю деревню вверх дном. Но бес ехидства снова вселился в него, и он саркастически добавил:

— Сидя в кресле у парикмахера, обычно закрывают глаза. Но если бритва сама гуляет возле горла, как сейчас, например, рекомендуется держать глаза открытыми.

— Как ты сказал? — спросила она с ноткой угрозы и бросила на него косой, неприязненный взгляд.— У тебя, помнится, уже был разговор о бороде и волосах. Думаю, тебе не стоит к нему возвращаться.

И Левке понял, насколько серьезно она относилась к вещам, о которых говорила, он проглотил парочку вертевшихся на языке сентенций, начал искать в карманах свою трубку, потом стал набивать ее и раскуривать.

— Тебе не зажечь ее? — бросила она с нескрываемым злорадством, и первая же спичка была мгновенно погашена порывом встречного ветра.

Она пустила лошадей быстрой рысью, распрямилась и стала внимательно озирать крыши низких рыбацких халуп, со всех сторон обступивших деревню своими жалкими подворьями. Несколько человек дожидались ее возле канцелярии. Она осадилла лошадей и величавым жестом указала на багаж, доставленный из города:

— Вот ваше богатство и счастье. Теперь сам разуй глаза,— со смехом сказала она старому Левке.— И запомни: кто хочет огня, должен уметь раздувать угли. Понял?

Однако ландрат и администрация провинции не приняли плана коллективизации, а зандбергской бургомистерше был сделан упрек в том, что своим радикализмом она дискредитирует антифашистский строй.

— Ну что ж,— сказала она старому Левке, за которым теперь посылала чуть ли не каждый день и который отныне пользовался ее особым доверием.— Все-таки я решительно за коммунизм, коммунизм неизбежен.— И тут же выпалила: — Уж этот мне ландрат. Двенадцать лет пробыл в концлагере. Ему действительно нужна женщина. Но у меня-то на уме совсем другое. Как он не может понять!

Она по-прежнему озадачивала зандбергцев своими крутыми решениями, молниеносным переходом от слов к делу и сильными формулировками. Все свои письма, приказы и обращения она подписывала: *«Ком. бургомистр»*, что истолковывалось всеми либо как *комиссар-бургомистр*, либо как *коммунистический бургомистр*.

«Я бургомистр с неограниченными полномочиями, только смерть может отнять их у меня»,— якобы в таком духе она не раз высказывалась. Однако мысль о смерти была глубоко ненавистна ей. Она сторонилась кладбищ и во время захоронения кого-нибудь из деревенских держалась подальше от могилы. Зато на свадьбах и крестинах ее веселье удержу не знало. С превеликой радостью участвовала она в праздничных процессиях и, случалось, доходила с ними до самых церковных дверей. А однажды попросила у пастора слова и прямо с амвона разразилась горячей проповедью в пользу жизни, любви, брака и деторождения. Это незамедлительно породило слухи о том, что она истовая католичка — святая-несвятая София. От подобных домыслов ее смех разбирал, но из озорства она поддерживала легенду о своей набожности, более того, уснащала какими-то невероятными подробностями приписываемые ей поступки, которые ей самой были в общем-то отвратительны.

Как-то она поймала с поличным парочку спекулянтов. Эти прощелыги крошили кусачками спицы от велосипедов и выдавали их за кремни для зажигалок. Она пригласила сих предприимчивых мужчин прокатиться с ветерком в ее коляске и доставила их в чистое поле. Там, как гласит предание, она вытряхнула их на борозду и приказала:

— Будете работать до тех пор, пока из ваших кремней искры не полетят. Осенью, когда начнем сжигать ботву, это будет очень кстати.

Еще рассказывают такой случай. Незадолго до открытия школы выяснилось, что крыша у нее дырявая: не хватило шифера. Тогда София, если верить слухам, указала на дом бывшего учителя, крытый добротным гонтом.

— Если мы позаимствуем у него кровлю,— решила она,— этот фельдфебель от педагогики получит единственный в жизни шанс загладить свою вину, пусть порадеет разок о храме просвещения.

Беженцам, приходившим в деревню,— в основном это были нищие, изголодавшиеся люди — она раздавала шикарную мебель, припрятанную состоятельными берлинцами в боковых комнатах заведения Губицке и в сараях крестьян.

— Одни пекутся о сохранности столов и стульев,— якобы говорила она,— другие не уверены, сумеют ли сохранить себе жизнь.

При этом добавляют, что лучшие образцы мебели она оставляла себе. («Сейчас мы сядем за стол, и никто не посмеет вырвать из-под наших задов стулья, в этом можете не сомневаться».)

Однако старый Левке стал замечать, что порой ею овладевает состояние какой-то странной робости и даже отчаяния. Однажды она сидела в кресле с львиными головами и лапами; в канцелярии шло заседание антифашистского комитета. Казалось, она совершенно безучастна к тому, о чем так энергично спорят ее товарищи, и вдруг с ее губ срывается какой-то на первый взгляд совершенно неуместный вопрос:

— А суп для школьников? Как с ним обстоит дело? Я бы увеличила порцию сахарина.— Она оглядывала собравшихся, подергивала плечами.— Делают что хотят. В супе полно каких-то волос. Это нацисты. Всякая пакость — их рук дело.

Пятилетняя девочка, которую Красная София определила к фрау Скаландер, была слепа. Ее родители, арендовавшие в окрестностях Зандберга хутор с плантацией спаржи, покончили жизнь самоубийством в страхе перед наступающей Красной Армией. Отец собирался лишиться жизни и дочку, но, когда целился в нее из пистолета, у него дрогнула рука. Пуля задела зрительный нерв, но ребенок остался жив. Всякий раз, когда бургомистр поднималась на гору, куда водили гулять осиротевших детей, она слышала неизменный детский плач:

— Мамочка! Я хочу к тебе! Возьми меня с собой!

София неотрывно смотрела на малютку, которая шарилла руками в воздухе, приближаясь с каждым шагом, и

уже начинала ощупывать ее одежду, но тут фрау Скаландер попросту оторвала ребенка от Софии со словами утешительной лжи:

— Мама скоро придет. Никуда не денется твоя мама.

И София как подкошенная опустилась на кожаную подушку коляски, немало озадачив своего возницу — старого Шульте. Она вдруг стегнула вожжей лошадь и погнала ее через песок, не разбирая дороги. Долго кружила она вокруг горы, проделала не меньше чем двадцатикилометровый путь, пока не остановилась около дома Левке. Такой бледной и смятенной старик никогда еще ее не видел.

— Что за страна! Что за люди! — кричала она. — Какая мразь кругом! Как все гадко и бессмысленно!

В лесу было полно трупов — полузакопанных или кое-как прикрытых. Могильщики, работавшие на деревенском кладбище, отказывались их хоронить. Запах тления был нестерпим, им пропиталась даже одежда могильщиков.

— Если бы нам хотя бы выдавали мыло, дезинфекцию и спецодежду. Мы сами-то смердим, как трупы, — сказал один из них, когда всей артелью они обступили коляску бургомистра.

— Уходите, — взмолилась она и вдруг закричала как полоумная: — Уходите! Я не вынесу этой вони!

Наконец, оставшись с глазу на глаз со старым Левке, она села на его старую софу, которую он кое-как ухитрился починить.

— Что же все-таки делать? — спросила она. — Знал бы ты, до чего же мне все было ясно раньше. А сейчас мы торчим в вонючей яме. Даже руки вымыть нечем. Друг друга смрадом обдаем. Скажи: что ты обо мне думаешь?

Старик пожал плечами. Его ответ был уклончив:

— Не так уж важно, что я думаю.

— Нет, ты скажи.

— Не надо бы тебе так шарахаться, так менять настроения.

— Настроения?

Она оглушительно расхохоталась, совсем как прежде. Презрительно посмотрела на Левке, копошащегося на диване со своей трубкой. Он видел, как бешеным галопом лошади уносят вдаль ее коляску. София мчалась, не глядя по сторонам. Ее голова была занята другим: обломками танков, которые надо было наконец убрать с полей, сахаром из Магдебурга, за которым следовало откомандиро-

68 вать старого Шульте, наказанием грабителей и мародеров; приводными ремнями для маслобойни; скудеющими поставками молока, яиц и мяса, заказами на обувь, хотя слабо верилось, что она вообще еще существует; спрятанным зерном и семенным картофелем; кулаками и спекулянтами.

— Всех бы их к стенке! — кричала она, настеживая лошадей. Кричала, когда коляска вползала в гору, по брюхо увязая в рыхлом песке.

Никогда старик Левке не видел ее такой. И она никогда больше не появлялась в его лесном обиталище и не вела с ним больше подобных разговоров.

19

Я тасовал в памяти всевозможные догадки, намеки, версии, сюжеты, на которые не скупился в свое время старый Левке. И чем внушительнее, монументальнее становился для меня образ Красной Софии, тем мельче казался Левке на своем карликовом пьедестальчике, испещренном звонкими и округлыми изречениями. Мне хотелось выяснить, отчего его совесть иногда тяготилась виной перед ней, хотя, перечисляя Софии, он зачастую оказывался прав. Себя самого он считал «малым замедлителем», приставленным к ней. Его поступки заключались в словах и словопрениях. «Мою роль трудно приуменьшить», — чистосердечно признавался он. Старик корил себя за то, что в эпоху крутых перемен чаще всего занимал робкую, выжидательную позицию, а нужна была твердость и еще раз твердость. «Хребет у меня давно сломался, — говорил он, — а это дело почти непоправимое».

В Зандберг он перебрался из Берлина, где снимал квартиру на пятом этаже старого доходного дома недалеко от Варшавского моста. На стенах обшарпанного парадного какой-то художник намалевал пышногрудых красавиц. Это давало пищу для ума таким людям, как Левке, который не был в восторге ни от Гитлера, ни от развязанной им войны и по вечерам усталый возвращался с оружейной фабрики. Поднимаясь по лестнице, он не делал передышек, поскольку надеялся, что его примет в свои объятия женщина, принадлежавшая ему по закону, по крайней мере обнимет его в дверях, — двадцать лет брака явно не пошли на пользу его рассудку.

Но она ограничивалась словами: «Давай быстро в кухню! Еда разогревается». Через четверть часа еда стояла на столе, и под тиканье ходиков они начинали свой ужин. Клетчатая клеенка мгновенно освобождалась от посуды,

стоило ему вытереть губы и углубиться в газету, напичканную хвастливой ложью.

— Зачем мы сами себе-то врем? — спрашивал он жену и бросал газету на стол.

Она прикрывала безобразную клетчатую клеенку — эти не раз пересчитанные квадратики, в которых вязнул его взгляд и застревали еще не отбушевавшие желания. А все началось с того, что он, встретив эту женщину, побежал за ней, повторяя банальнейшее: «Люблю!»

Он все еще любил ее. Он так и не насытился ее словами, взглядами, жестами и чем-то еще, что затруднялся определить. Возможно, ему хотелось услышать от нее опровержение своих жалобных упреков:

— Ты думаешь о чем-то далеком, я тебя не интересую.

Она успокаивающе качала головой, улыбалась и отвечала:

— Ты слишком устал, переутомился на работе, поэтому такой раздражительный.

И тут же переходила к делу: вставала из-за стола, шла в спальню, стелила постель и вскоре, нагая и безмолвная, осыпала его ласками, не в силах однако рассеять сомнения и подозрения.

Раздался звонок. Он услышал голос соседки еще до того, как успел открыть дверь. Она кричала: «Труба лопнула! Водопроводная труба!» Левке натягивал рубашку и брюки, жена была уже одета. Она первая сообразила, что весь переполох вызван звуком капающей воды. Скорее всего, надо было лишь подтянуть гайку крана. Наверху ничего не слышно, но если спуститься на несколько маршей вниз, можно различить какое-то бульканье. «Вот смех-то», — сказал он и хотел было уже повернуть назад, возвратиться с женой в свою квартиру, пройти мимо соблазнительных изображений и снова занять супружеское ложе. Тем более что жена схватила его за руку и шепнула: «Не стоит же из-за этого не спать всю ночь».

У соседки был великолепный слух, она разобрала каждое слово, а звук капающей воды в ее воображении стал шумом водопада, ей уже мнилось, что вода подтачивает стены. Она встала на пути Левке и начала упрашивать:

— Ну спуститесь же, посмотрите, сделайте что-нибудь!

На их голоса из квартир вышло еще несколько жильцов. Одним удавалось что-то расслышать, другим — нет. Порешили на том, что из предосторожности надо обойти все квартиры и выяснить, у всех ли в порядке водопроводные краны и трубы. Никакой неполадки обнаружить не удалось. По единодушному мнению, тревога оказалась

70 ложной. К воздушной и пожарной тревоге уже успели привыкнуть, а водной боялись всерьез. Трубы в доме были ненадежными, их меняли еще в первую мировую. Как бы, действительно, не пришлось ночью спастись от потопа. Левке уже почти дошел до своей двери, как соседка вновь заголосила:

— Это вниз! В самом низу! Шум оттуда!

А что было вниз? Две пустые лавочки с заколоченными витринами, со стеллажами и ящиками для фруктов, оставшимися от лучших времен. В одной из лавок хранилась укутанная одеялами мебель Финков. Это семейство не выдержало страха перед бомбардировками и в поисках более спокойного местожительства подалось в деревню к родственникам.

— Господин Левке, я почему к вам обращаюсь,— канючила соседка,— ключ-то от первого этажа у вас.

Она не успокоилась, пока не увидела, как он спускается по лестнице с ключом в руке.

Левке пошел один. Таков уговор — фрау Финк доверила ключ только ему одному на тот случай, если возникнет необходимость открыть лавку. О воде тогда, естественно, никто и не думал. Ему было немного страшновато, когда он стоял в крохотной кухоньке и завинчивал кран. Вся работа заняла несколько секунд, но дело в том, что кран-то был совершенно исправен. И Левке испугался еще больше, когда вспомнил, что, уезжая, фрау Финк предупредила: «Я все отключила — газ, воду, электричество». Но в лавке горел свет (он сам включил лампу в коридоре), стоило ему повернуть ручку плиты, как потянуло газом, и вода из крана лилась свежая, не застоявшаяся. Левке было не по себе, когда он запирает лавку Финков. Соседку он с притворным хладнокровием заверил:

— Все в порядке. Тревога и вправду ложная. Желаю спокойной ночи! — Но жене признался: — Какой там к черту порядок. Внизу кто-то был.

Жена разделась и снова легла в постель. Она как-то подозрительно вяло отнеслась к беспокойным расспросам мужа, который неделями не заглядывал в лавку и чувствовал себя виноватым перед хозяевами. От нее он все добивался ответа на мучивший его вопрос:

— Вспомни-ка, когда ты спускалась в последний раз, трогала краны или нет? Мне будет спокойнее, если узнаю, что там была ты.

— Я не ходила вниз,— зевая, отвечала жена.— И ничего не включала.

— Врешь! — взорвался он.— Хочешь надуть меня. Мо-

жешь не морочить мне голову: газ и свет сами не включаются. А вода-то в самом деле течет, из крана капает, я своими глазами видел.

Он был вне себя от ярости. Подбежал к кровати, потряхнул из нее жену, стал выкручивать ей руки, требуя объяснений. Но тут его вдруг осенило.

— Решила рога мне наставить! — взревел он. — Ты была внизу, и не одна! Давно меня за нос водншь!

Это стало его навязчивой идеей, в него вселился бес ревности. Он мучил жену нелепыми подозрениями, ночи напролет стыдил и унижал ее. С ключом от лавки он уже не расставался даже на работе, где тоже продолжал терзать себя ревностью, а вечерами как настеганный бежал домой, чтобы снова корить и мучить жену. А она, будучи по натуре более замкнутой и флегматичной, засыпала даже под градом его колких и яростных упреков. Однажды после обеда, собираясь на работу в вечернюю смену, он надумал спрятать ключ в кухне под клеенкой, а у дверей лавки положил камешек. В тот день он был настолько поглощен своими подозрениями, что чуть не оттапал себе руку бешено крутящимися шкивами. В голове было одно: скорее домой, скорее собрать неопровержимые улики. И что же? Придя домой, он обнаружил, что камень у двери сдвинут в сторону, а ключом под клеенкой и не пахнет. Глотая ртом воздух, он спросил у жены: «Где ключ от лавки?» Она показала на крючок в коридоре, где обычно висели ключи. Она просила его выкинуть наконец из головы эти дурацкие подозрения. Ужин был на столе, рядом лежала газета. Он умылся, руки вдруг перестали дрожать. Сел за стол и, прожевав пару кусков, отодвинул тарелку.

— Наглая ложь, — сказал он, — но сейчас мы узнаем правду. — Он пошел в коридор, снял ключ, сунул его жене в руку: — Пошли вниз. Отпирать будешь ты. А там посмотрим.

Держа наготове карманный фонарик, он двинулся вниз по лестнице и толкал перед собой жену. Он сам поворачивал ее руку вместе с ключом, потом распахнул дверь и застыл на пороге, весь обратившись в слух. Оставив жену у двери, он вошел в помещение, при свете фонаря осмотрел коридор, кухню и комнату, где Финки хранили мебель. На кушетке лежал какой-то парень, спавший глубоким и безмятежным сном.

— Вот, значит, как... — растерянно пробормотал Левке. Он выключил фонарик и вышел. У жены забрал ключ, запер дверь и ледяным тоном спросил: — Кто это? Где ты с ним снюхалась? И давно ли?

72 Он насмешливо закивал головой, когда она пыталась убедить его, что не знает этого человека, что вообще не догадывалась, будто кто-то может здесь ночевать.

— Ну это легко установить,— сказал он.

С женой и этим молодцом он решил обойтись без рукоприкладства. В ту же ночь он просто сделал донос: взлом квартиры, незаконное проживание в чужом помещении. Все-таки именно ему, Эрнсту Левке, были препоручены ключи и ответственность за лавку эвакуированного семейства Финков. Хотя, честно говоря, его больше волновали вопросы: кто? Как? С каких пор?

На следующее утро молодой человек в солдатской шинели с сорванными погонами висел на фонаре перед лавкой Финков. Мертвый неподвижный взгляд широко раскрытых глаз, выпавший язык, на груди — табличка: «Я трусливый дезертир». Увидев и узнав лицо повешенного, Левке не стал заходить в дом. Ему рассказали, как было дело. И он, точно безумный, начал кружить по городу. Он забыл про фабрику, день-деньской проплутал по улицам. Опомнился ночью на мокрых ступенях Варшавского вокзала. Он сидел, тупо глядя на дома возле железной дороги, которые заволакивались клубами дыма и пыли. Все вокруг содрогалось от взрывов. Но Левке ни разу не вздрогнул. Жена погибла. Взрывом бомбы смело все: дом, лавку, подвал, фонарь. Ни имени повешенного солдата, ни каких-либо сведений о его жизни Левке так и не узнал. Все, чем он жил прежде, исчезло бесследно.

— Хуже было некуда... некуда... — говорил старый Левке, и по лицу его пробегала судорога.

Спустя годы и даже десятилетия он рассказывал о последних днях своей берлинской жизни так, как будто это было вчера. Иногда совершенно серьезно задавался вопросом: «А может, все это мне приснилось?» Едва ли он мог путно объяснить, как попал в Зандберг. Он был усталым, опустошенным, потерявшим интерес даже к собственной жизни. Когда на горе, вблизи его обиталища, рвались гранаты и мины, он ждал смерти как справедливого возмездия. А под взглядом Красной Софии испытывал муки почти физические. Ему казалось, она видит его насквозь.

— Она знает все,— уверял он меня,— смотрит она на меня, а я все думаю: сейчас скажет про это... сейчас...

20

Вечера стояли теплые. Комары прямо-таки толпились в воздухе. Двери и окна настежь, мерцающий свет телеviso-

ра падал на стволы берез. Мы слушали музыку, перепалки героев телепьес, громкий шепот любовных излияний. Ко мне приехала Рут. Она сидела в шезлонге на лужайке, я примостился на траве и рассказывал ей про историю с разбитым стеклом и визитом фрау Скаландер.

— Тебя просто нельзя оставлять одного, непременно что-нибудь случается,— с досадой сказала она и ухватила за мою руку.— К сожалению, задержаться здесь не могу, отпуск удастся взять только через две недели. А пока предавайся своим высокоумным занятиям.

Она была очень взволнованна. Пожалуй, я никогда не видел ее в таком состоянии. Не успев войти в дом, она отшатнулась от порога, когда увидела выжженную на нем надпись. Все мои объяснения были напрасны. Она попросту не воспринимала их и все время твердила одно и то же:

— Это же безумие, я сама здесь скоро с ума сойду!

Мне уже пришлось пожалеть о том, что я завел разговор насчет фрау Скаландер. Чтобы исправить свою оплошность, я старательно делал вид, что ситуация меня ничуть не беспокоит.

— Ничего, собственно, и не случилось. Дом продаже не подлежит. Есть договор на аренду. Все остается по-прежнему.

Я достал из подвала бутылку вина, наполнил рюмки и произнес успокоительный тост:

— Ну вот ты и здесь. Мы живем в настоящем. Давай же забудем прошлое!

Но ее волнение не улеглось.

— Неужели ты не можешь вразумить эту старую бархольную моль,— кипятилась она,— втолковать ей, что последние двадцать лет она просто проспала в какой-то щели? Казалось бы, чего проще: народная власть — убери лапки. Так нет же, летит сюда из какого-то инобытия!

Для старого Левке фрау Скаландер была анахронизмом, иначе говоря, покойницей. Для Рут она означала существо из другого мира, инородное тело, которое не должно внедриться в нашу жизнь. Вся деревня ненавидела фрау Скаландер. Хозяйка ресторации от всей души посылала ее к черту. Бургомистр тоже не церемонился:

— Считай, что эта дама не более чем игра воображения. Было бы нелепо вступать с ней в контакт.

Зачем усложнять? Все просто и однозначно. Если иметь в виду только Скаландерику, но не Красную Софию. Все просто и однозначно, даже если на пороге твоего дома сохранилась надпись, выжженная четверть века назад.

74 Вино было холодным и достаточно тонким на вкус. Пожалуй, мы слишком торопливо пили его, оно быстро разогрело кровь и голову.

— В самом деле она была здесь? — спросила Рут. Я кивнул и показал рукой на открытую дверь:

— Да, тут она стояла, сидела, много чего говорила, и вообще, здесь она когда-то жила.

— Кто? — спросила Рут, отхлебнув вина, ей не терпелось побольше узнать.

А мне трудно было совладать с калейдоскопом лет, событий, картин, образов, видений. Все это перемешивалось, накладывалось одно на другое. Вот Красная София с двумя чемоданами подходит к дому и просит о ночлеге. Вот она расправляет нарядное одеяло, ждет своего жениха. Или веселое застолье с украинцами; чем оглушительнее близкая канонада, тем больше радости и смеха. Вот София в гордой и чинной позе: она объявляет фрау Скаландер, что назначена бургомистром. Громкая, пышная, как фейерверк, свадьба, а потом — сироты, пристроенные в доме фрау Скаландер. Бешеная езда по большакам и проселкам. Шелковые платья с кружевной отделкой. Море цветов. Смех. Песни. Шум. Шепот. Тишина.

Рут протянула мне пустую рюмку. Я наливаю, но всем своим видом выражаю сожаление.

— Ты что, пьян? Почему ты вдруг замолчал?

Я действительно довольно долго молчал, потому что со мной говорило прошлое. Вокруг было тихо до жути, шум леса казался глухим и далеким, деревья вблизи дома замерли как замороженные. Ни ветра, ни шороха, полнейшее безмолвие. Я уже знал, что Красная София не выносила тишины. Ее натуре претили одиночество и затворничество. Она любила круговерть, простор, скорость. Пятнадцать-двадцать километров езды — чаще всего по кругу — были необходимы ей, как воздух. Она гнала лошадей с одного поля на другое, от усадьбы к усадьбе, она рвалась в соседние деревни, в районный центр, в отдаленные хутора. И в этом вихревом движении еще сильнее раскалялись ее горячие речи, призывы, команды, споры с теми, кто стоял на пути. К вечеру ее энергия отнюдь не истощалась, напротив — выплескивалась смехом, пением, танцами. Случалось, что в состоянии радостного возбуждения она могла отчебучить такое, что нравилось далеко не всем. Но перечить ей было опасно. При малейшем сопротивлении она резко меняла настроение, замыкалась, сторонилась даже наиболее близких. В таких случаях она, как правило, забиралась в лесную глушь, лошади всегда были наготове. Но тем не

менее она всегда находила людей вроде старого Левке, которым можно было сказать: «Послушай, мне надо выговориться, я так хочу!» И вслух мечтала о своем «новом мире», о свершении, казалось бы, фантастических замыслов, которые уже на наших глазах стали самой что ни на есть реальной жизнью.

Я почти утратил способность различать то, что знал достоверно, и то, что желал узнать и приблизить своей нетерпеливой фантазией. Бутылка была пуста. Я отбросил ее в бурьян, и она покатилась вниз по склону.

— Что же мне теперь, умереть от жажды? — сказала Рут.

Красная София в подобном случае могла бы дать дельный совет либо сотворить новую бутылку с помощью колдовства — везде она умела отыскать волшебный источник. По осени она всех подбивала делать фруктовое вино и гнать водку из картофеля. Она не мыслила жизни без праздников. Поэтому, когда отмечались памятные даты, окна ресторанчика загорались необычайно ярким светом, несмотря на нехватку самого необходимого. И при этом никто не тратил ни пфеннига. Раскрасневшаяся от неистовой пляски, она напоследок вскакивала на стол и обращалась ко всем, кто находился в зале:

«Почему мы латаем изрешеченные войной крыши? Почему восстанавливаем линию электропередач? Не оставляем в поле даже гнилой картошины? Почему впрягаем в плуг полудохлых одров и чудом заставляем их шевелиться? — Тут она громко, заливисто хохотала. — Потому что мы хотим жить. Хорошо жить. По-доброму, весело, как никогда еще не жили в Зандберге! Знайте же Красную Софию!»

— Слышишь? Шаги! — сказала Рут, прикладывая палец к губам.

Послышались чьи-то голоса. По деревьям, мерцающим в голубоватом отсвете телеэкрана, скользнул луч карманного фонарика. У калитки прорезались два силуэта. Меня окликнул женский голос.

— Фрау Скаландер, — сказал я, поднимаясь.

Рут схватила меня за руку и прошептала:

— Что ей вдруг понадобилось? Кто с ней?

Ослепленный ярким светом, я ничего толком не мог рассмотреть, пробовал прислушаться, но мешал громкий звук телевизора.

— Кто там? — крикнул я в сторону калитки. — И чему обязан?

Как вскоре выяснилось, запоздалых гостей привела не жажда выпить или поговорить о Красной Софии. Фрау

76 Скаландер решила предупредить меня о том, что вызвала оценщика. Ей удалось отыскать его в районном центре. Она вернулась только с последним автобусом, хотя и очень спешила.

— Я объяснила ему, что дело срочное. Возможно, он побеспокоит вас в ранний час. И я хочу, чтобы вас не застали врасплох.

Луч фонарика шарил по двери, по веранде, по крыше, опустился к подвальному окошку, смешался с голубым светом телевизора.

— Кстати,— добавила она,— стоимость оценки будет учтена при продаже. Хотя это такая смехотворная сумма, что ее можно не принимать в расчет.

Рут попыталась втащить меня в дом, но фрау Скаландер уже приближалась к дому, она опиралась на руку своей единственной приятельницы — фрау Трибель. В дрожащем голубом свете лица обеих старух казались настолько безобразными, что их можно было принять за ритуальные маски дикарей. И вдруг я услышал голос Рут. Она сказала:

— Никакой оценщик в этот дом не войдет. Жаль, что вам пришлось потратиться на билет для него. Спокойной ночи!

Она решительно захлопнула дверь и задернула занавески.

— Какое бесстыдство,— возмущалась она, тяжело переводя дыхание.— Надо им дать понять наконец, кто здесь хозяин!

Мы лежали на кровати, уставясь в экран телевизора. Его пересекал скачущий кенгуру.

— Хорошо, что можно вот так запросто перенестись в Австралию,— ворчала Рут.— Там, по крайней мере, никто не бредит Красной Софией.

Я поцеловал ее. «Кто знает,— думал я,— где кончается прошлое и начинается настоящее. А в каком времени живу я сам?»

Рут взволнованно и сумбурно принялась рассказывать о своем детстве. Все в нем было непомерно огромным: дом, где выросла, ступени, двери, которые ей было не под силу открыть, деревья во дворе. Ей вспомнились козы, кролики, поедавшие горы травы, плач и смех целой оравы детей, бабушка и какая-то молодая красавица, которая брала ее на руки и пела песни.

— Никогда больше я не слыхала таких песен,— сказала Рут,— никогда!

Оценщик не явился. Вероятно, из-за погоды. Дождь лил как из ведра.

— Быть грибам,— сказала Рут.

Но как только выглянуло солнце, она взяла чемодан и уехала. Газета, куда она постоянно давала репортажи, командировала ее в какую-то мекленбургскую деревню. Был нужен материал о студенческой бригаде, включившейся в уборочные работы.

— Ну что, учитель, поехали со мной? — сказала она, садясь в автобус. — А то ведь ты леса не видишь за деревьями, точнее, за легендами.

Я махнул рукой вслед отъезжающему автобусу, на душе у меня было неуютно. Но лес-то я видел хорошо. После дождя он словно намокнул и, вновь согретый жаркими лучами, подернулся пеленой пара. Мне удалось найти полдюжины подосиновиков, и я сунул их за рубашку. Потом наткнулся на целую роту лисичек — со мной это случилось впервые. Я забрался в самую сердцевину оранжевой россыпи и собирал, не разгибаясь. Потом лежал на мягком мху и смотрел в небо. Клочками белого пуха нескончаемо тянулись обрывки облаков. Казалось, я тоже лечу, не прилагая ни малейших усилий, совсем как в детском сне. Я воспарял вместе с набитой грибами рубашкой, оставляя населенный мир где-то за чертой реальности. Ни единым звуком не вторгался он в мое уединение. Со мной были только облака и уплывающие от них верхушки деревьев. Ну хорошо. Я учитель. Много лет я посвятил преподаванию истории, видя в этом благородную цель воспитания ума и души. А теперь передо мной разверзлась пустота, клубящаяся облаками даль, в которой я должен был найти твердый берег. Мне предстояло развеять туман легенды, сквозь многослойное облако пробиться к истине. Я понял, что не смогу ни жить, ни учить, если не добуду правду о Красной Софии! Я встал и, почувствовав под ногами твердую почву, как бы обрел реальный взгляд на вещи, вернулся к привычным ориентирам. Несколько засохших деревьев с обломками сучьев стояли передо мной в своей мертвой наготе. Их было много в этом лесу, иные уже повалились, образовав уродливые штабеля на песчаной просеке, их очистили от сучьев и приготовили для распилки.

— В нашем лесу с пилой делать нечего,— заметил когда-то старый Левке.— Деревья, можно сказать, начинены осколками. Все равно что заяц, подстреленный из дробовика. Но они живы и нас с тобой еще переживут.

78 Я трогал смолистые срезы стволов, нащупывая их зарубцевавшиеся раны, считал годовые кольца и так добрался до 1945 года, до «часа ноль»¹, нет, до часа Красной Софии. Эти деревья были отсортированы рабочими лесного хозяйства, их сторонились как чумы или метили красными кольцами. На обратном пути я повстречал не менее десятка таких деревьев и уже не интересовался грибами, разве что какой-нибудь великолепный экземпляр заставлял меня лишний раз нагнуться. При этом я не мог миновать траншей и воронок — следов, которые не смогли смыть столько дождей.

Левке смотрел на лес, окружавший его жилище, и уверял меня:

— Этот лес каким был, таким и остался. Могу поклясться, что сосны не выросли ни на дюйм.

Может быть, таково ощущение каждого, кто врос в какой-то ландшафт, как в собственную кожу, — ведь ее он просто не чувствует, пока не поранит.

— Мы растем вместе с деревьями и вообще похожи на них, — убеждал меня старик. — А нос задираем как самый высокий сучок. Поди разберись — глупость это или самоутверждение?

Меня это не волновало. Я ходил за грибами, купался и нырял в озере. Любил прокатиться на велосипеде, и в дороге меня больше занимали нижние ветви, которые больно хлестали по лицу, если зазеваешься. А лес просто жил своей жизнью. Им кормились, любовались, дышали. Он менялся с каждым шагом, с каждым временем дня и года принимал иное обличье. Его вырубали и поддерживали, местами он облысел, а в целом как бы съежился, теснимый со всех сторон коттеджами, разросшимися деревьями и обширными пашнями.

Я стоял возле одного из новых домов на холмистой окраине леса. Добротная каркасная постройка — в Германии такие издавна зовутся фахверками — великолепная черепичная крыша, естественно слившиеся с домом хозяйственные постройки. Казалось, во всей округе не найти более милого и уединенного уголка, вид у него был совершенно идиллический. В целой деревне не нашлось бы второй такой семьи, которая жила бы на таком удалении от всех. Сюда протянули электричество, а дороги были паршивые —

¹ Встречающееся в послевоенной немецкой литературе выражение «час ноль» трактуется как точка отсчета нового исторического времени, наступившего после разгрома гитлеровской Германии. (Прим. переводчика).

летом пески, весной и осенью грязь по колено. Бурильщики проделали на холме каторжную работу, чтобы на тридцатиметровой глубине обнаружить какой-то запас мутной воды. Этот дом вместе с ведущими к нему дорогами, линией электропередач и колодцем возник здесь по желанию Красной Софии. В первый послевоенный год она завезла сюда стройматериалы, нашла рабочих, сама руководила строительством, не допускала ни простоев, ни проволочек и с нетерпением ждала праздника по случаю окончания работ. Праздновали трижды, поскольку тишина добровольного затворничества, на которое она вдруг обрекла себя, была ей невыносима.

В доме кто-то жил. На веревке сушилось белье. Молодая женщина не без труда везла по песчаной дороге детскую коляску, доверху нагруженную сумками, свертками и коробками. До кооперативно-потребительского магазина отсюда был час ходьбы, до районного центра дорога занимала весь день, почтальон появлялся здесь раз в неделю, и то в случае крайней необходимости. Когда-то София обзавелась парой рысаков с конного завода, чтобы не утратить мобильности и по-прежнему везде поспевать. Кроме того, многие зандбергцы обоих полов сами стремились встретиться с ней — искали совета, помощи и внимания, хотели быть с ней на дружеской ноге. Это они, можно сказать, проторили дорогу к дому, а дорога была немалая. Некоторые сами вызывались помочь ей. Приходила повариха из ресторанчика, предлагала свои услуги в домашнем хозяйстве. Возле дома крестьяне посадили фруктовый сад, а ворота и до сих пор украшены шпалерами роз, высаженных в ту пору. От старого Левке я слышал, что в этом самом доме он задал Софии вопрос:

— Здесь, конечно, очень красиво, но ты стала немного другая, тихая какая-то. Может, у тебя что-то не ладится?

Красная София ждала ребенка. Этого долго не замечали. А сама она ни с кем из деревенских не заводила разговора на эту тему, только старику Левке призналась однажды:

— Выйду замуж, заведу семью. Такое бывает раз в жизни.

Но еще до того, как сын фрау Скаландер вернулся из заключения, София разрешилась от бремени и произвела на свет девочку, которую назвала Соней. Тут же, конечно, начались разноречивые толки насчет того, кто может быть отцом ребенка. Чаше других в этой связи упоминался некий молодой человек — Роланд Глэкнер, занесенный в деревню превратностями военного времени. Не осталось

80 незамеченным и то обстоятельство, что в деревню заглядывал как-то раз бывший комендант, офицер штаба гарнизона. У него с Софией был довольно долгий разговор в канцелярии. Не исключено, что это в какой-то степени объяснило зандбергцам поведение Софии, а именно — почему она стала искать уединения, казалась такой пережившейся и вроде бы ко всему безучастной даже тогда, когда на стенах ее нового дома кто-то намалевал свастик и угрожающие надписи. Однако София продолжала настраивать зандбергцев на решение больших задач: прокладку дорог, восстановление разрушенных домов и хозяйственных помещений, сельхозработы, укрепление вновь образованных партий и организаций, строительство школы и детского сада.

— Пока я сумела лишь начать, — говорила она старому Левке, — теперь важно не отступать от избранного пути, не расслабляться. Хотя раньше мне думалось, что дело пойдет иначе — другими темпами, дружнее, что ли. Только не думай, что я дам себя запугать, запрусь в четырех стенах и забуду все на свете, кроме ребенка.

Красная София осталась в Зандберге. Несколько месяцев она прожила с мужем и ребенком в своем новом доме. Обставила четыре комнаты для семьи и две для гостей — в мезонине, но они все время пустовали. С присущим ей озорством она отпраздновала рождение ребенка, появление новых зубов и первый шаг своего младенца. До леса было в буквальном смысле рукой подать, она убегала туда с ребенком, любовалась его неуклюжими попытками залезть на дерево или перешагнуть через корягу. В этих местах она слышала первый крик новорожденного, плач, смех и невнятный лепет крошечного создания, столь непредвиденным образом нарушившего тишину этого глухого места.

— Вы ко мне? — спросила меня молодая женщина, освобождая от груза свою коляску и усаживая на крыльцо ребенка.

— Нет! — крикнул я как-то нелепо, через плечо, и быстро отвернулся, потому что сам себе показался смешным в своей оттянутой грибами рубашке, захлестнутый бесконечным потоком воспоминаний, фантазий, легенд. Ведь я желал только правды, хотя бы самого ее краешка, за который можно было бы уцепиться.

22

Старому Левке было известно такое, что не восполнить никакими видениями. «Наши представления — это тоже

жизнь. Грезить можно, не ложась спать, как и спать, не видя сновидений». Я мысленно повторял его любимые приключения, афоризмы, притчи, рассказы и как бы населял ими песчаные холмы, деревню, леса и озера — средоточие того самого мира, который был сотворен Красной Софией.

Старик клятвенно утверждал, что слышал своими ушами, как София шептала дочке: «Эта деревня моя, и весь мир мой». С тех пор как она поселилась на отшибе, видеть деревню из окна стало уже невозможно, из-за вершин деревьев выглядывал лишь край Зандберга. Там жила фрау Скаландер, уже одна, без сирот. Для них довольно быстро построили интернат. Теперь она делала вид, что никаких детей ей не нужно, что ни в чьем обществе не нуждается. Однако чуть ли не ежедневно она являлась за дочкой Красной Софии. Рано поутру ее можно было встретить с детской коляской у бывшего имения. Она дожидалась Софию с девочкой, холодным взглядом обводила дом, дорогу и всю деревню, а потом принималась толкать в гору коляску. Обычно в это время к Софии кто-нибудь подходил с вопросами насчет молокопоставок, нехватки фуража или семян, но она вела себя так, как будто ничего не слышит, пока коляска с ребенком не исчезала из виду. Да и позднее, в разгар рабочего дня, было заметно, что ее не отпускает чувство тревоги, это проявлялось не только в манере держаться, но отчасти и в поступках, участились ее поездки к ландрату, в комендатуру и даже в Берлин.

Был случай, когда ей пришлось улаживать дело с грузовым суденышком. Старик Левке однажды доложил ей, что к берегу Луховского озера прибил чужой бот. Никто из деревенских не знал, кому он мог принадлежать.

В последний год войны, когда паника и бестолковщина достигли своей высшей точки, многие хозяева бросали свои суда на произвол судьбы. Вместе со стариком София по грудь в воде добралась до борта застрявшей в камышах пусудины, влезла на палубу и отдранила люки.

— Конфисковано! — распорядилась она, увидев, какой груз попал им в руки.

Бот был набит овечьей шерстью — целая глыба первосортного белого сырья. Об этом она не смела и мечтать. Ей захотелось броситься вниз, с головой зарыться в мягкое великолепие, что она и не замедлила сделать. Это сильнее всего врезалось в память старого Левке. Она лежала раскинув руки, как на стоге сена, и в упоении излагала старику свои замыслы:

— На этой шерсти мы построим свое счастье. Теперь оно не за горами. Всех женщин посадим за прялки, все бу-

82 дут прясть и вязать. Навяжем свитеров и кофт. Прежде всего для детей, даже для самых маленьких. Белые костюмчики из мягкой и теплой шерсти. Это ли не чудо? Мы одолели голод, теперь справимся с холодом! Мы — счастливая деревня, у нас самые счастливые дети!

В первое послевоенное лето вплоть до конца года, когда София всех подряд одаривала шерстью и организовала целую мануфактуру, никто еще не догадывался, что она ждет ребенка. В каждом доме жужжала прялка. Женщины выделывали тонкие и толстые нити, кому как больше нравилось. Вскоре и стар и млад облачились в белые вязаные одежды, и это стало чем-то вроде всеми любимой униформы. Зандбергцы зачастили в соседние деревни, в город, навещали даже в Берлин. Изделия зандбергских вязальщиц стали известны на многих рынках, их обменивали на посуду, на радиоприемники и фотоаппараты, даже на золотые кольца. В край бесплодного песчанника, заболоченных лугов и полуразрушенного хозяйства неожиданно-негаданно пришел достаток. Теперь появилась возможность поправить кладку домов, залатать крыши, убрать обломки, навести красоту и порядок, кое-что построить заново. Воронки, оставленные разрывами бомб и мин, были засыпаны, возле ресторанчика на новеньких гранитных плитах стояли теперь столы и стулья. К каждому дому подвели электричество, и вязальщицы стали работать при ярком свете. Запас сырья из брошенного суденышка казался неисчерпаемым. В доме фрау Скаландер тоже замелькали белые курточки и штанишки, одеяла и всякая иная мануфактура, которая пришлось очень кстати в связи с появлением ребенка. Впервые Красная София ощутила всеобщее расположение, и по пути на работу ее сопровождали ласковые взгляды сельчан.

«Спасибо Софии,— гласило общественное мнение,— ведь это она додумалась, как распорядиться шерстью». Зимние холода никого не пугали, теплой одежды хватало на всех. Правда, старик Левке начал ворчать.

— По справедливости,— говорил он,— шерсть надо отправить на фабрику. Кругом нужда, а мы здесь вроде волков в овечьих шкурах.

Но пришло лето, и на дне судна осталась последняя охалка шерсти, да и та была насквозь пропитана соляной.

— Твоя задача — довести бот до Берлина,— сказала старику София,— я поеду с тобой.

В баке нашлось необходимое количество топлива. Местный рыбак Герике имел опыт обращения с двигателем. Та-

ким образом, экипаж был сформирован, мотобот отправился в плавание.

— Ты не думаешь, что тебя потребуют к ответу? — спросил Левке, когда они приближались к Берлину.

София лежала на корме и читала газету.

— Что-что? — насмешливо воскликнула она. — Да нас на коленях благодарить должны за то, что мы раздобыли судно и охапку первоклассной ветоши в придачу.

Почти так оно и случилось. Вечером пришвартовались в гавани Штралау. Там София сдала под расписку бесхозное грузовое судно. Вскоре в Зандберг пришло благодарственное письмо, а зимой — неожиданная награда: партия угля сверх нормы, что в общем-то было излишне, поскольку люди, живущие рядом с лесом, привыкли отапливать свои дома дровами. Запас шерсти все не иссякал, даже Левке получил к рождеству добротный белоснежный джемпер. Он надевал его в холодную погоду и не упускал случая прокомментировать это очередной мудрой мыслью: «Одежда делает человека, лохмотья — только вшей». По пути в Берлин Красная София сказала Левке:

— Представь себе, что у тебя дети. А теперь войди в мое положение. Пойми меня, как бургомистра и как мать. Допустим, не было бы ни бота, ни шерсти. Деревня по-прежнему в нищете и разрухе. О себе-то я не очень беспокоюсь. Но детей — жилы надорву, а из грязи вытащу. Надо будет навоз есть — буду, по горло в дерьме жить стану, если потребуется. Что же другие-то держат ручки в чистоте да в холе и смеются в свои отмытые ладошки! Я смываю грязь не только со своей двери, пусть и другие пыль глотают, уж я-то сумею пыль поднять. И наступит день, когда мы начнем дышать свежим воздухом, вся грязь будет позади, а мы достигнем чистых вершин. Мы поднимемся над нашей горой, над Зандбергом! Ты понял меня? Белая шерсть, белые куртки. А ты — «волки в овечьих шкурах». Чушь все это! У меня растет дочь. И ей не придется таскаться по дорогам с парой тощих чемоданов. Ей это не грозит. Так же, как всем детям Зандберга. Уж об этом я позабочусь!

В те дни Красная София не очень задумывалась о границах своих полномочий, она устанавливала собственные порядки и законы, открыто провозглашала то, что раньше было ее затаенным желанием, но и утверждала свои мечты как порождение нового правового сознания. Сохранился написанный от руки, окаймленный красной полосой лист бумаги, который она собственноручно приколола к доске приказов и объявлений. Красная София приказывала:

84 «Грузовым судам и пассажирским пароходам более трех дней в Луховском озере не стоять. В противном случае они подлежат конфискации».

«Всякое бесхозное имущество считать собственностью сельской общины».

«Уженье и другие виды рыбной ловли разрешены всем гражданам антифашистских убеждений и лицам, пострадавшим от нацизма».

«Каждый гражданин нашей общины обязан подарить ребенку, лишившемуся родителей, хотя бы один предмет теплой детской одежды».

«Урожай фруктов сего года идет в первую очередь детям, оставшаяся часть — на нужды виноделия».

«Бывшие нацисты, а также крупные землевладельцы и разбогатевшие во время войны деятели обязываются 52 дня в году отработать на строительстве народного хозяйства, т. е. трудиться на общее благо каждое воскресенье».

«В конце каждой недели в здании бывшего ресторана организуются танцевальные вечера и другие культурные мероприятия. Вход свободен»...

23

В лесу у восточного склона горы, на земле, вдоль и поперек изборожденной траншеями, я нашел стальную каску. Она сильно проржавела, имела много пробоин. Это была каска советского солдата. Я взял ее с собой, чтобы очистить от ржавчины. Я решил хранить ее у себя дома и показывать ученикам. Эта каска — одна из немногих уцелевших реликвий, свидетельствующих о пребывании в Зандберге Красной Армии, чуть ли не единственное, что сохранилось от тех, кто пал в боях за освобождение уголка Германии, над которым господствовала поросшая сосновым лесом гора. Осколком гранаты каску почти раскроило пополам, трещина проходила от ободка до затылочной части. Справа сверху зияла дыра величиной с кулак.

Эта чудом уцелевшая вещь да еще папка, наполненная пожелтевшими документами, вкупе с несколькими стопками книг да засевшими у меня в памяти изречениями старого Левке — вот и все скудные реликвии того времени. Скудость восполнялась легендами, но ведь реликвии могут поведать и суровую правду, ту самую правду, которую я хотел донести до учеников, готовя их к самостоятельной жизни. «Один из миллионов,— наверно, такими словами я начну урок со своими десятиклассниками, положив на стол каску.— Смотрите такую-то главу учебника». Я расскажу

несколько фактов из жизни Красной Софии, по крайней мере до мая 1945 года. Поскольку все, что было после — летом и зимой, — не выходит за рамки частной судьбы и может стать темой для разговора о коллизиях, потрясающих внутренний мир человека, об отчаянии и трагизме, о печальном финале, оставившем свой след в деревенской хронике. Однако я с полной убежденностью мог бы сказать: «Она спасла жизнь пятидесяти пленным украинцам».

Старому Левке удалось заговорить зубы эсэсовцам, пустившимся на поиски беглецов. В течение целого дня преследователи искали их не там, где нужно, перетряхивали в деревне все сараи и конюшни. Пленные укрылись на заброшенном кирпичном заводе и там почувствовали себя в безопасности. Они развели костер, чтобы прокалить на огне кишашую вшами одежду. Это был костер радости, костер уже близкой победы. Сколько надежд вселял грохот своих орудий и танков, слышно было даже завывание моторов. Украинцы выбежали из укрытия, взобрались на огромную печь и, полуголые, начали плясать, плакать, обниматься и вдруг замерли как по команде. Заводик уже замыкала цепь эсэсовцев на мотоциклах. Как удары бича раздавались слова приказа: «Всем немедленно рыть окопы и траншеи!» Офицер подманил к себе Красную Софию и выстрелом в воздух дал понять, чем кончится дело, если в течение часа старый заводик не будет превращен в неприступную крепость.

— Мы называем это «ощетиниться», — сказал он Красной Софии. — Переведи русским! Кто не найдет лопаты, пусть копает руками!

В дело пошли ржавые мотыги, всякого рода лопаты, ведра, мастерки, топоры, скобы. Военнопленные, понукаемые эсэсовцами, принялись за работу. В стене пробивались щели для стрелков, оборудовались доты и блиндажи. Украинцы выжидательно поглядывали на Софию, которая всю ночь не отходила от офицера и с виду совершенно беззаботно болтала с ним. Молодой человек, можно сказать, местный житель. Понятное дело. Он прекрасно знал о существовании заброшенного заводика, его не мог не озадачить дымок из трубы в такой теплый весенний день. Право же, он не помышлял о смерти, он думал только о защите, о неприступной обороне. Так ему приказывали. Дело приняло скверный оборот, но нельзя же сидеть сложа руки, когда все кругом гибнет.

— Кому же охота гибнуть? — заметила Красная София.

86 Офицер взглянул на нее большими внимательными глазами и тихо произнес название деревни, где у его родителей было садоводческое хозяйство — километров семнадцать к западу, три часа пешего хода.

— Знаю,— сказала София.

Она не очень удивилась, когда на рассвете, заслышав раскаты ближнего боя, офицер остановил работу. Взревели моторы, и, подняв тучу пыли, мотоциклы эсэсовцев скрылись из виду.

Пленные столпились вокруг Софии, обнимали ее, хлопали по плечу, чуть с ног не свалили. Они кричали и смеялись. Вместе с ней скатились на дно только что отрытой траншеи и едва не оказались заживо погребенными. Спасение от неминуемой смерти действовало опьяняюще.

Тут они снова услышали шум моторов, снова туча пыли поднялась над дорогой. Все бросились в укрытия, пули свистели прямо над головами. На несколько минут все онемело.

— Вернулись. Гады,— сказал один из пленных и схватил саперную лопатку.— Живыми не дадимся!

— Что ты мелешь! — крикнула София. Она не желала и не могла примириться с мыслью, что беда еще не миновала, что этим людям еще угрожает смертельная расправа.

— Это наши! — воскликнула она, и в голосе ее зазвучала уверенность.

Она выбралась из траншеи и бежала уже по открытой местности, оставив позади насыпь и груды кирпича. Она взмахнула платком, встречая подъезжающие танки, накрытые сверху еловыми лапами, и крикнула:

— Товарищи!

И хотя клубы пыли и гарь делали ее фигуру едва различимой, она замерла в ожидании ответа на милом ей языке. И она услышала то, что хотела,— сквозь лязг гусениц и грохот минометной батареи, укрепившейся на опушке леса. Пленные украинцы покинули свои укрытия, побросали лопаты и мотыги. Они кинулись в объятия красноармейцев. Они кричали, ликовали, приплясывали, плакали и смеялись. Разом выплеснулись боль и радость. Криком исходили страх и надежда, вновь обретенная надежда и убивающий душу страх последних часов и минут.

И тут раздались выстрелы. С холма, к которому лепились развалины заводика, открыли огонь пулеметы. Они били в гущу ликующих, еще не разомкнувших объятий людей. Обнимая друг друга, замертво упали на землю пленный и красноармеец. Другие, корчась от боли, катались по песку, зажимали раны на простреленных руках и

ногах. Двоих раздавили танки, мгновенно развернувшиеся к бою. Минометный взвод точно накрыл вереницу мотоциклистов. Офицер и еще несколько подлых убийц были стерты с лица земли.

— Догоните их! Добейте всех до конца! — кричала Красная София, стуча кулаком по броне остановившихся танков. — Это варвары... звери! Истребите их! Разорвите на части! Всех до единого!

Поблизости от развалин заводика, на той самой опушке, где были полузасыпанные траншеи, я и нашел каску советского солдата. Может быть, он и был жертвой, павшей в последний час войны и первый час мира. «Это произошло, — скажу я своим ученикам, — на глазах у Красной Софии. Дрожь от ненависти и скорби, она сняла с головы бойца простреленную каску. Если мы не поймем эту ненависть и эту скорбь, мы ничего не поймем в нашей истории, мы не дойдем до смысла сегодняшнего дня».

24

Мои размышления были прерваны появлением оценщика. Это был пожилой, совершенно облысевший человек. Фрау Скаландер решила сперва показать ему участок, и они вместе карабкались по крутым дорожкам вокруг сада. Он пыхтел, сопел, извинялся передо мной за опоздание, сетовал на плохое самочувствие, возраст, дрянную погоду и все на свете. К работе приступил не в лучшем расположении духа. В дом вошел, не спросив на это разрешения, и, казалось, полностью игнорировал обрушенный на него бывшей хозяйкой поток цифр, которые означали цены и расходы на строительство цементного фундамента и клинкерной лестницы, на лесоматериалы, двойные рамы, подоконники и на все прочее, что, разумеется, тоже было самого высшего качества.

— Да подождите вы! — крикнул я наконец, чтобы не выглядеть совсем посторонним в доме, где сейчас по-хозяйски расхаживал лысый.

Он мельком взглянул на меня и сказал:

— Мне надо будет спуститься в погреб и посмотреть чердак.

С этими словами он развернул складной метр и начал исследовать комнату во всех ее измерениях, ощупывая стены и рамы, при этом он делал какие-то пометки в записной книжке, потом стукнул каблуком по полу и заключил:

— Частичное подвальное помещение.

88 Затем сложил метр и полез в узкий люк погреба. На сей раз его заключение выразилось в загадочном «гм». На чердаке он задержался подольше. Я полез вслед за ним и с удивлением обнаружил, что он отдирает толстую облицовку балок.

— Тут полный порядок,— отметил он и начал шарить под скатами крыши, ловко орудуя метром и постоянно что-то записывая и приговаривая: «Полный порядок. Полный порядок». Снизу донесся голос фрау Скаландер:

— Я же говорю, что покупатель будет доволен.

Как только я спустился, Скаландериха, явно желая полюбоваться впечатлением, произведенным на меня профессиональной работой оценщика, крадчиво спросила:

— Ну как?

Но, увидев, что я молча выхожу из дома, чтобы вымыть руки, ослабилась и тут же снова нахмурила чело. Я оставил без ответа и все ее разглагольствования насчет того, что она вполне могла бы обойтись без оценщика, что приобретение дома означало бы для меня выгодную сделку, что строительство нового жилья по нынешним временам недешево, однако ей не хотелось бы даже малейшего отступления от закона, пусть продажа будет оформлена по всем правилам, но уж, конечно, дом за бесценок она не отдаст.

— От двух с половиной до трех,— сказал оценщик, появляясь в дверях. Он сделал свое дело и теперь с безразличным видом мыл руки.

У фрау Скаландер вырвался протестующий вопль. Потрясая сжатыми кулачками, она сравнительно проворно сбежала по лестнице, опять-таки обходясь без посторонней помощи. Старичок неторопливо умывал свою лысину, сопел, отфыркиваясь, и вместе со мной вытирался полотенцем, недоуменно пожимая плечами:

— За точность ручаюсь. От силы три тысячи. Больше не тянет.

Фрау Скаландер трясло от негодования:

— В таком случае ничего не буду продавать!

Я с готовностью одобрил такое решение. Дом сдан мне в аренду. Все остается по-прежнему. Мы стояли друг против друга. Скаландериха не скрывала своего раздражения. Оценщик листал свою книжечку и опять что-то подсчитывал. Он еще раз оглядел подновленный забор, крышу, водосточный желоб и пробормотал свое любимое: «В порядке». Потом приосанился, расправил воротничок своей клетчатой рубашки и щелкнул языком. После чего спокойно уселся на ступеньки лестницы. Между ним и мной мета-

лась фрау Скаландер. Наконец упавшим голосом она сказала оценщику:

— Но дайте мне хотя бы совет. Не могу же я во всем полагаться только на себя.

Тот захлопнул свою книжицу, и в руках у него оказался сверток с бутербродами. Он невозмутимо завтракал прямо на лестнице, решительно отказавшись от предложенной мной бутылки пива.

— Не переносу алкоголя,— сказал он, жуя бутерброд, и снова начал жаловаться на болезни, старческие недуги, свою обременительную службу, связанную с частыми поездками.

— Раньше все обстояло иначе. Было ради чего стараться,— прокряхтел он, завертывая в хрустящую бумагу остаток своего завтрака.

Он поднялся, бросил скучающий взгляд на дом, которому определил такую цену, и, не выказывая ни малейшего интереса к тому, что так волновало фрау Скаландер, пообещал прислать акт, а заодно и счет за оценку. Это могло произойти недели через две, старик наверняка не был педантом в вопросах делопроизводства.

— Ах эта чертова жара,— почти простонал он и тут же сердито попрощался.

Фрау Скаландер моментально подскочила ко мне, посылая проклятия в сторону удаляющейся лысины. Мне же было сделано немедленное предложение:

— Восемь тысяч! На худой конец — семь с половиной! И по рукам!

Я отрицательно покачал головой, ушел в дом и запер за собой дверь. Вся затея фрау Скаландер показалась мне таким абсурдом, что мало-помалу я забыл и про оценщика и про вздорное предложение старухи. Лишь на следующий день я решил подняться на чердак, чтобы поправить поврежденные куски толя. Оказалось, что это не так легко,— на полусогнутых пришлось забираться в самые тесные углы, где крыша сходилась с полом, в чрезвычайно нелепой позе прижимать лоскуты толя к балкам и прибивать их гвоздями. При этом я ненароком оторвал два-три куска. На мгновение я почувствовал себя в полной темноте, так как с головы до ног оказался накрытым какой-то материей. Не без труда освободившись от пыльного гладкого покрывала, я увидел, что это белый, правда, изрядно запачканный шелк. Приглядевшись, я догадался, что передо мной не что иное, как парашют, кем-то когда-то запрятанный в толевую обшивку чердака.

Да, это был парашют. Красная, далекая от святости, святая София действительно сошла с неба на землю. Она приземлилась в деревне или в ближайшем лесу, а может быть, в поле или на берегу одного из трех озер. Но как и откуда появилась она? Можно, конечно, не ломать над этим голову — небо, и все тут. Все вроде бы сказано. Все и ничего. «Про небо имеет что сказать любая из религий, — заметил как-то старый Левке, — а вот с землей дело обстоит сложнее».

Во всяком случае, моя находка не так уж удивила бы его. Он принимал на веру остросюжетный миф о сошествии Софии с небес на землю, и в его пересказе это выглядело бы так.

Туманной ночью Красная София парила в воздухе, медленно приближаясь к земле (разумеется, с парашютом). Внезапный порыв ветра резко наклонил вершины деревьев, о которые она чуть не задела ногами. От просеки, где она хотела приземлиться, ее отнесло в сторону, к горе. Гора показалась ей больше, чем была на самом деле, она поняла это позднее, когда глаза привыкли к ландшафту. Все ее имущество умещалось в тощий узелок. Оно состояло из костюма, блузы, юбки и сумочки. Одежда была защитного цвета. Слегка подогнув ноги, судорожно вцепившись в стропы парашюта, она неслась по воле ветра над лугами и кустарниками, над противотанковыми рвами и лесными дорогами, и вся местность открывалась, как на хорошей географической карте. Наконец она коснулась ногами земли — это был самый краешек берега. Так она оказалась в Зандберге, в окрестностях деревни, вблизи от дома фрау Скаландер. Имя этой дамы ей было известно, больше она ничего не знала о ней.

К парашюту, из которого пришлось выколачивать пыль, присохли веточки, травинки, стебли тростника и комки болотной грязи. Вероятно, они появились после того, как парашютистку новым порывом ветра сорвало с земли и потащило сквозь заросли камыша по болотной жиже. Возможно, не обошлось без сшибков и ссадин, и какое-то время она находилась в полуобморочном состоянии. Можно себе представить, какие отчаянные усилия прилагала она, очутившись в воде, чтобы не захлебнуться и не погибнуть, как пыталась она опереться ногами на дно, а потом — хотя бы держать над водой голову. Наконец ей удалось справиться с силой ветра и выйти на твердый берег. Парашют порвался, зацепившись за сучок ивы. Стropы София отсекла но-

жом. Она сняла промокшую одежду и бросила ее в озеро. Свернула парашют, решив и его утопить в болотной хляби. Но шелк надувался воздухом и все время всплывал, хотя она кидала в него комья грязи, пихала его в густую зловонную жижу и в конце концов сама оказалась выпачканной и мокрой с головы до ног. Потом уж сообразила, что самую опасную улику уничтожить не так-то просто. Она вытащила парашют на берег и какое-то время лежала на траве, совершенно обессиленная, дрожащая от озноба, почти отчаявшаяся. Так она пролежала полночи и еще целый день.

Итак, она появилась здесь в начале марта 1945 года с двумя чемоданами в руках, чему есть еще немало свидетелей. Чемоданы эти либо были куплены, либо похищены или найдены где-нибудь на дороге, по которой в те дни в панике бежало множество горожан, напуганных близостью фронта, вперемешку с ними двигались поспешно отступающие колонны вермахта. И те и другие освобождались от всего лишнего, обременительного. В одном из чемоданов она пронесла в дом фрау Скаландер свой парашют и это единственное вещественное доказательство ее необычного появления спрятала за внутреннюю обшивку крыши. У нее не было необходимости пускать в ход это доказательство, когда пришли солдаты Красной Армии, ведь советские войска и выслали ее вперед со специальным заданием. Может быть, София жила уже другими заботами и вообще забыла про цель своего десантирования, про то, что когда-то было смыслом всей ее жизни. Или вся ее жизнь до последнего дня наполнялась этим смыслом?

Прежде всего ей пришлось искать крышу над головой, ту самую, что к моменту ее появления еще не была доделана до конца. Она пошла к дому на горе, где теперь живу я. И не раз в моем воображении вставала эта картина: вот она поднимается по лестнице, вот стучит в дверь и произносит свои первые слова, обращенные к фрау Скаландер:

— Меня зовут София, я невеста вашего сына.

Может быть, все это наплела Скаландериха, а может, София, отчаявшись найти себе пристанище, действительно решилась на такой шаг, потому что ее слишком часто видели в поселке рабочих лесничества и у старого Левке, а это казалось подозрительным. Надо же ей было где-то спрятать парашют, не вечно же таскать его в чемодане. Закопать или просто выбросить никак не удавалось: почти всегда она была на виду у мужчин. Старый Левке старался держаться поближе к Софии, особенно когда она оживленно болтала за стаканом вина или вполголоса напевала

92 песни, которые своим странным грустно-задумчивым характером привлекали всеобщее внимание.

— Я жду солдата-фронтовика,— холодно бросала она, когда кто-нибудь пытался нарушить ею самой установленную дистанцию или разузнать о ее жизни больше, чем она позволяла.

Фрау Скаландер открыла ей дверь своего дома. В этом можно не сомневаться. Она не видела ничего необычного в том, что ее сын в захолустном галицийском городке познакомился со смазливой рыжеволосой девчонкой. К тому же матери было известно даже то, как ее сын простоял целый час на перекличке посреди утопающей в грязи базарной площади и что он схватил воспаление легких; знала она и все подробности его пребывания в лазарете, который помещался в здании гимназии. Она всегда носила с собой фотографии, присланные им после выздоровления. Ее сын был снят на фоне узорной решетки, он улыбался, и форма лейтенанта авиации придавала ему бравый и внушительный вид. Поэтому рассказ Софии о том, как она познакомилась с Гарри Скаландером в самом знаменитом кафе Дрогобыча, был удостоен доверия. София описала, как Гарри подошел к ее столику, как весь вечер не сводил с нее глаз, как изощрялся в галантном остроумии и каково было его изумление, когда в ответ на свои комплименты услышал чистую и бойкую немецкую речь.

— Вы немка? — спросил он.

— Останусь ею даже в могиле,— ответила София.

Он подозвал кельнера, заказал бутылку вина и, не скрывая своего хмельного счастья, воскликнул:

— Могилу оставим для врагов Германии. А нас ждет кое-что получше.

Так София нашла себе дом и хозяйничала в нем столь уверенно, что Гарри Скаландер, потеряв голову от бурной радости, длившейся не один день и не одну ночь, сам предложил ей:

— Поезжай к моей матери и дожидайся моего возвращения с войны.

София располагала двумя фотографиями и письмами — почерк нельзя было не узнать. Она вслух мечтала о возвращении жениха, сумела повернуть дело так, что фрау Скаландер стала жить исключительно заботами о предстоящей свадьбе. Софии всегда удавалось найти соответствующие предлоги и оправдания, когда надо было уйти из дома и задержаться где-нибудь на часок-другой. Ей хватало выдержки ничем не выдавать свою радость, когда приближение фронта становилось все ошутимее. Она пропускала

мимо ушей упреки, замечания и даже ругань, нимало не смущаясь тем, что говорят о ее встречах с иностранными рабочими и военнопленными, гнула свою собственную линию, будущей свекрови с неподдельной искренностью признавалась:

— Еще ни разу в жизни я не была так счастлива! Весь мир обнять хочется!

Когда у порога дома появился Гарри Скаландер, она заключила его в жаркие объятия. Затравленно озирающийся, голодный, на грани полного отчаяния, он стоял в своей лейтенантской форме, имея при себе полный комплект вооружения и боеприпасов. Первую ночь они провели на узкой кровати, которую фрау Скаландер специально отвела для молодой четы. Вернувшийся с фронта воин говорил и думал исключительно о проигранной войне. Невеста, обретенная после разлуки, куда меньше занимала его. Он уснул под звуки собственных речей, а проснувшись утром и не найдя у себя под боком Софии, спросил у матери:

— Что это? Сон или явь?

Вопрос так и остался без ответа, так как между соснами, обступившими дом, показался красноармейский патруль. Гарри был вынужден переселиться в погреб. Вскоре он догадался, что красноармейцев привела с собой София, при этом она без всякого затруднения говорила с ними на их языке.

26

Вот и миновала спокойная пора моего отпуска. Я уже просто не мог усидеть в четырех стенах.

— Фрау Скаландер! — кричал я, стоя у входа на участок Трибелей.

Так и не дождавшись ответа, я толкнул калитку и подбежал к красно-коричневому летнему домику. Это было весьма причудливое строение с четырьмя или пятью входами. Старый Трибель без конца перестраивал его, сделав нечто вроде лабиринта, и, попав в него, приходилось сначала блуждать по каким-то чуланам, прачечным, необитаемым детским и спальным комнатам, прежде чем доберешься до полутемной каморки, в которой хоронилась фрау Трибель. Для визита у меня не было никакого предлога. Я ни словом не обмолвился о фрау Скаландер. Старик Левке однажды просветил меня: «Если бы камни могли говорить, ты бы узнал о фрау Трибель кое-какие вещи». Она приняла меня довольно любезно, потчевала кофе с тортом, все

94 время улыбалась и лишь кивнула в ответ на мои слова: «Красная София. Вы ведь тоже ее знали».

Ветви фруктовых деревьев чуть ли не упирались в низенькое окошко, яблоки уже наливались зрелостью, но они заслоняли собой весь белый свет. Внешний мир казался отсюда сплетением контурных линий. Смутным силуэтом виделась мне и сама фрау Трибель, неподвижно сидевшая возле окна, пока я разделялся с ее угощением и безуспешно старался завязать разговор с хозяйкой.

— Но кто же она в конце концов? — спросил я, теряя терпение. — Как хоть она выглядела?

Это действительно интересовало и даже мучило меня — совершенно размытый, имеющий много противоречивых описаний, всякий раз новый и всегда ускользающий облик Красной Софии. Часто его рисовали под впечатлением случайных встреч и мимолетных наблюдений. Мне казалось, что я окружен множеством выдвижных ящичков и едва справляюсь с искушением вытряхнуть в одну кучу все их содержимое в поисках фотопортрета, по которому можно было бы опознать Софию, пусть даже заслоненную другими людьми, пусть на заднем плане, пусть мне явится хотя бы силуэт в этой мрачной каморке, где когда-то все полнилось жизнью, сретической святостью и смехом Красной Софии.

Фрау Трибель бесшумно поднялась, прошла в соседнюю комнату, не слыша моих вопросов и не замечая той ярости, которая уже гоняла меня из угла в угол и не давала усидеть на месте. Когда она вернулась, в руках у нее была подушка без наволочки. Старушка выглядела как-то беспомощно и несколько комично, она силилась объяснить мне, какой реликвией является эта выцветшая, сплошь залатанная подушка.

— Ее осколком насквозь пробило. Вот тут и вот тут, — услышал я наконец, — на ней София лежала. Она даже ни разу не проснулась... в ту ночь, когда у нас укрылась...

Я знал о той артиллерийской дуэли, о безумной попытке вермахта и фольксштурма отбросить от Зандберга наступающую Красную Армию. Это длилось полдня и полночи. На несколько километров вокруг запылали леса, в руины и пепел превратились деревни, воронки взрывов усеяли поля, дороги, пастбища и даже песчаные пустоши возле Зандберга. В ту ночь после освобождения пленных София вернулась в деревню. Она вошла в дом фрау Скаландер и обняла прибывшего с фронта жениха. Выпила с ним за возвращение и, сказав всего несколько слов, повела к кро-

Выходит, здесь, у фрау Трибель, нашла она прибежище той ночью. Здесь она решила скоротать время до утра, то есть до прихода друзей — бойцов Красной Армии. Осколок мины, посланной врагами или друзьями — теперь не разобрать, — пробил крышу, прошил подушку, но София даже не проснулась. Позади был день, когда ей пришлось пережить смертельную опасность, день, отнявший все ее силы, и она спала как убитая.

— Обе мы были молодые и даже дружили, — сказала фрау Трибель, заставив меня попристальнее взглядеться в это плоское, какое-то замкнувшееся лицо, над которым повисли седые прядки — то, что осталось от ее белокурых локонов. Ведь я помню, какой она была еще лет десять назад. Ей не хотелось продолжать разговор. Может быть, воспоминания успели поблекнуть или, наоборот, больно тревожили душу. Но подушка все еще оставалась в ее руках. Фрау Трибель все-таки кое-что вспомнила:

— А может, мы и не спали вовсе, а София рассказывала. Когда-то она все мне рассказывала. Ей надо было идти, она кого-то ждала, но не мужа.

Я мог нарисовать себе любую картину, представить во плоти любой рассказ, но я не видел лиц — их лиц в сорок пятом году. Подушка; кровать в верхней боковой комнате; шепот; гром канонады; краткий, но глубокий сон; внезапное пробуждение, когда неправдоподобная тишина сменила грохот артиллерийской стрельбы. За завтраком София выложила на стол осколок мины. Она выдернула его из половой доски рядом с кроватью.

— Оказывается, смерть проходит сквозь крышу, но моя голова ей не по зубам, — смеялась она. — Теперь могу держать голову высоко.

С каким-то солдатом-артиллеристом, сумевшим достать себе гражданскую одежду, она тем же утром укатила на мотоцикле. Ей хотелось убраться подальше от Зандберга и начать новую жизнь.

— Бог мой, ведь мы были молодые! — повторяла фрау Трибель.

Она тоже встречалась украдкой с одним солдатом, держала для него наготове цивильную одежду и даже какое-то время жила с ним.

— У Софии родилась дочь, у меня — сын. Чуть ли не в одну ночь, — сказала фрау Трибель.

Она вдруг осеклась, очевидно сожалея о том, что сболтнула лишнее. Ведь она и в самом деле сказала мне сегод-

96 ня больше, чем за все годы нашего знакомства. Взгляд ее невольно обратился к зеркалу, к которому были прислонены фотографии ребенка, мальчика или девочки — я не мог угадать. И тут я вспомнил, что однажды видел ее сына — беловолосого долговязого парня, уже успевшего обзавестись семьей и стать отцом пятилетней девочки. Иногда они приезжали сюда на выходные и ходили гулять на гору. А возможно, на фотографии и была эта девочка — толстошее курчавое существо, с годами изменившееся до неузнаваемости. Я хотел продолжить расспросы, но не успел. У дома слышались чьи-то шаги.

— Это она,— шепнула фрау Трибель.

Она вскочила, кинулась в смежную комнату, но быстро вернулась и стала боязливо поглядывать на дверь.

— Вы уж ей ничего не говорите, она свою внучку ищет.

27

Все, что я здесь узнал, отнюдь не прибавило мне спокойствия. Мимоходом поздоровавшись с фрау Скаландер, я вышел из дома и направился вниз по улице к бургомистру. Тот лишь недоуменно пожал плечами, когда услышал мой вопрос о ребенке. Сам он появился в этих краях много позднее, Красную Софию в глаза не видел, а о ребенке даже не догадывался. Моя настырность раздражала бургомистра, у него своих забот хватало. Надо было благоустроить пляж, лодочной станции перевалило за тридцать, все ее ветхие сооружения явились на свет раньше, чем дочь Софии, а ей, наверно, уже ни много ни мало четверть века. Требовались новые помещения для потребительского кооператива, более просторное здание для почтового отделения, хотя бы одна телефонная cabina, не говоря уже о спортивной площадке,— какому-то идиоту пришло в голову распахать ее, и теперь она стала кочковатым пустырем. Отдыхающие и ребята из окрестных лагерей буквально проходу не давали членам общинного совета: все хотели заниматься спортом, проводить соревнования, футбольные турниры и т. п. Бургомистр бушевал, схватив меня за лацканы:

— Может, ты скажешь, как из картофельного поля сделать стадион? Я колдовать не умею! Да и Красная София не умела. Иначе бы не оставила мне в наследство горы мусора и хлама!

Но все-таки он подошел к своему архиву, достал связку личных дел, помеченных буквами второй половины алфа-

вита, покопался в ней и без лишних слов выдал мне такие сведения:

— Соня Скаландер. Родилась тридцатого марта тысяча девятьсот сорок шестого года, дочь Гарри и Софии Скаландер, вступивших в законный брак второго июня тысяча девятьсот сорок шестого года, то есть два месяца спустя после рождения дочери.

После этого папка снова заняла свое место на полке, бургомистр углубился в другие бумаги и, не глядя на меня, проворчал:

— Да будь же ты человеком! Оставь меня в покое!

Я проглотил его слова без обиды. Нужная мне информация была получена, я узнал даже больше, чем ожидал, и счел своим долгом все-таки сказать ему:

— Я нашел парашют. Красная София вела в Зандберге нелегальную работу по заданию Красной Армии.

Я вышел в парк и присел на скамейку. Неподалеку возился киномеханик. Он натягивал белое полотно на сколоченную из досок раму. Как только стемнеет, он пустит на всю катушку свою вечную «Дорогу». Этот фильм крутят в тех случаях, когда не удается заполучить заранее объявленную картину. При ярком солнце экран до боли слепил глаза, но я не мог оторвать от него взгляда. В памяти мелькнуло множество кадров, увиденных здесь субботними вечерами. Вспомнились «Чапаев», «Анна Каренина», «Война и мир», «Броненосец „Потемкин“», «Последний выстрел». Это была беспорядочная, причудливая вереница знакомых образов, и среди них — молодая женщина, лица которой я не мог уловить, скорее даже силуэт, все больше занимавший собой экран. Так растут тени деревьев, когда солнце почти на глазах опускается за горизонт.

Засел я надолго. Разговорился с киномехаником и не заметил, как наступил вечер и на всех скамьях импровизированного кинозала оказались отдыхающие. Экран вспыхнул, наполнился ярмарочной пестротой лиц. Эти лица вторгались в ткань моих фантазий и воспоминаний, блуждали в них, изменяли свои черты и слились наконец в одно — округлое, довольно странное женское лицо с неумело обозначенными лучиками вокруг глаз, как часто рисуют дети. Взъерошенные светлые волосы, льняные или рыжие. Такая детская улыбка Джульетты Мазины. Смех. Удивление. Плач. Смерть. Не сразу я понял, что меня снова дурачит игра воображения, что надо забыть это лицо и держаться только непреложных фактов, о которых свидетельствовали парашют, документы, каска, угольно-черная буква «S» — серп и молот, то есть все то, что удалось мне об-

98 наружить в Зандберге. Но чем хладнокровнее и методичнее анализировал я добытый материал, тем фантастичнее он мне казался.

В третий или четвертый год войны Красная София познакомилась с лейтенантом Гарри Скаландером в одном из наиболее приличных кафе Дрогобыча. Не исключено, что она получила задание завязать разговор с ним, узнать кое-какие подробности и вступить в переписку. Всю информацию она неукоснительно передавала в штаб украинского партизанского отряда, база которого находилась в предгорьях Карпат, неподалеку от города. Гарри Скаландер был далеко не единственным немецким военным служащим, кого использовали таким образом для получения секретных сведений. Скорее всего, в глазах партизан он представлял даже особую ценность, так как служил в авиационной разведке и при этом был по уши влюблен в Красную Софию. Дело дошло до того, что вскоре ни в разговорах, ни в письмах он уже не мог ничего добавить к тому, что выболтал ей, ему уже нечего было скрывать. Строительство пансионата в Зандберге, где состоятельные берлинцы намеревались проводить свои уик-энды,— об этом упомянула между прочим в письме к сыну фрау Скаландер — решило судьбу Красной Софии. Партизаны переправили ее в глубокий тыл, где она обучилась необходимым приемам нелегальной работы, а в марте 1945 года советская парашютистка оказалась в заданном районе.

Вероятно, ей довольно быстро удалось раздобыть документы и устроиться на работу: в сумятице отступления и всеобщего бегства ее задача значительно упрощалась. У фрау Скаландер она нашла не вызывающее подозрений прибежище, а старики Левке и Трибель помогали ей в самых щекотливых ситуациях, не ведая о своем соучастии в столь опасном и ответственном деле. Вплоть до конца войны она передавала через связных важные сведения; как могла, облегчала участь узников и военнопленных, томившихся в близлежащих концлагерях; указывала наступающим частям Красной Армии наиболее слабые места в обороне противника на юго-восточном побережье озера, в непосредственной близости от Берлина. И вскоре передовые танковые части 1-го Украинского фронта прорвались за линию автодорожного кольца.

Таким образом, Красная София до конца исполнила свою миссию в Зандберге. А в освобожденном Берлине она была принята командованием советских войск. В День Победы ей был вручен орден. Она с гордостью носила его по праздникам и всем говорила, что никак не дожидется того

дня, когда сможет вернуться на свою родину — Западную Украину. Но тот самый безволосый капитан, который возглавлял в конце войны местную комендатуру советских войск в Зандберге, настоятельно нуждался в ней как в переводчице. Позднее он возложил на нее обязанности красного бургомистра сразу нескольких деревень на южном побережье озера. «Такова воля Красной Армии!» — чеканно произносила она, разговаривая с крестьянами и беженцами. В сущности, она ни на йоту не отступала от правды. Она действительно была исполнителем этой воли, когда заняла кресло с графскими гербами и взяла в свои руки бразды правления.

Но мечта о возвращении в Дрогобыч все больше завладевала ею. Еще живы были родители, она переписывалась с ними. Выпадали минуты, когда она считала вопрос для себя решенным, начинала укладывать вещи и настойчиво просила об отставке. Ее тянуло на великую землю. Ей не терпелось увидеть Львов, Киев и Москву, куда она накануне войны семнадцатилетней девочкой совершила поездку со своим братом Кристофером. Она хотела учиться, перепробовать много профессий. Друзья писали ей: «Возвращайся скорее, на Родине перед тобой открыты все двери». Но гарнизонное командование отклоняло ее просьбы. В освобожденной Германии ей надлежало провести еще хотя бы год. Она нашла в себе силы принять эту отсрочку. С неумемной энергией взялась за работу, загорелась идеей перекроить и пересоздать этот маленький подведомственный ей мир по своей воле и с такой основательностью, будто решила связать себя с ним навеки. Теперь она никому не уступила бы этот Зандберг, и если бы у нее захотели его отнять, она добивалась бы своего всеми правдами и неправдами. Впоследствии кое-кто поговаривал, что ее обуяла мания лидерства, что она во что бы то ни стало хотела самоутвердиться в глазах тех, кто раньше смотрел на нее свысока. А может быть, она и сама по внутреннему убеждению выбрала себе исключительнейшую роль в судьбе Зандберга, поставила целью перетряхнуть души всех этих Скаландеров, Трибелей, Левке, покорить их силой своих идей.

С Гарри Скаландером вышла осечка. На исходе войны он не пожелал расстаться ни с мундиром, ни с оружием. Война для него не закончилась. Она позаботилась о том, чтобы он отбыл положенный срок, и считала себя вознагражденной, когда тот вернулся из Донецка другим человеком: тихим, умудренным, терпеливым и очень к ней привязанным. Он одобрял все ее распоряжения и с готовно-

100 стью исполнял их. Ни единым словом не посетовал он на свою участь, напротив — казался безмерно благодарным. Но Софию тяготило как раз то, что он слепо доверился ей, толком не понимая смысла ее дела и устремлений.

В первый послевоенный год она отдавалась работе с каким-то нечеловеческим упорством и самоотречением. Но когда наступило второе послевоенное лето и на полях вызревал новый урожай, силы ее, кажется, пошатнулись. Она была слишком измотана нервотрепкой и вечной необходимостью что-то пробивать, кого-то подталкивать, с кем-то спорить. Она с такой быстротой оформляла свои мысли в приказы и так безапелляционно требовала их исполнения, что ее надменная самоуверенность стала вызывать чувство протеста даже у тех, кто раньше был на ее стороне. Вокруг нее создавалась оболочка ледяного и даже злорадного молчания, сквозь которую пытались пробиться лишь какие-то прохиндеи, крестьяне, не выполнившие госпоставок, личности с темным прошлым. Но она видела их насквозь и гнала от себя в три шеи. В конце концов она оказалась в полной изоляции, перессорилась со всеми и вся и тогда приняла решение перебраться в глухое место, построить дом на опушке леса, откуда даже не видно деревни, разве что — самый краешек горы. Все ее помыслы переключились на ребенка, и теперь она жила только мечтой о предстоящем материнстве. Гарри Скаландер смиренно сидел возле нее, ловил каждый взгляд, каждое слово. Она рассеянно кивала ему и молчала... молчала. Но с ребенком она могла говорить бесконечно, часами, внушая ему:

— Тебе будет хорошо. Ты будешь счастлива. Никто не будет ненавидеть тебя. Все будут только любить!

Фрау Скаландер, наверно, была недалеко от истины, когда сказала о Красной Софии:

— Ребенка она любила больше всего на свете. Больше, чем себя. Девочка жива. Я это знаю.

И снова я увидел забавное лицо итальянской актрисы, напоминающее одновременно и Рут, мою жену, и Аню, нашу дочь, и все нарисованные ею рожицы с расходящимися от глаз лучиками. Киномеханик снимал экран и свертывал его в трубу. Повернувшись ко мне, он крикнул:

— Вот и все удовольствие! Довольно дурацкий фильм. Верно?

Я завернул в ресторанчик, заказал себе коньяка. Алексис, художница, приветливо кивнула мне, когда я попросил раз-

решения сесть за ее столик. Немного поговорили о моей работе. Ничего интересного я сообщить не мог. Историей искусств я не занимался, да и время было отпускное.

— Занимаюсь поисками одного ребенка,— сказал я.— Теперь это женщина двадцати семи лет, некая Соня Скаландер.

Художница пожала плечами и посоветовала не очень налегать на коньяк.

— Сердечный интерес? — участливо спросила она.— Но вы все-таки не пренебрегайте закуской, иначе наберетесь.

Она оказалась почти права. Поздним вечером я почувствовал себя наконец свободным от головолomных проблем и, к своему удивлению, заметил, что нахожусь в доме-башне, где жила Алексис. Голова немного кружилась, понадобилось какое-то время, чтобы пообвыкнуться в этой увешанной картинами мастерской, по стенам которой пробегали тени качающихся перед окном деревьев. Художница тоже облюбовала себе жилище на горе, и многие ее картины варьировали ночной пейзаж, открывающийся из окна, и тем самым усиливали впечатление плавного полета над деревней, озером и лесом, которые, подобно моим грезам, сползали в бездонную глубину пространства и времени.

Тем современнее, сегодняшнее становилась для меня добрая фея — художница Алексис. Она отпаивала меня кофе, спокойной уверенной речью прогоняла мои тревоги и на какое-то время вернула почти забытое ощущение беззаботности. Эта пятидесятилетняя женщина была такой миниатюрной, изящной и подвижной, что все считали ее значительно моложе своих лет. Однако у меня хватало здравого смысла не путать ее с разыскиваемой дочерью Красной Софии — та не шла у меня из головы, несмотря на все попытки расслабиться. Я все никак не мог отвлечься от этой темы. И тогда Алексис показала мне портрет — детская головка, светлые локоны, мечтательный взгляд.

«Нет! — Во мне заговорило идиотское упрямство.— Это не она».

Мне нравились работы Феи. Она писала точно, немного в духе старых мастеров и, по ее признанию, любила работать в технике глазури. На этом портрете краски отличались особой живостью, переходили в резко приглушенные тона, подчеркивали пластическую сущность предмета, раскрывая его в различных плоскостях. Так были написаны голова, часть фигуры, платье, большие глаза под круглыми изгибами ресниц; так был сработан насыщенный зеленой фон — буйно цветущий луг, оттененный угрюмой полосой

102 леса, а наверху — узкое, оранжевых тонов, безоблачное небо.

— Красная София просто не отступалась от меня, требовала, чтобы я написала портрет ее дочери, — сказала художница, пристально всматриваясь в картину, затем протянула ее мне. — В качестве благодарности мне полагалась картошка. Ради картошки я из кожи вон лезла. А девочку пришлось приукрасить, чтобы выторговать еще килограмма два.

Мне показалось, что я снова не в ладах с реальностью: этот ребенок улыбался мне. Живые, до волосинки выписанные ресницы обрамляли странно округленные глаза. Теперь на этом полотне я находил все новые подробности: цветы, пестревшие на лугу, пышные кусты и плодовые деревья, за которыми мрачной стеной вставал лес; каркасный дом с соломенной крышей, похожий на тот, стоящий на отшибе, что крыт теперь черепицей; за изгородью — коза и несколько коров, десятка полтора кур во дворе.

— Да она должна была одарить тебя еще и колбасой, маслом, яйцами, — воскликнул я, узнав на картине тот самый хуторок, где София нашла себе покой и радость. — Ведь ты изобразила все ее хозяйство, можно сказать, воплощенное счастье!

— Счастье на отшибе, — со смехом согласилась Алексис, но тут же снова стала серьезной: — Нет, весь этот антураж ее несколько не волновал. Я должна была рисовать ребенка. Мне был заказан портрет.

Ни этот сизый лес, ни оранжевое небо, ни обилие живности на картине ей не нравились. Весь мир заключался для нее в ребенке. Другой темы она вообще знать не желала, когда Алексис встречалась с ней, работая над картиной.

— Она просила, чтобы я нарисовала еще один портрет, — рассказывала Фейя, — но когда я уже собиралась приступить к работе, она исчезла вместе с ребенком. И плакал мой картофельный гонорар.

Я смотрел на портрет, и это был уже не плод моей фантазии, не безликий призрак, навеянный туманными преданиями и поспешными догадками, которые моментально обесценились в моих глазах.

За окном тихо раскачивались деревья, где-то внизу дремало поглощенное темнотой озеро. В деревне зажглись первые огоньки — кому-то было не дожидаться утра. Тишину нарушил шум мотора. Неведомый мотоциклист просигналил разок-другой неподалеку от мастерской. Потом вдруг снова все стихло.

— Побудь еще здесь,— сказала художница.

Теперь она показалась мне совсем юной, почти такой же, как лицо на этой картине — радостное, с доверчивым любопытством смотрящее в мир и на меня, точно мы знали друг друга целую вечность и встретились двадцать восемь лет назад. Я тоже смотрел, не двигаясь с места, даже когда в передней, а потом и в комнате зажегся свет и на пороге появился незнакомый мужчина в кожаной куртке и в шлеме. С непроницаемым лицом стоял он у двери, пока я не встал и не попрощался.

— Что случилось? — спросил он. — Ты отдала портрет?

— Да,— сказала художница. Ты всегда хотел, чтобы я сожгла его, но я не сделала этого лишь из пиетета.

29

Что это? Опять наваждение, опять свою опьяняющую игру затеяло со мной время, когда с портретом в руках я вышел из дома-башни на свежий воздух. Или же нечто живое, но невозвратимое глянуло на меня из далекой дали этим чужим и близким лицом ребенка? Я отлично сознавал, где нахожусь, видел, как обнимаются те двое у раскрытого окна башни. Но сколько часов, дней, десятилетий длится все это? Неужели страсть и ревность неподконтрольны времени? Или же этот отрезвляюще будничный день, это серое утро, эти любовь и ненависть, не принимающие печати моей современности, есть не что иное, как случайно подслушанные факты, за которыми вскачь пустилась моя фантазия вместе с надеждами и заблуждениями? Рассказывал же мне старый Левке про мотоциклиста, поднимавшего вихрь на дороге вокруг этого дома и подававшего сигналы под этим окном. Не мужчина ли в кожаной куртке — этот уже немолодой и совершенно чужой мне человек — тот самый солдат-артиллерист, который обосновался близ Зандберга, а следовательно, знает гораздо больше, чем другие?

Появление Красной Софии связано с небом. Я обнаружил на пороге угольно-черную букву «S», я отыскал парашют, у меня в руках — портрет ее дочери. Все остальное — домыслы, легенды, кривотолки. Но теперь мне ясно и осязаемо представилось то, что раньше на протяжении многих лет я считал порождением фантазии, — та самая ночь на Луховском озере и тонкий ледок, мгновенно ломающийся под ногами парашютистки. Она угодила в темный провал между двумя льдинами, оказалась в воде, в кровь изодрала лицо и руки, пыталась освободиться от парашюта, вле-

104 комого ветром по поверхности озера. Ее затянуло под ледяную глыбу, она начала тонуть, но, собрав последние силы, вскинула голову и тут почувствовала, что ветер оставил парашют в покое. В то же мгновение она заметила луч карманного фонарика и фигуру немецкого солдата, который в два-три прыжка очутился рядом, подхватил ее, отбросил паутину стропов и, раздвинув льдины, уже крепко держал ее на руках.

— Ты от русских? — спросил он, когда вытащил ее на берег, в гущу голых кустов.

Она не ответила. Он больше не спрашивал, только командовал:

— Стягивай мокрые монатки!

Но она оцепенела от страха и холода. Тогда он крикнул:

— Не знаю, как у тебя с немским. Но уж это ты наверняка поймешь: не будешь делать, что говорю, — выдам начальству!

Он бросил ей свою шинель. Через несколько минут вернулся с мокрым, грязным парашютом.

— Надеюсь, мы понимаем друг друга, — сказал он с улыбкой.

Она стояла перед ним в его же собственной шинели. Солдат объяснил: придется потерпеть до наступления темноты, — а в это время только светало, — и она с пониманием кивнула ему. Вывезти ее на мотоцикле в деревню удастся лишь вечером. Он поместит ее в доме-башне — в пустующей мастерской художницы Алексис, где она сможет наконец отогреться и с ног до головы укутать себя одеждой.

— К вечеру я растоплю печь, — сказал он напоследок, — будет и вино. Чтоб не говорила: немцы — негостеприимные люди.

Он забрал насквозь промокшую одежду, но парашют не тронул.

Она взялась было рыть яму в промерзлой почве, чтобы избавиться хоть от этой улики. Но прежде чем удалось вырвать из земли несколько комков грязи, она обломала ногти и с ожесточением начала бить по земле своими хлюпающими сапогами, но и от этого толку было мало. Обессиленная, упала на колени и заплакала навзрыд. Только сейчас поняла, в каком она жутком, безвыходном положении.

Потом вскочила, добежала до края шелестящих на ветру зарослей и, увидев широкий луг, в растерянности остановилась. Ей стало ясно, что в солдатской шинели далеко не уйти, что ее судьба в руках этого человека, она его

пленница, заложница, и как долго придется ей здесь торчать — целиком зависит от его воли. Она может замерзнуть и умереть с голоду. Стоит ему захотеть — и ее схватит патруль. И вообще, кто знает, что у него на уме.

Через прогал в кустарнике ей открылся вид Зандберга. Несколько домов, дымки над трубами, поближе, на полевой дороге, группа женщин на велосипедах — куда как безмятежная картина. Прислушавшись, она различила далекий стук топоров, детский плач, визг пилы, шум моторов. А когда вдруг заметила приближающуюся к озеру военную машину, не могла сразу сообразить — то ли бежать куда подальше, то ли затаиться на месте. Но машина свернула в лес, на боковую дорогу, которая вела, по-видимому, в деревню, что находилась на другом берегу и напоминала о себе лишь ломаной линией островерхих крыш.

Когда сгустились сумерки и наступила вечерняя тишина, вновь пришла мысль о побеге. Но чем дольше София, скованная холодом и тьмой, пребывала в состоянии томительной неопределенности, тем беспомощней и несчастней становилась в собственных глазах. Дрожа всем телом, она попыталась было укрыться мокрым парашютом, но тут же снова вскочила: ей показалось, что откуда-то издалека доносится шум мотора. Перебралась к самому краю луга — отсюда, по крайней мере, можно было видеть силуэт горы и едва различимые черные пятна домов с потушенными огнями. Страх перед возвращением солдата мало-помалу прошел: ведь с ним была связана единственная надежда, решение ее дальнейшей судьбы, и она с нетерпением ждала этого часа. Где-то посреди ночи она слышала нарастающий рокот мотоцикла, потом увидела крохотный огонек и бросилась ему навстречу. Когда взвизгнули тормоза и раздался окрик знакомого уже человека: «Куда тебя понесло! Назад!» — она почувствовала себя спасенной. София бросилась в гущу кустарника, куда уже вломился солдат на мотоцикле. Резко затормозив, он бросил ей мешок из-под угля. И она быстро запихала в него парашют. Солдат сказал:

— Твое счастье, что сегодня воскресенье. По воскресеньям в жизни меньше пакости.

Сначала они тряслись по кочковатой луговине, потом по изрытой танками дороге, немного обогнули лес и въехали на разбитую мостовую. Оказались на окраине деревни, где в этот момент не было ни души. Красная София сидела позади солдата, обеими руками сжимая мешок с парашютом. Она боялась двух напастей: либо потерять парашют, либо самой свалиться с мотоцикла. Мчались они

106 очертя голову, подокакивая на камнях и узловатых корнях сосен, перелетая через канавы и рассекая заросли. После этой бешеной гонки мотоцикл остановился наконец у дома-башни, вросшего в крутой склон горы. Парень поставил мотоцикл между стволами двух невысоких елей, подхватил мешок и за руку потащил за собой Софию. Войдя в дом, он сказал:

— Затопить удалось только к вечеру. Скоро будет тепло.

В верхнем этаже, там, где была мастерская, он зажег свечи, бросил мешок с парашютом возле печной дверцы и показал рукой на платяной шкаф:

— Здесь ты найдешь все, что нужно. Даже косметику и бигуди,— пояснил он деловым тоном.— Верни мне шинель, я должен идти.

Солдат отвернулся, подошел к столу, откупорил стоявшую там бутылку красного вина. Была приготовлена и закуска: хлеб, масло, колбаса. Сделал себе бутерброд, налил бокал вина и выпил.

— Ты скоро? — спросил он.

Красная София скинула шинель, бросила ее солдату под ноги и сказала:

— Как прикажет немецкий господин!

Совершенно нагая, она сделала шаг в его сторону и, стиснув зубы, замерла в ожидании грубых объятий. Но он продолжал есть и, не глядя на нее, равнодушно проинформировал:

— Одежда висит на печке. Она давно высохла. Завтра, может быть, загляну.

Он слегка отстранил ее и пошел к двери. Из комнаты почти выбежал, не простившись.

Она стояла у окна, затемненного бумагой и занавешенного шерстяным одеялом. Его она не видела. Но по звуку определила, что он пересекает мостовую, выводит из-за елей свой мотоцикл и уезжает. Шум мотора показался сначала нестерпимо громким, но вскоре пошел на убыль и наконец затих где-то вдалеке. И она уже знала, что отныне будет ждать, жадно ловить нарастание этого звука и завтра, и послезавтра, и еще недели и даже месяцы, а может, и годы.

Дорого бы я дал за то, чтобы вот сейчас из утреннего тумана появилась фигура старого Левке и мы смогли бы с ним немного побродить вокруг горы. Когда-то он сам при-

глашал меня на такие прогулки, но чаще всего я отмахивался: ломать голову над историей Красной Софии казалось мне бессмысленной тратой времени. Но случалось и так, что Левке находил возможность щедро угостить меня своими устными новеллами и афоризмами.

— Любовь треснет, словно хрупкий бокал, если вцепиться в нее зубами, — сказал он однажды и, взяв меня за руку, начал внушать: — Ты уж поверь мне и постарайся запомнить: человек, которому она отдала себя всю без остатка, очень перед ней виноват.

Я тут же задался вопросом: кто же был тот человек — Гарри Скаландер или артиллерист?

Я держал в руках портрет девочки. Она считается дочерью Гарри Скаландера. Но может быть, кроме имени их ничто и не связывает. Вскоре я оказался возле дома Трибелей. Двери были открыты. Прежде чем войти, немного помедлил. По лицам обеих женщин я понял, что Фелицитас Алексис безошибочно удалось портретное сходство. Взволнованные вздохи, слезы, вопросы, мольбы и уговоры отдать им полотно — все это могло вызвать сочувствие, но я лишь покачал головой и ничего, кроме «Доброго утра» и «До свидания», выдавить из себя не сумел.

Старому Левке, если бы он сейчас был рядом со мной, я бы задал вопрос: «Кто отец ребенка?»

Сначала наверняка услышал бы смешок, а потом парочку изречений: «Кто вытирает ребенку носик, тот целует мамины губки». Затем: «Рубашку надевает тот, кому она впору». И наконец, задыхаясь от смеха: «Узнать погоду поможет ветер, узнать папашу помогут дети».

Я ускорил шаг, потянуло домой, захотелось покоя. Самое подходящее занятие сейчас — ни о чем не думать или собирать вещи в дорогу. Частенько я проклинал старика за то, что он ходил за мной по пятам и, сняв очки, строго сощулив глаза, в дело и не в дело упрекал меня в равнодушии, если я поступал не так, как предписывают его сентенции. Высшая степень недовольства проявлялась у него в пронзительном хохоте и немедленно находила словесное выражение: «Кому известно, что такое любовь, не дано было ее испытать». Но и в своих четырех стенах не удалось мне забыть изображение маленькой Сони Скаландер и отвязаться от мыслей, на которые она наводила. То и дело я поглядывал на портрет, лицо всегда было у меня перед глазами и на удивление естественно вписалось в обстановку дома. Прошрое и настоящее сомкнулись, мост был переброшен. Здесь, в этом доме, ходила, хлопала дверями Красная София. Сюда она принесла однажды ребенка, и

108 фрау Скаландер взяла его на руки, потому что ребенок испугался крутой лестницы и выжженного на дереве знака. У меня уже не было надобности погружаться в прошлое, всматриваться в даль времени: здесь, в этом доме, все обрело свое начало и свой конец. С портрета смотрела история, на дворе был сегодняшний день. Именно здесь так осязаемо ощущалась реальность тридцатилетнего мира на этой земле, сделавшего меня таким, каков я есть. Чего стоили в сравнении с этим ветхие страницы Тридцатилетней войны, старинные книги и хроники, которыми я набил свой отпускной багаж, чтобы закопаться в них и не думать ни о чем ином?

Не знаю, долго ли я так просидел, много ли времени заняли у меня эти раздумья. Но кончилось тем, что я вскочил и побежал к автобусу, отъезжающему в районный центр. Я жаждал полной ясности, хотел максимальной достоверности. Ведь остались же там какие-нибудь документы 1933—1945 годов, хотя тогдашние хозяева конечно же позаботились, чтобы все уничтожить и не оставить после бегства даже обрывков архивных бумаг. Сохранилась лишь папка с полицейскими протоколами (мелкие кражи; дорожные происшествия; преступления, совершенные в пьяном виде; подделка продовольственных карточек), и среди них — никаких указаний на события, происходившие в Зандберге в последние годы войны, никаких сведений о появлении и нелегальной деятельности Красной Софии, ни одного заявления или доноса, хотя в свидетелях, очевидцах, сообщниках, думается, не было недостатка.

Председатель районного управления, у кого тоже хранились документы первых послевоенных лет, выразил мне свое сожаление:

— Ничем не могу помочь, это имя мне неизвестно, в наших делах оно ни разу не упомянуто.

Он выложил на стол несколько листовок; тексты обращений командования 1-го Украинского фронта Красной Армии; первые призывы земельного совета; украшенные изображением колосьев декларации, провозглашающие сельскохозяйственную реформу; объявления о рождении детей; ордера на получение обуви; всевозможные плакаты; окаймленные красной полосой статьи из газеты «Фольксвилле», и среди них — маленькая заметка под заголовком: «Козье молоко — детям». Вот ее текст:

«По призыву коммунистического бургомистра Зандберга жители деревни, имеющие коз, заявили о своей готовности сдавать в период школьных каникул $\frac{1}{4}$ л молока в день нуждающимся детям. Это позволит отчасти заменить

школьное питание, отсутствующее во время каникул. Инициативу зандбергцев рекомендуется поддержать во всех деревнях района».

— Это же она! — воскликнул я.

Председатель отнесся к моим словам скептически:

— В партии она не состояла. В то время я как раз занимался партийной работой.

Ему было лет пятьдесят. Коренастый мужчина, поседевшие волосы гладко облегают шишковатую голову. Он немного рассказал о тех трудных годах, посетовал на слабеющую память.

— Бывал я, конечно, и в Зандберге, раза два-три. Но разве вспомнишь, кто там тогда работал,— начальство постоянно менялось. Делайте со мной что хотите, но помню только песок, в котором то и дело вяз мой велосипед.

Он тихо, как бы про себя, рассмеялся и, как мне показалось, начал держаться со мной попроще.

— Увы, не все остается в памяти,— заметил он, шевельнув бровями, и в этот момент стал немного похож на старого Левке.

Он углубился в другие истории той поры, не называя имен и места событий. Под конец председатель посоветовал мне забыть про Красную Софию или поступить еще проще, как делают в подобных случаях:

— Никогда не следует предполагать самое худшее. Меня убедила в этом моя работа. Почему бы не допустить, что она с ребенком вернулась на родину. Возьмите и напишите ей. Представляете ее радость, когда спустя десятки лет она получит несколько строк из этого уголка.

Вечером, уже в Зандберге, я первым делом принялся изучать географический атлас и листать оставленный Левке «Лексикон». Дрогобыч — это город с населением пятьдесят тысяч человек, находится на западе Украинской Советской Республики, то есть на территории бывшей Галиции, в юго-восточной части Карпат, вблизи от реки Днестр и месторождений нефти и газа. Ближайший к нему крупный город — Львов. Имеет значение и как транспортный узел. От Зандберга удален на тысячи километров. Если Красная София жива и здорова, скоро мое письмо найдет ее. Я обращался к ней так, будто мы были знакомы: «Очень прошу ответить, хотелось бы получить от Вас живую весть. Примите наш дружеский привет, все мы рады снова увидеть Вас».

И опять в дом на горе притащилась эта фурия, а мне уж казалось, что ее больше не существует. Фрау Скаландер заявила на следующее утро, чтобы вдоволь насмотреться на портрет.

— Ну прямо-таки живая, до чего же похожа! — заговорила она, уставясь на полотно, и мне показалось, что старуха приросла к полу. — Я пришла только ради нее, хотя надо еще кое-что узнать, — сказала она, проводя платочком по напудренному лицу, затем снова воззрилась на портрет и с видом святой непосредственности спросила: — Вы ведь покупаете этот дом, не так ли?

Не получив ответа, она вновь заговорила о ребенке Красной Софии, которого считала своей внучкой, и стала упрашивать меня поспособствовать ей в поиске.

— Мы просто обязаны ее найти, — несколько раз повторила она, — иначе мне не будет покоя.

Каждый шаг теперь тяжело давался старухе, она не только с трудом одолевала лестницу, но даже в те недолгие минуты, когда сидела, давая отдых ногам, чувствовала все большую усталость. Лицо ее порой искажалось гримасой боли, она даже закрывала глаза. Я понял, что силы этой женщины на исходе, второго случая предпринять далекое путешествие ей не представится, что последнее и главное дело ее жизни — повидать перед смертью ребенка, вернее, девушку или молодую женщину, которую много лет тому назад запечатлели на этом холсте.

— Я уверена, что у нее все будет хорошо, — сказала она с какой-то конвульсивной улыбкой. Ей вдруг захотелось во что бы то ни стало убедить меня, что у нее нет ни малейших сомнений в успехе поисков: — Здесь молодой женщине не дадут погибнуть, даже если она без родителей. Здесь иначе, нежели у нас. Конечно же, наша Соня получила хорошее воспитание, кончила школу, у нее наверняка стоящая профессия, и в моей помощи она не нуждается.

Старуха начала поглаживать и потирать правую ногу, но рука задрожала и бессильно скользнула вниз.

— Поскольку Соня — моя единственная наследница, я хочу позаботиться, чтобы по всем правилам передать ей имущество. И если вы не собираетесь покупать дом, я напишу ей дарственную, а уж как она с ней поступит — не мое дело. Может, захочет пожить здесь. Главное — ей будет приятно, что родственники не забыли о ней. По крайней мере, я.

Тут я встал и пошел на кухню, чтобы сварить кофе. Мне не хотелось ни спорить, ни разубеждать, я не решался даже подвергать сомнению трогательные мечтания старухи. Многое предстало передо мной в новом свете. Несколько сбитый с толку, стоял я у электроплиты и ждал, когда закипит вода. Потом мы пили кофе, и она завела разговор о родителях Красной Софии, которым удалось пережить войну, а как только наладилась мирная жизнь, они приехали сюда несколько писем.

— Возможно, они кое-что знают,— сказала она, заметив на моем столе письмо, адресованное в Дрогобыч. Фрау Скаландер откинулась на спинку стула и на мгновение закрыла глаза — то ли от усталости, то ли от того, что разговор ей уже наскучил.

Мне трудно было даже самому себе признаться в том, что действительно лишало меня покоя. Моя уверенность была поколеблена старухой, ее убежденностью в собственной правоте и тем упорством, с каким она преследовала последнюю и в общем-то понятную цель своей жизни. Может быть, эта старая дама знала много такого, что не знал я при всем моем желании докопаться до истины. Мог ли я исключить, что в следующую минуту услышу от нее нечто ошеломляющее, над чем придется долго ломать голову?

Однако старуха уже вышла из состояния мечтательной меланхолии и вновь переключилась на Красную Софию, чествуя ее на чем свет стоит:

— С каким коварством она околпачила нас! Как ловко подстроила, что мой сын попал в заключение. Почему потом вызволила его оттуда, женила на себе, а у меня отняла? Воздвигла хоромы и родила в них ребенка. А как только девочка начала бегать и говорить, она ее забирает и куда-то проваливается. Исчезла, как и появилась,— ни один черт не знает как! — Фрау Скаландер со вздохом поднялась и устремилась к портрету. — Больше о ней я так ничего и не узнала. Ничего.

Ее сын тоже ничего не знал о ребенке или не желал знать. С грехом пополам он добрался до Северной Каролины, обосновался там, не допуская мысли о новом браке, регулярно посылал письма матери в Западный Берлин, иногда отправлял посылочку. Вероятно, ему хотелось вычеркнуть из памяти все, что произошло тогда в Зандберге. Оформлению развода с пропавшей Софией он не придавал никакого значения. В своем последнем письме он сообщал, что имеет достаточно средств, чтобы построить себе дом в живописной холмистой местности, и никаких резонов претендовать на дом в Зандберге у него нет.

112 — Сын не знает, что я сюда приехала,— сказала фрау Скаландер,— он бы этого не потерпел.

Старуха заковыляла к двери, я провожал ее взглядом. По лестнице спускалась сама, от моей помощи наотрез отказалась,— ведь я отобрал у нее портрет, который она надеялась унести с собой. Всем своим видом она старалась подчеркнуть непреклонную волю и готовность к решительным действиям, что стоило ей немалых усилий, но в общем-то удавалось. Выдержав характер до конца, она скрылась из глаз.

32

Все ли было так, как рассказывала мне Фея? Я еще раз приходил к ней и просидел весь день, окруженный пейзажами и загадочными лицами. От них исходили вопросы, над которыми я вновь и вновь ломал голову. Или же это был уже знакомый страх перед самой неприкрашенной правдой?

Однажды утром, в конце марта 1945 года,— еще только светало — Красная София услышала шорох и высвободилась из объятий мужчины, который привез ее в эту башню. Ее снова обожгла мысль обо всем, что поставлено на карту. Достаточно просто сказать вслух о ее странном появлении, о незаконном проживании в деревне, о краже — и полицейская машина немедленно придет в движение, а это не сулит ничего, кроме смерти. Художница Алексис стояла внизу перед дверью и пыталась ключом отпереть замок,— солдат вогнал в скважину несколько гвоздей. В замешательстве она оглядела свой дом, ставший вдруг таким недоступным, загрохотала в оконное стекло и только потом заметила мотоцикл между двух елей. Оставив у дверей оба своих чемодана, она побежала к соседям за помощью. Когда же вернулась в сопровождении старика Трибеля и его дочери, дверь была распахнута, вдалеке слышался треск удаляющегося мотоцикла, а чемоданов и след простыл. Однако из вещей ничего не пропало, все содержимое чемоданов было вывалено на кровать.

— Это что за новости? — сказала она старику Трибелю, который взглядом знатока окинул раскуроченный замок и определил, что здесь орудовали фомкой и гвоздями.

— Я думаю, не такие сейчас времена, чтобы из-за этого поднимать шум,— рассудила художница.

Ее дом в Берлине был разрушен бомбой, погибло семейство жильцов, они остались лежать под обломками, в их числе и ее родители. Разве не чудо, что этот дом-башня, где

помещалась ее мастерская, не исчез с лица земли, когда все кругом рушилось и гибло. 113

— Спасибо, я очень вам признательна,— говорила она Трибелям, вежливо оттесняя их к двери.

Она бы и не заметила пропажи кое-каких мелких вещей из своего шкафа, если бы не встретила несколько недель спустя Красную Софию и не увидела на ней поразительно знакомых туфель.

В последние годы войны она испытывала еще неведомое сумеречное состояние души. С отличием окончив высшее училище, она уже была автором нескольких картин, приобретенных художественными музеями: натюрмортов, пасторальных пейзажей, видов Балтики, детских портретов — весь этот мир дышал удивительной безмятежностью. Теперь ничего подобного не получалось. Прежняя, такая бестревожная жизнь ушла безвозвратно. Дом в Зандберге, доставшийся в наследство от родителей, стал для нее единственным прибежищем. Она копалась в саду, что-то сеяла, полола, а свободные часы проводила в тупом бездействии: к живописи и рисованию не чувствовала ни малейшей тяги, для такой работы нужна спокойная рука.

В этих краях она свела знакомство только с Трибелями. Чаше других к ней приходила Кэте, их дочь. Вместе просиживали часами, но говорили мало.

— Я помолвлена с одним солдатом,— как-то сказала Кэте.— Жду каждый вечер.

Иногда они ходили в деревню, выпрашивали чего-нибудь съестного. Фее везло больше благодаря привлекательной внешности, но она всегда делилась с Кэте, которая готовилась стать матерью. Однажды вечером, заслышав рокот мотоцикла, она сказала Кэте:

— Сегодня у меня будут гости.

Звук мотора мерещился ей с первого же дня, как переехала в Зандберг. Она все ждала возвращения кого-то или чего-то, ждала какого-то события, которое вырвало бы ее из тревожного одиночества.

Когда Кэте ушла, перед домом между елями появился молодой солдат.

— Кто это был? — спросил он, заходя в дом.

— Моя подруга,— успокоила его Алексис,— она никому ничего не скажет.

Было совершенно очевидно, что человек, сразу же напавшийся наверх, в мастерскую, захочет сохранить свой визит в тайне. Он предупредил:

— Если кто-нибудь пронюхает, нас обоих арестуют.

Его интересовали две вещи: гражданская одежда всех

114 видов и лак для мотоцикла. Надо было сменить военную окраску. Ждать он мог не дольше, чем до послезавтра. А вообще, чем скорее, тем лучше.

— Костюм висит в шкафу,— подсказал он, ограничившись лишь этим намеком на свои прежние посещения мастерской.— Надеюсь, вы, как художница, сумеете раздобыть немного краски.

Она кивнула, подала на стол какой-то еды. А на следующий день съездила в город и обменяла там старую лисью шкуру на несколько банок красного лака.

И снова она ждала и ждала, прислушиваясь к грохоту орудий, который день ото дня становился все явственнее и ближе. Ей бы хотелось, чтобы он стал еще оглушительнее. Она стояла у окна своей башни и жадно смотрела на восток, на озаряемый вспышками горизонт. По ночам она ловила каждый звук, почти не спала, всякое непродолжительное затишье нервировало и пугало ее, она боялась, что фронт отодвинется или обойдет Зандберг стороной. Днем, горя от нетерпения, она по нескольку раз подбегала к воротам сада, удрученно бродила вокруг дома, почти перестала спускаться вниз, в деревню, за продуктами для подруги. Даже эти короткие отлучки, как и намеки Кэте, что ее солдат тоже нуждается в гражданской одежде, мешали главному ее занятию — чуткому ожиданию перемен.

Наконец неподалеку от дома разорвалось несколько снарядов. Оконное стекло, у которого стояла Фейя, разлетелось вдребезги. Но она не шелохнулась, пока не увидела на горизонте танк. Сообразила, что он еще очень далеко, и решила не терять времени — убрать осколки и приколотить к окну кусок плотного картона, на котором обычно набрасывала эскизы. Она достала костюм, отыскала нижнее белье отца, поставила на стол банки с лаком, выбрала подходящую кисть и, когда он подъехал и спрыгнул со своего мотоцикла, уже стояла в дверях.

Это было счастливейшее мгновение в ее жизни. С тех пор запах лака, смешанный с парами бензина, стал для нее запахом счастья. По мосткам солдат вкатил мотоцикл в мастерскую, быстро перекрасил его и ненадолго остался в доме, дожидаясь, когда высохнет лак. Но вышло так, что задержался он дольше, чем предполагал. Они много говорили, ели, выпивали и вместе провели ночь. Солдатскую форму с пятнами от лака и солярки на третий день он сжег в печке. А той ночью, разбуженный стуком в дверь, вскочил, быстро облачился в чужой костюм и вывел мотоцикл на улицу. Внизу стояла Красная София. Задрав голову вверх, она крикнула художнице:

— Опасность миновала! Спасибо за помощи!

Фея смотрела, как они уезжают на мотоцикле. Среди сосен мелькало ярко-красное крыло: в городке нашелся лак только красного цвета.

— Цвет какой-то дурацкий, дразнящий, как на пожарной машине,— сказал ей солдат, который, впрочем, остался доволен видом своей машины.

Светило солнце, мотоцикл скрылся в облаке пыли у изгиба горной тропы. Стоял погожий майский день, земля давно уже отогрелась, от нее шел весенний дух, кое-где проклюнулась зелень. На дорогах по склонам, сердито урча, ползли военные грузовики и танки.

33

Итак, вплоть до возвращения жениха Красная София играла роль тоскующей невесты. Потом она заявила:

— Нет, свадьбы не будет. Я придумала кое-что получше.

Она выполнила свое задание, счастливо избежала все опасности и лишь смеялась, глядя, как Гарри Скаландер то пристает к ней со слезными мольбами, то хватается за оружие, не в силах примириться со свершившимся. Когда красноармейцы уводили Гарри, она не чувствовала ни ненависти, ни сожаления, пожалуй, даже не сострадала ему. В доме фрау Скаландер она оставалась не более нескольких минут, после чего укатила на красном мотоцикле с Роландом Глэкнером, который давно уже сжег свою военную форму.

— Дальше давай! — кричала она.

— Куда? — спрашивал Роланд.

Она еще крепче обвивала его рукой и кричала:

— К тебе! Хочу остаться у тебя!

Но в Берлине, где он жил до войны, еще шли бои. Да и вообще у него ничего больше не было, кроме мотоцикла и этого костюма с чужого плеча. Он затормозил и беспомощно развел руками. София тоже ничего не взяла с собой. Оба чемодана с весьма скромным гардеробом и парашют остались в доме фрау Скаландер. Но ей так не хотелось возвращаться, ее угнетал один только вид деревни, где ее считали чужой, презирали, ненавидели и отказывали в приюте. Ведь она еще не успела стать ни переводчицей, ни помощницей коменданта, ни бургомистром. Она чувствовала себя свободной, возвратившей все долги. Не думала ни о победных фанфарах, ни о предстоящих награждениях, ни о разговоре с начальством, которое могло либо направить

116 ее в другое место, либо оставить здесь, в Зандберге, в этом ненавистном уголке немецкой земли, откуда она только что вырвалась.

Солнце светило вовсю. Над горизонтом плыли легкие курчавые облака. Иногда слышался отдаленный гром артиллерии и скрежет гусениц, но все эти звуки слабели и как бы сходили на нет. Последний отголосок войны казался уже чем-то призрачным и никого уже не пугал. По дороге тянулись колонны беженцев и раненых немецких солдат с апатичными лицами. Мимо них в обоих направлениях проносились грузовики с красноармейцами. В придорожных канавах валялись обгоревшие обломки автомобилей, ящики из-под боеприпасов, противогазные коробки, тряпье, облепленные мухами трупы лошадей. Возле сломанной повозки громоздилась груда домашнего скарба: коробка с книгами, кастрюли, стол, стул, резная кровать. Из перины снежными хлопьями сыпались перья и пух.

— Как ты считаешь — что нужнее всего человеку? — спросила София.

Роланд Глэкнер остановил мотоцикл и махнул рукой в сторону видневшейся в долине деревни:

— Вот все, что нам нужно. Я, например, хочу есть. А ты?

Она кивнула. Уже наступил полдень, а утром они ничего не ели.

— Наконец-то мир, — сказала она. — Ты прав, мы можем подумать и о себе. Ведь мы победители.

— Нет. — Он смущенно покачал головой. — Я к ним не отношусь. Хорошо, хоть я имею отношение к тебе, по крайней мере — пока нравлюсь.

Не глядя на нее, он прыжком оседлал мотоцикл, нажал на педаль и так рванул с места, что не мог разобрать слов усевшейся сзади Софии. Деревня обтекала их с двух сторон. Мелькнула фигура красноармейца, голосовавшего возле указателя с надписью: «Зандберг». Завидев бешено мчавшийся мотоцикл, бросилась врассыпную стайка мальчишек. Потом, сливаясь в почти непрерывную линию, замельтешили дома с закрытыми ставнями и белыми флагами на крышах, а вместе с ними — куры, утки, твякающие собаки. Какой-то старик взобрался по лестнице на крышу гостиницы и укреплял там красный флаг. Это был старый флаг, с которого свели свастику. Тут бешеная гонка и закончилась, — в баке не осталось ни капли бензина.

— Пустяки, — сказала София. — Прорвемся!

— Эй, — гаркнул Роланд, барабанив в дверь гостиницы. — Открывайте!

На старика, несколько раз крикнувшего им: «Закрyto! Нет товара!» — он не обращал никакого внимания. А между тем из-за двери доносился звон и грохот, будто там колотили посуду. Неожиданно возле них оказался красноармеец, мимо которого они промчались на мотоцикле. Он был сердит и, ругаясь, размахивал автоматом. София сказала ему что-то по-русски и протянула руку, уже через минуту она со смехом освобождалась из его объятий.

— Нацистов здесь нет, ни единой души, — пробормотал старик и снова полез наверх.

Шум в доме не унимался. Даже сквозь закрытую дверь можно было почувствовать запах вина и всевозможной снеди.

— Я очень не прочь выпить, — сказал Роланд Глэкнер. — Отпирайте!

Красноармеец стукнул сапогом в дверь, громко и повелительно крикнул и выстрелил в воздух. Произошло чудо: старик проворно спустился с лестницы и открыл дверь. Они заглянули в вестибюльчик и увидели бельевую корзину, полную пустых бутылок с отбитыми горлышками, а водосточная раковина еще с хлюпаньем всасывала красное вино.

— Ну и дела! — изумилась Красная София. — Вы что, с ума сошли, хозяин?

Роланд Глэкнер смочил пальцы в вине, поднес их к носу и покачал головой:

— Ну не грех ли? Это же преступление, черт возьми! Красноармеец кричал:

— Фашист! Все капут! Вино капут!

Старик куда-то исчез, однако тут же появилась толстая, но подвижная тетка. Ее правая рука вместе с рукавом была вымочена в крови. Она заплясала вокруг красноармейца, пытаясь оттеснить его подальше от зала, и на ходу шепнула Красной Софии:

— Уж лучше я все разнесу вдребезги. Лучше дам себя убить. — Она вцепилась в куртку Роланда Глэкнера: — Отдайте ему мотоцикл, отдайте, и он смотается к чертям собачьим.

У стойки еще оставался один ящик коньяка. Тетка всячески старалась заслонить его своей фигурой, но красноармеец не зевал, он уверенно двинулся к стойке.

— Нет, нет. Так не годится! — кричал старик, снова вдруг оказавшийся в зале.

Красная София смеялась от души. Они с Глэкнером сели за столик и заказали себе обед с коньяком.

— Музыку не забудьте! — распорядилась она. — Тащите сюда радио! Иначе я добью все, что здесь осталось.

Просидели до самой ночи. Ели, тянули коньяк, распевали песни, соперничая с ревом радиоприемника. Хозяйка услужливо хлопотала вокруг стола, исполняя все приказания Софии. А потом даже начала упрашивать:

— Фройляйн, останьтесь, пожалуйста. Побудьте подольше, иначе все пропало.

С широко раскрытыми глазами она наблюдала, как Красная София танцует с Роландом Глэкнером и с красноармейцем.

— Танцуйте, фройляйн, танцуйте, — шептала хозяйка. Потом проворно схватила оставшиеся бутылки, украдкой шмыгнула в вестибюльчик и разбила их в раковине.

— Стой! — крикнула Красная София, но уже было поздно.

Красноармеец поднял свой автомат, пальнул в потолок, засмеялся, выпил еще рюмку и спокойно уснул прямо за столом. С его головы сползла пилотка. София взяла ее и надела на Роланда Глэкнера.

— Тебе идет, — сказала она.

— Фройляйн, оставайтесь, — шептала хозяйка. — Можете находиться здесь сколько хотите. Без вас я бы этого не вынесла.

И еще какое-то время раздавался этот шепот, заглушаемый шагами, звоном посуды, музыкой, льющейся из динамика. Потом наступила тишина.

— Нам пора, — сказал Роланд Глэкнер.

Хозяева, вероятно, отошли ко сну или просто покинули их компанию. Красноармеец крепко спал. Взявшись за руки, они стали обходить дом, открывали дверь за дверью, заглянули в опустошенную кладовую, поднялись по лестнице, постояли в спальне, обставленной белой лакированной мебелью, поглядели на супружеское ложе с целой горой подушек. Красная София повалилась на кровать и, сияя от счастья, воскликнула:

— Вот наше свадебное ложе, Роланд! — А когда он подошел поближе, притянула его голову к подушкам и шепнула: — Мы остаемся здесь.

Наутро им показалось, что они в доме одни. Хозяева полностью очистили все другие комнаты и старались, чтобы о них забыли. На двери висела табличка: «Нет товара. Временно не работает». Красноармеец, видно, давно ушел. На столе, за которым он сидел, лежал недоеденный бутерброд и стояла бутылка с отбитым горлышком — последний остаток винных запасов.

Волшебные речи Феи. Многозначительные изречения старого Левке. Провидец Вару со своим пронзительным взглядом. Он все еще красовался на афише! Я повернулся к нему спиной и пошел купаться. С каждым взмахом рук я все дальше уплывал от берега. Вскоре смутно различал покачивающиеся на волнах лодки, уток, видел над собой самолет, блеснувший в разрыве облаков. Все, что осталось за спиной, больше не волновало меня: слова — это только слова, я не желал ни пробовать их на вкус, ни ломать голову над их смыслом. Сегодняшний день вобрал в себя что-то от прошлого, это были дела, и ничего больше. Пару часов я пролежал на солнце среди камышей крохотного мыса, за это время успел заснуть и проснуться. Фея говорила мне:

— Я ненавидела Красную Софию, а того человека любила больше жизни. Я его и теперь люблю, несмотря ни на что. Уходите, — он идет!

Когда Красная София парила в ночном небе, Роланд Глэкнер потихоньку выбрался из барака, где жили зенитчики, вышел на берег озера, прорубил полынью и забросил удочку. Он ненавидел унылую солдатскую жизнь, ему обрыдли рытье окопов и бесконечные упражнения. И он пользовался малейшей возможностью хоть на пару минут выйти из опостылевшей военной игры. Ясной зимней ночью он заметил приземляющийся парашют, увидел, как тот скрылся за камышами, не больше чем в ста метрах от проруби. И даже в тот момент, когда он вытащил Красную Софию из воды, бросил ей свою шинель и увидел обнаженную фигуру парашютистки, он не мог толком решить, что ему делать. На рыбалке придется поставить крест. Унтер-офицеру, который покрывал его отлучки, он уже не принесет ни одной рыбешки. Но это еще не самое страшное, это суший пустяк по сравнению с той опасностью, которой он себя подвергал, находясь здесь, возвращаясь сюда, уклоняясь от доноса и помогая вражеской лазутчице. И лишь вечером, когда они ехали на мотоцикле вверх по зандбергской дороге, когда чужеземка сидела у него за спиной, вцепившись ему в руку и прижимая к себе парашют, он понял, что пути назад уже нет, что фортуна выкидывает коленце, чреватое непредсказуемыми последствиями.

— Давай уедем, — предложил он ей спустя несколько дней. — Скоро я рехнусь от ожидания.

Как связному зенитной батареи ему полагался мотоцикл. Он хорошо знал местность, мог отыскать дороги, не

120 перекрытые постами, у него на примете были и глухие уголки в лесу, и отдаленные деревни, и лодочные сараи, и пустующие дачи, которые он успел обследовать на случай, если придется искать укрытие.

— Еще не время,— отвечала она и просила его потерпеть.— Погоди немного: кончится война — и весь мир будет наш. Ведь мы победители!

А потом — это был уже май сорок пятого года — они заехали на мотоцикле в деревню Кляйн-Айххольц. Там и забавлялись пилоткой, оставленной красноармейцем, шатались по деревне, осматривали окрестности. Красная София или Роланд Глэкнер — в зависимости от того, на чьей голове была пилотка,— могли получить от крестьян все, что хотели: продукты, выпивку, одежду, даже бензин, которого хватило бы на поездку в Берлин, где только что стихли бои. Но Красная София сказала Роланду Глэкнеру:

— Я должна отметиться в нашей комендатуре. Мне бы давно надо было это сделать. А ты пока можешь пожить тут.

Он спросил:

— Неужели тебе охота возвращаться в Зандберг?

Она мотнула головой:

— С чего ты взял? Просто мне надо оплатить пару счетов и забрать свои вещи. А там — поминай как звали!

Сияющий красным лаком, натертый до блеска мотоцикл с полным баком бензина и новыми покрышками стоял посреди танцзала, рядом с ящиками из-под пива и коробками, полными битого стекла. В зале сидел пес, брошенный бежавшими хозяевами. Иногда по вечерам Роланд Глэкнер надевал красноармейскую пилотку, выводил мотоцикл, отвязывал пса и разрешал ему бежать следом за собой во время неспешных поездок в Зандберг.

— Ну и что же дальше? — спрашивал он у Красной Софии, которую капитан без проволочек определил в комендатуру.

— Думаю, что это ненадолго,— уклончиво отвечала она.— Придется помогать здесь, пока не прибудет переводчик.

Ей досаждали самоуверенность и беспечный смех Роланда Глэкнера, когда он с пилоткой на голове находил развлечение в том, чтобы наблюдать, как пес бросается навстречу Софии, чуть ли не валяя ее с ног.

— Будь осторожнее, иначе все загубишь,— просила она.— Придет время, и мы позаботимся о себе. Теперь уж скоро.

Зандберг не давал ей передышки: красноармейцы, во-

еннопленные, иностранные рабочие, переселенцы и крестьяне — все одолевали Красную Софию вопросами, жалобами, просьбами и заявлениями. К ней обращались как к единственному человеку, способному что-то понять в многоязычном хоре голосов. Капитан доверял ей. Она знала почти всех деревенских и даже беженцев, осевших в этих местах. Он привык советоваться с ней и вскоре уже не принимал без нее никаких решений. Он посылал ее в соседние деревни с инструкциями и распоряжениями, поддерживал и утверждал ее идеи, ее самовольные действия. И дело дошло до того, что этот маленький мир все больше и больше попадал под диктат ее воли.

Вечерние свидания с Роландом Глэкнером сводились теперь к разговорам на ходу, к беглым обещаниям, к рукопожатиям или мимолетным объятиям. Вечно ее ждала какая-нибудь машина, чтобы отвезти в районный центр, в соседнюю деревню или в Берлин, где всегда находились люди, готовые принять ее в свою компанию, угостить и поболтать о том о сем, не натываясь на языковой барьер. Случалось, что дружеские вечеринки устраивались прямо в комендатуре, и, конечно, там царила Красная София. Ее приглашали не только для того, чтобы осыпать комплиментами. От ее темперамента заряжалась атмосфера сумбурных задушевных разговоров, без нее не мыслились ни решение служебных вопросов, ни многочисленные здравицы в честь победы. Разгоряченная вином и танцами, она иногда выбегала из-за стола и припускала по дороге, ведущей в гору. Она находила удовольствие в том, чтобы слегка разыграть капитана или других офицеров, которые не хотели отпускать ее без провожатого. Спрятавшись где-нибудь среди сосен, она слушала, как выкрикивают ее имя, стреляют из пистолетов; видела вспышки ракет, озарявших склон, — персональный салют в честь Красной Софии.

Когда шум утихал, она подолгу стояла на горе одна, глядя в пространство, которое она мысленно заключила в круглую рамку: деревня, засыпающая там, внизу, а рядом еще дюжина деревень, поля и темные острова леса — ими кормились не больше тысячи человек, — дороги, бесконечно ветвящиеся и сливающиеся друг с другом, — они соединяли этот маленький мир со всем белым светом.

— Я беременна, — призналась она Роланду Глэкнеру, когда тот, теряя терпение, начал настаивать на отъезде.

Когда же окончательно уверилась в этом, ее словно подменили. Все прежние планы и обещания были забыты. О Зандберге она стала говорить так, будто всегда хотела

122 прочно обосноваться здесь. София не пыталась перечить лысому капитану, когда он внушал ей:

— Выигравший войну должен быть начеку, чтобы не проиграть мир. Он всегда на посту, он должен знать, как много от него зависит.

Красная София присматривалась к пустующим и конфискованным домам, но ни один не приходился ей по душе. Хотя она с поразительной увлеченностью раздобывала мебель, ковры и домашнюю утварь, обставляла комнаты по своему вкусу, месяц-другой жила в них, пока не находила что-нибудь новенькое. Ей хотелось обустроить свое жилище до рождения ребенка, хотелось обеспечить себе не только крышу над головой, но и надежный покой, оградить себя от всяких новых встрясок и приключений, которые сулил ей Роланд Глэкнер.

С ним она выезжала все реже. Ее смущала пилотка с красной звездой, напоминавшая о полузабытых ночах, откровениях и грезах в той деревенской гостинице. Это были именно грезы — ни больше ни меньше.

— Выбрось ты это из головы. Сумасшедшее было время,— просила она.

В ответ он только смеялся. Если у бензоколонок и в придорожных трактирах он не получал немедленно то, чего хотел, его выручал ломаный русский язык.

— Один раз живем-то,— говорил он и залихватски сдвигал набекрень пилотку. — С тех пор как тебя узнал, я живу под верной звездой.

Когда она хотела убежать, он удерживал ее. Мотоцикл валился набок, подмяв его левую ногу, он тотчас же вскакивал, не обращая внимания на разорванную штанину. Лицо его сохраняло невозмутимое выражение, хотя нога кровоточила. Теперь уже он отталкивал от себя Софию.

— Ты стала важной персоной, у тебя дел невпроворот! — кричал он. — А на меня наплевать?

Она жила в постоянном страхе, боялась, что он выкинет что-нибудь несуразное, что уедет, не простившись, проклинала мотоцикл и пилотку, которую когда-то в шутку надела ему на голову. Во время одного рейда, когда искали имущество вермахта и обнаружили огромное множество палаток, походных ранцев, маскировочных халатов, автомобильных покрышек, радиостанций и даже оружия, она с группой красноармейцев уже подходила к гостинице в Кляйн-Айххольце. Но в последний момент словно одумалась и сказала:

— Нет, тут брать нечего. Здесь живет один антифашист. Когда-то он здорово помог мне, иначе я бы пропала.

Ей пришла в голову идея найти для его поездок какой-то полезный смысл, авось у него изменится образ мыслей и он избавится от своей беспокойной неприкаянности. В комендатуре она придумывала для Роланда служебные поручения, наделяла его определенными полномочиями и посылала в соседние деревни, где он в любом случае мог действовать от ее имени. Позаботилась она и о материальной стороне: он обеспечивался продуктами, сигаретами, запасными частями и инструментами для своего мотоцикла — всем, что потребуется для такого рода экспедиций. Он ворчал и упрямился. Не так уж ему нравилось быть посыльным Красной Софии, но, поскольку работы по благоустройству деревни или ковыряние в земле на полях Кляйн-Айххольца нагоняли на него еще большую тоску, он поддавался на уговоры и ездил с поручениями. Кроме того, он не мог не чувствовать уважительного к себе отношения, когда появлялся в деревне таким эмиссаром Красной Софии и предъявлял крестьянам бумагу с печатью. Это радовало и поощряло его деятельную натуру, вскоре он и без пилотки поверил в собственную удачу и значительность. Роланд уснащал свою речь русскими оборотами, любил говорить о себе таинственными намеками, неизменно производившими должное впечатление.

Многие крестьяне заискивали перед ним, пытались даже как-то подольститься, совали ему копченые подношения из своих кладовых и называли его «геноссе» или «геноссе из комендатуры», а то и «товарищ офицер». Однажды он попал на свадебное гуляние и без долгих уговоров занял почетное место за столом. Не упустил возможности всласть угоститься, но чересчур усердно налег на вино и потому вскоре начал нести несусветную чушь, с бурным гневом пресекая попытки других гостей перебить его.

— Вы думаете, кто тут перед вами? — кричал он. — Вы разве не знаете: стоит мне пальцем пошевелить — и все здесь полетит кувырком. Почему не летит, раз я приказываю? Я приказываю! Я!

Это не могло не повлиять на его репутацию — начались разговоры. И когда бравый молодой человек надевал красноармейскую пилотку, кое-кто почтительно замирал на месте, но многие смотрели на это с недоброй усмешкой. Только Красная София решительно поддерживала его.

— Товарищ Роланд, — говорила она, — тот, кто предпочитает бояться нас, ничего иного и не заслуживает!

Фея была всему этому свидетельницей. Она искала встреч с Роландом Глэкнером, когда тот разъезжал по

124 округе на своем мотоцикле. Она вставала у него на пути даже поздней ночью, когда он возвращался от Красной Софии, хотя их свидания становились все реже. Потеряв счет неделям и месяцам, Фея не теряла надежды, она ждала Роланда и боялась за него. Она содрогалась от его смеха и грубости, когда, срывая мотоцикл с места, он кричал ей:

— Оставь ты меня в покое, и будь проклят этот покой!

35

В этот вечер ко мне пришла художница — Фея, чье изобразительное мастерство действительно граничило с чародейством. Она хотела взять обратно портрет маленькой Софии, взамен сулила золотые горы. Мне было обещано великое множество картин, одна другой прекрасней. Деревья, напоминающие сказочные существа; дети, танцующие под лампами; парящий в воздухе мальчуган в матросском костюме; пара влюбленных при свете уличного фонаря; поле, занявшееся всеми красками июльских цветов; свадебные процессии, плывущие на каком-то судне, а вокруг — пылающие солнца или луны при совершенно безоблачном небе.

— Возьми, что тебе нравится, — сказала она, — но верни портрет ребенка. Прошу тебя. Я и так слишком много тебе рассказала.

Сначала я подумал, что тут не обошлось без происков фрау Скаландер, но когда я назвал имя старухи, художница спросила: «Кто это?» И она не притворялась: тещу Красной Софии она не помнила, а о том, что эта дама вновь объявилась в наших краях, не знала или успела забыть. Ей понадобилось время на размышление, чтобы найти здесь какую-то связь.

— Вот поэтому, — сказала она уже с холстом в руках, — он и хочет взять его назад.

— Кто? — спросил я, заступая ей дорогу.

Она внимательно посмотрела на меня — брови удивленно изогнулись, но ответила не сразу. Ее губы были совсем пунцовыми от помады, волосы выкрашены в красноватый цвет. В своей короткой юбке и довольно тесном свитере она казалась девочкой, лицо которой горит от смущения или волнения.

— Ты же знаешь, — сказала она, — мы собираемся пожениться. Если только опять кто-нибудь не встанет между нами.

Она рассказала мне, что Роланд Глётнер работает в районном центре, в мастерской по ремонту мотоциклов, что его там высоко ценят и любят использовать в самых безнадежных случаях. Часто кто-нибудь за особое вознаграждение приглашает его выехать к месту аварии, чтобы спасти двигатель, сменить покрышки или устранить какой-нибудь мудреный дефект. Поэтому в Зандберге он появлялся чаще всего по ночам и мчался по темным улицам вверх по склону. Со всеми деревенскими он давно уже раззнакомился. Да и в дом художницы он, можно сказать, не заходил, а если была назначена встреча, предпочитал видаться с ней в сарае. Там он чуть ли не до рассвета ковырялся в моторах, коробках передач и прочих механизмах, там заново собирал целые мотоциклы — он любил время от времени менять машину. Роланд бредил мотогонками, но возраст уже не позволял ему надеяться на участие в соревнованиях. Тем не менее по выходным его неодолимо тянуло на трассы, где проходили мотокроссы. Гонщики преклонялись перед ним как перед специалистом, к его советам всегда прислушивались, иногда просили помочь.

— Но здесь его никто не знает, — сказала художница. — Он часто бывает в Зандберге, ходит теми же дорожками, что и мы с вами, но стоит к нему подойти поближе, как он сразу спешит укрыться в своей норе.

Для меня этот человек тоже был чужим и пришлым: ведь я знал большинство зандбергцев, включая и отпускников, которые отдыхали здесь не один год. Наверно, мы часто встречались с ним. Не так уж велики зандбергские просторы и не так уж темны здесь ночи, чтобы не заметить мотоциклиста, навещающего мою соседку, ходившего к ней, как к себе домой. Но никто его как будто не замечал, я не слышал, чтобы о нем говорили. За годы знакомства мы о многом толковали с художницей, но ни разу не коснулись в наших беседах этого нелюдимого чудака.

— Я бы хотел поговорить с ним, — сказал я, когда она стала настаивать на возвращении портрета. — Передам из рук в руки.

Но она лишь покачала головой:

— Оставь его в покое, так будет лучше. В его жизни хватало невзгод, и только теперь он научился не помнить про них. Единственное его желание — чтобы никто ни о чем не расспрашивал.

В какой-то момент мне показалось, что этот человек был чужаком и для Феи. Уж слишком много она говорила и вчера и сегодня. Создавалось впечатление, что она

126 не совсем уверена в своей правоте и хочет себя в чем-то убедить.

— Двадцать лет мы были в разлуке. Теперь я боюсь одного: что дверь снова закроется... еще на двадцать лет. Что же тогда останется в жизни?

Фея ушла. Я не стал ее удерживать. Картины лежали на моем письменном столе. Углубляясь в них, я мог сделать заключение, что искусство художницы все дальше отходит от ее жизни. В большинстве своем это были фантастические образы, не имеющие ничего общего с теми людьми, пейзажами и вещами, которые ее окружали. Мальчик в матросском костюме начинал свой полет с ветвей какого-то дерева, он устремлялся навстречу голым коричнево-зеленым холмам, прятавшим за собой отплавившее за день солнце. Столь же призрачны, парящи, эфемерны были другие сюжеты. И я понял, что художницу сковывал страх. Она боялась, что ей вдруг снова придется спуститься на землю, где ее ожидает уже изведенное одиночество среди ближних и откуда она опять попытается уйти в призрачный, беззаботный, ирреальный мир своих картин.

36

Но ведь тогда-то она жила самой что ни на есть настоящей жизнью, ощущала ход бурных событий и даже как-то участвовала в них. Рассказывать о них она могла бесконечно, и казалось, не было в ее жизни ничего более и значительнее. Я начинал понимать яркие и точные линии, по-новому видеть картины, рожденные не фантазией, а самой невероятной действительностью, так чувствительно дававшей себя знать, что не замечать ее было невозможно.

Фея жила уже здесь, когда лысый капитан сажал Красную Софию в коляску, на то самое место, откуда бургомистерша любила царственно править своими владениями, провозглашать и приказывать, откуда доносился то смех, то окрик. И все это часто на полном скаку, когда гнала лошадей прямо к горе либо в поле или на деревенскую улицу, где надо было отмотилизовать на работу нескольких мужчин или женщин.

— Товарищ София,— говорил он,— ты теперь бургомистр.

Старый Левке отказался принять этот пост, его примеру последовал Трибель, так же поступили еще два-три человека. Они стояли поодаль, шушукались, подергивали плечами. В сущности, они это предвидели, а может, им даже так хотелось.

— Кому не под силу нести камень, лучше всего оставить его на месте,— бормотал себе под нос старый Левке, попыхивая трубкой и прячась в клубах дыма, словно хотел стать невидимым.

Красная София сидела в коляске, и в то время, как все вокруг гомонили, плохо слушая друг друга, она не проронила ни слова. Деревня находилась в самом жалком состоянии, земля дичала, не было ни единого вспаханного клочка. А деревенские либо безучастно чего-то ждали, либо злословили и о чем-то просили, но никто не протянул ей руки, никто не сказал: «Ты здесь не одна». Красноармейцы уже грузились в машины, гудели моторы, слышались слова прощания — русские слова. Все обнимались, и деревня пустела на глазах. На улице одиноко стояла коляска с «комиссар-бургомистром». Покидая деревню, ей поклонился седой сержант. Это он прошептал, перекрестившись: «Святая София». Она от души расхохоталась. Командант легонько оттолкнул сержанта и крикнул в ее сторону:

— Красная Армия! Красная София!

Она видела, как, вздымая пыль, удаляются грузовики. В ушах еще звучали последние фразы: «Святая София! Красная София!» — и она думала о том, что здесь надо быть как можно более несвятой: твердой, холодной, бесчувственной, не знающей ни ненависти, ни любви, чтобы разрушить наконец старые стены, руины, господские службы, и само воспоминание о служении господам, развеять в прах все остатки проклятого прошлого. Но ей самой было еще не вполне понятно, зачем она сидит в этой коляске, ради чего осталась в этой деревушке, которая совсем недавно представлялась ей просто-напросто крохотным пятнышком на карте генштаба, стратегической точкой во вражеском стане, местом приземления, нелегальной работы и томительного ожидания дня полной победы. Она сделала свое дело. Она была первой, кто вызвался помогать коменданту. А теперь он бросил ее здесь одну, и она во второй раз оказалась на затерянном, отдаленном посту, окруженная неприязнью или даже ненавистью, плохо защищенная от вражды одних и от убийственного равнодушия других. Она была совершенно чужой в том мире, который еще раз предстояло завоевать, но уже без помощи оружия и не на время, а окончательно, навсегда.

Под сиденьем коляски, на котором она возвышалась, лежал автомат. Она охотно извлекла бы его на свет божий, побаловалась бы огнем, чтобы слегка припугнуть глазееющих на нее крестьян, которые не желали пальцем

128 о палец стукнуть и уже распускали слухи о якобы скором приходе американцев и связанных с этим переменам в жизни.

Комендант серьезно и торжественно говорил ей:

— Ты представляешь здесь Красную Армию, мир и социализм.

Применение оружия допустимо лишь в крайних случаях, если дело дойдет до открытой борьбы не на жизнь, а на смерть. А такая борьба пугала ее куда меньше, чем исподтишка наносимые удары и затаенная злоба. Она отлично понимала смысл язвительных поучений старого Левке: «Если мышь сыта, ей мукá не сладка». С немалым усилием София сдерживала себя, ей хотелось ввязаться в драку, отвести душу бранью, до смерти загнать лошадей, понуро топтавшихся возле коляски и щипавших клочки травы на скудной земле Зандберга. А на эту землю, кормившую горстку людей с тупыми лицами, она променяла свои замыслы и мечты. Вцепившись руками в поводья, она всем телом подалась вперед, в сторону деревьев, за которыми скрывалась вереница грузовиков, но тут же опустила глаза, чтобы избежать соблазна и — в конечном счете — своего поражения. Ведь пуститься вслед за другими, не овладев этим пунктом, означало бы капитуляцию, а ей было необходимо закрепиться здесь чего бы то ни стоило, прочно обосноваться в этих зыбучих тоскливых песках.

Колеса глубоко вязли в песке, копыта лошадей поднимали вихри желтой пыли. Каждое движение, каждый шаг, даже просто усилие устоять на месте давались тут с трудом. Каждый колосок, каждую картофелину приходилось отвоевывать у скудной земли. Деревьям требовались десятки лет, чтобы подрасти на каких-нибудь пару метров. Лес, переживший не одно поколение людей, перемежался километровыми пустошами, казалось, он выкошен пулями и снарядами, он был весь обуглен и завален мертвыми деревьями. И ни одна рука не потянулась за инструментом, чтобы разобрать этот хаос, никому и в голову не приходило, что это имеет смысл. Мало-помалу принимались за дело. Привели в порядок две-три дороги, засыпали воронки в деревне и убрали противотанковые заграждения. Где-то позвякивала лопата, какой-то старик перекапывал сад. Возвращался запах жилья, уютно задымили трубы домов. Люди собирали обгорелое дерево, стряпали, втягивались в обычные житейские хлопоты. Деревня не была мертва. Несколько женщин смотрели на нее из окна, а может быть, не на нее, а на мужчин, собравшихся вокруг старого Левке. Она была просто обязана что-то сказать, она крепко

запомнила слова коменданта, уже пропавшего из виду вместе с колонной. «Врагов ты должна сделать друзьями,— сказала она себе. — Сейчас они побежденные, а надо, чтобы стали победителями». Но она не сумела выдавить из себя ни звука, истуканом с одеревеневшими губами сидела она в коляске, туго, до боли, накрутив на руки вожжи. Ей послышался отдаленный, но нарастающий звук мотора. Это была не красноармейская колонна, это рокотал мотоцикл, одиноко петляющий где-то на ближних дорогах, а может быть, вокруг горы. Догадка. Радостное предчувствие. Она рванула вожжи, и лошади тронулись рысью, не ведая цели. А по лицу у нее бежали слезы, она напряженно смотрела вдаль, вслушиваясь, и наконец, осадив лошадей, крикнула: «Роланд!» Но ничто не нарушило ее одиночества, не укрепило надежды. Ни единого звука в ответ. Снова она рассекает морозный воздух, падая с неба — с неба своей мечты — на ледяную землю чужбины. Только на сей раз никто не спасает, никто не спешит на помощь.

Она повернула лошадей к деревне и поехала уже спокойнее, ровнее. Конечно, она понимала, что понадобятся годы и десятилетия, чтобы мечты воплотились в жизнь, и, возможно, на все это время она приговорена к одиночеству. Но деревня лежала на пересечении множества дорог, и София еще видела колею, оставленную машинами красноармейцев, и ничто не мешало ей двинуться по этому следу. Только назначенное ей дело заключалось в том, чтобы среди песков построить лучший мир, по крайней мере малую его частицу. Ради этого она жила, тратила свою любовь и свою ненависть, ради этого оказалась в ледяной пустыне, когда кто-то незнакомый вытащил ее из воды и спросил: «Ты от русских?» Теперь ей уже не казалось несправедливым, что снова стоит одна у начала всех начал. «Будем начинать сызнова», — сказала она крестьянам, еще не успевшим разбрестись по своим углам. Они топтались на месте, лица были непроницаемы. И тогда она вызывающе рассмеялась и воскликнула:

— Баба я незамужняя! Имею шесть гектаров земли, разоренную деревню и нуждаюсь в мужчине. Хотя бы в одном!

37

Но прежде чем Красная София нашла себе мужа и взялась за всевозможные начинания, в Зандберге разразилась «картофельная война». Красная София выслала до-

130 зор, боевое охранение и сформировала «картофельные батальоны». Вокруг каждой кучки, сумки или мешка картошки разгорались жестокие сражения. Шли нескончаемые словесные бои, имели место случаи буйного помешательства, завязывались драки, в которых улица вставала против улицы. Бывали моменты, когда казалось, что ей неминуемо придется отступить с поля боя, оставив врагу пару центнеров полусгнившего семенного картофеля.

Автобусы и поезда ходили нерегулярно, а горожане прибывали целыми толпами и тащили с собой всякую домашнюю утварь. Торги начинались прямо на вокзале, на остановках, на перекрестках дорог:

- Меняю скатерть на яйца!
- Столовое серебро отдаю за хлеб!
- Две сорочки за десять фунтов картошки!

Утром, в полдень, вечером и даже ночью в деревню стекались мужчины, женщины и дети с бесчисленными сумками и рюкзаками. Были среди них вконец изголодавшиеся люди в лохмотьях, нищенствующие, изуродованные войной калеки, пронырливые спекулянты, которые не совались в первые попавшиеся ворота и во дворы с цепными псами, а имели дело с постоянной клиентурой. Шкафы и сундуки в крестьянских домах наполнялись добром, погреба, сараи и копильни с такой же быстротой пустели. А те, кто не хотел голодать, ссылались на норму госпоставок, кормились семенным и фуражным зерном, твердили Красной Софии про болезни коров, непогоду, дырявые крыши и вынужденный убой скота. Семенной картофель попридерживали. Но среди зимы, в самые злые морозы, некоторые крестьяне вновь лезли в свои кладовые, потому что за каждый центнер картошки им давали в среднем по триста марок и даже больше.

Так началась «картофельная война». Красная София призвала к себе старика Левке, Трибеля и других более или менее надежных людей и, надрывая глотку, стала убеждать их:

— Вопрос стоит так: жизнь или смерти! Следите за тем, чтобы ни одна картошина больше не уходила на сторону. Иначе на будущий год в земле останутся только камни. Камнями будем кормить и себя и город!

Толку от этих речей было, конечно, мало. Крестьяне изображали святую невинность, а кладовые продолжали пустеть. Старый Левке дежурил у автобусной остановки, Трибель — на вокзале. Они пытались разъяснить горожанам, что их продовольственные рейсы им самим же выйдут боком:

— Сейчас вы унесете кошелку, а она через год обернулась бы двумя центнерами хорошей картошки. Картошка должна быть в земле.

В ответ пожимали плечами и уезжали в город, увозя с собой тяжелые мешки и сумки. Потом горожане появлялись вновь с новыми вещами для обмена, шелестели сотенными купюрами, горько сетовали на отсутствие продуктов, а при необходимости разыгрывали душеспитательные сцены, окружая себя голодными ребятишками, судорожно обнимая грязные мешки, исторгая укоризненные вопли: «Неужели у вас нет сердца?» Старый Левке не выдерживал и отступал, он шел к Красной Софии, чтобы чистосердечно признаться:

— Не справлюсь я с этим делом... не могу. Мне легче подохнуть, чем вырывать картошку из голодных ртов!

Тогда София решила воздействовать личным примером. В течение нескольких часов она пробыла в самом пекле «картофельной войны», преисполнившись поначалу самым боевым духом. Но и ей не удалось устоять перед просьбами, слезами и душераздирающими заклинаниями. Когда какой-нибудь дядька, то взывая к сочувствию, то ругаясь и угрожая, вцеплялся в свой мешок или когда убогая старуха, плача, обвиняла руками свою кошелку, София чувствовала себя совершенно беспомощной.

— Оставьте их,— говорила она,— мы поступим иначе.

От нее не укрылось, как мимо остановки на полном ходу промчался автобус, по самые окна нагруженный мешками. Только стекла мешали им вывалиться наружу. Где-то среди полей его остановили спекулянты и под завязку нагрузили картофелем.

— Если так пойдет и дальше, в деревнях не останется ни картошины,— решила София.

Она связалась по телефону с бывшим комендантом, который служил теперь в гарнизоне, стоявшем в нескольких часах езды от Зандберга.

— Пришли помощь. Выручай. Иначе я пропала,— просила она.— Одной мне никак.

— Разве нет людей, на которых ты могла бы опереться? Ни одного товарища, ни одного друга?

Она в замешательстве помолчала и не очень уверенно ответила:

— Ладно, попробуем своими силами.

Тот же час она отправилась в Кляйн-Айххольц к Роланду Глэкнеру, которого уже почти потеряла из виду.

— Ты единственный мужчина, кого можно принимать

132 всерьез,— сказала она и бросилась ему на шею. — Неужели я не стою для тебя нескольких центнеров картошки?

На следующее утро Роланд Глэкнер на своем красном лакированном мотоцикле уже появился в Зандберге. Когда автобус с картофелем прокатил мимо остановки, Роланд поехал вслед за ним, обогнал и развернул мотоцикл поперек шоссе. Водитель затормозил. Какой-то тип с огромным мешком попытался улизнуть, другой, сев за руль, решил во что бы то ни стало провести автобус вперед, угрожая раздавить Роланда.

— А ну выходи! Давай! — крикнул Роланд по-русски.

Он надел свою пилотку и распахнул дверцу автобуса. Тут из мешка, который один из спекулянтов в ужасе выпустил из рук, как из рога изобилия, посыпалась картошка. Его напарник поднял руки и пролепетал:

— Ничего, кроме картошки... Не стреляйте!

На этом и закончилась «картофельная война». Ни один погреб, ни один сарай, ни одна кладовая не теряли больше своих запасов. Ни один человек, будь то мужчина, женщина или ребенок, не отваживался появляться в Зандберге с тарой для картошки. Роланд Глэкнер с Красной Софией и парой приятелей довольно громко отпраздновал в гостинице Кляйн-Айххольца свою победу. Отныне он именовался Красным Роландом, и кое-кто из крестьян окрестных деревень считал его более суровым и опасным, чем саму Софию. Другие же, наоборот, говорили о нем с похвалой и признательностью и за стаканчиком вина любили посудачить о бравой гусарской проделке, о тех десяти, двадцати и даже сотне центнеров картошки, которую якобы выгребли из автобуса, и о дрожащих от страха злоумышленниках с поднятыми руками, о том, как Роланд Глэкнер прогнал их в самом жалком виде через весь Зандберг.

38

Красная София сидела в графском кресле и, строго запретив называть себя «милостивой госпожой», подводила итоги зернопоставок. Она мало волновалась о том, как отнесутся крестьяне к введенному ею этикету, она ненавидела тупую покорность и не желала мириться с ней.

Пряжа — это хорошо, без пряжи дело не пойдет, и без овса с места не двинешься, молотилки тоже нужны позарез.

— Пусть за это возьмется Трибель,— говорила она,— может, и старый Левке подсобит.

Внешне она мало походила на беременную, но стала заметно спокойнее и уже не рвалась все делать своими руками. Иногда ее экипаж целыми днями простаивал зря, или же по ее поручению возница Шульте ехал куда-нибудь один, а София все больше посвящала себя «бумажному хламу», который раньше ненавидела всеми фибрами души, а случалось, что и просто сидела за столом, давая короткие советы и распоряжения забредшим в канцелярию крестьянам. Обедать ходила в ресторанчик, где у нее всегда был зарезервирован угловой столик. Если же кто-нибудь подсаживался и пытался завязать разговор, она отвечала неохотно и односложно, намекая, что время обеденное и она свободна от своих служебных обязанностей.

— Сюда ходят за тем, чтобы отдохнуть,— отвечала она, игнорируя располагающие к разговору любезности типа: «Добрый день!», «Приятного аппетита!», «Как поживаете?». Она закуривала сигарету и вставала. Кто-нибудь непременно пытался задержать ее, вечно находились неотложные дела: корова никак не отелится, надо бы послать за ветеринаром, нельзя ли коляску, да поскорее.

— Поезжай! — кричала она старому Шульте, который всегда был наготове. Но когда коляска почти скрывалась из виду, ее так и подмывало крикнуть: «Стой!» — неодолимо тянуло в Кляйн-Айххольц, к Роланду Глэкнеру.

Она бежала лугами к озеру, потом по лесной дороге и выходила на шоссе, ведущее напрямик в Кляйн-Айххольц. Быстрым шагом, почти бегом неслась она по жаре, пока ее не подсаживали на красноармейский грузовик. Солдаты дивились ее чистому русскому языку и явно не желали с ней расставаться, когда она просила притормозить у гостиницы.

— Давайте по-хорошему, товарищи,— просила она.— Здесь живет мой муж.

Не очень решительно входя в дом, она окликала своего друга по имени. Но в ответ не раздавалось ни звука. В помещении по-прежнему пахло водкой и пивом. «Этот запах неискореним»,— думала она, открывая дверь в зал, выглядевший таким пустым и заброшенным. Опрокинутые стулья лежали на столах, если не успели свалиться на пол, окна закрыты, но одно было распахнуто и стучало на ветру ставнями, наполовину задернутая штора трепалась на сквозняке. София замерла как вкопанная, когда услышала позади себя тяжелые и нетвердые шаги. Оглянувшись, увидела Роланда Глэкнера, который на ощупь выбирался из темного холла, на чем свет стоит проклиная того, кто тревожил его сон.

— Ты пьян,— сказала она, отступая на шаг.

Он прислонился к косяку, потом рывком подался вперед и двинулся на нее:

— Не смей так говорить со мной! Ты сама меня сюда заточила, сама!

Он медленно повернулся и пошел в танцевальный зал, где стоял мотоцикл. Взялся было за руль, но пошатнулся и, вероятно, упал бы, если бы его не поддержала Красная София — она успела вовремя подойти.

— Сейчас тебе нельзя ехать,— сказала она, крепко обхватив руками Роланда, пытавшегося вывести мотоцикл. Лоб у него покрылся потом, из последних сил одолел он несколько ступеней и поднялся в неприбранную комнату со старомодным супружеским ложем.

— Так оно и лучше,— бормотал он, лежа на широкой кровати.

София сидела возле него. Потом он пытался объяснить ей, отчего не может не пить. Сперва она только смеялась, слушая его речи. Почему он, собственно, должен жить по ее указке, неужели он не вправе распоряжаться собой и лупить с нерадивых крестьян молоко, хлеб, яйца и мясо? Хорошо, допустим, он разъезжал без ее ведома, без разрешения коменданта. Допустим, далеко зашел. Для этих скулящих хозяйчиков достаточно было нескольких русских слов, которые он сумел затвердить. Из погребов и кладовок он извлекал копченые колбасы, окорока, только что освежеванные туши, он умел находить съестные запасы даже в выгребных ямах. Стоило ему поставить у ворот мотоцикл и показаться в пилотке с красной звездой, насвистывая казачью песню, стоило лихо закусить окурочку сигареты и крикнуть русское «Давай! Давай!», как перед ним начинали юлить все, у кого нечиста совесть. Они путались в собственной лжи, проговаривались и в конце концов выдавали себя с головой. Он не любил лишних слов, а на попытки подкупа отвечал ударом кулака.

— Правильно,— соглашалась София,— в лайковых перчатках за такое дело не берутся.

— До чего противно,— говорил он.— Без пилотки, честное слово, они считали бы меня полным дерьмом... как раньше.

Водка затуманила ему голову, он сильно расчувствовался, начал вдруг вспоминать школьные годы, говорил про учителя, который презирал его за то, что отец Роланда — инвалид первой мировой войны — работал ночным сторожем. «Сторож» — это прозвище перешло и ему. Он уже заранее слышал в воздухе свист учительской трости,

когда в тетради появлялись пометки, и, сгорая от стыда, закрывал лицо руками, чтобы не быть этим самым «сторожем». Прозвище не отлипло от него и в годы учения подмастерьем в берлинской автомастерской. Это почти отбило у него охоту к ремеслу, а он больше всего на свете любил ковыряться в технике и самозабвенно занимался этим в полном одиночестве, чтобы никто не лез с поправками и насмешками, если что-нибудь не выходило.

— Сторож, уже храпишь, мне и отвернуться нельзя, — подначивал его мастер. — Ничего, в армии станешь бодрее, там тебя научат шевелиться, и, слава богу, не за мои деньги.

В гитлерюгенде на работах по трудовой повинности и в армии он уже был не единственным «сторожем». «Все вы тут сторожа», — ворчали большие и маленькие начальники.

И только когда он чистил им сапоги, доставлял на мотоцикле посылки их невестам или приносил в унтер-офицерскую несколько рыбешек после ночного лова, для него находили другое, более справедливое определение: «Глёрнер — расторопный малый!»

Красная София не мешала ему выговориться, излить душу в проклятиях. Он никогда не рассказывал о своей прежней жизни, и ей было даже неловко, что она так мало знала и никогда не расспрашивала об этом. Ведь, в сущности, она не знала его, хотя прониклась к нему доверием еще в ту ночь на озере и тем более в доме художницы, куда он приходил вновь и вновь, ни разу не намекнув на опасность, какой подвергался он сам. По сути, она и не задумывалась над его теперешним положением, как-то не принимала в расчет его душевное состояние — и когда поместила его в эту заброшенную гостиницу, и когда по собственной прихоти вызывала и отсылала его, и когда использовала в качестве курьера, прибегая к его помощи в самых тяжелых случаях, когда отчитывала и проклинала за малейшую попытку уклониться от поручений.

— Роланд, — сказала она, — дом почти готов. Скоро я заберу тебя!

Он поднялся, хотя был еще изрядно пьян, схватил ее обеими руками и оттолкнул от себя.

— Твой плодоносный живот, — сказал он, ткнув в нее пальцем. — Если б не это, ты бы давно послала меня ко всем чертям. Может, хватит, госпожа бургомистр!

Все это разыгралось в моем воображении, вобрав в себя бесконечную вереницу образов, диалогов, подробностей,

136 сцен; все это было версией или правдой, такой же, как кусок моей собственной жизни, которую я уже не мог и не хотел изменить. Я возвращал целому его нетронутую часть. Я смотрел и слушал, что будет дальше, не упуская, впрочем, из виду Зандберга и размытых непогодой следов. Самая длительная моя отлучка составила полдня: я ездил в Берлин, чтобы привезти с вокзала мою дочь Аню, но и эти часы показались мне вечностью. Три недели провела Аня в детском лагере и теперь ворчливо выговаривала мне:

— Ах уж этот Зандберг, жалкий домишко, гнилое болото. На Балтике куда лучше.

Я пытался ненавязчиво увлечь ее предметом моих мучительных мыслей, которые во время прежних бесед и не приходили мне в голову.

— Портрет мне вообще не нравится,— сказала Аня, увидев изображение маленькой Сони Скаландер.

А проржавевшую, изрешеченную пулями каску она бы с удовольствием выбросила в мусорную яму.

— Смотри, что я нашла! — просияв, воскликнула она и высыпала на мой письменный стол множество раковин, которыми были набиты ее сумочки. И запылившиеся материалы о Тридцатилетней войне покрылись песком Балтийского моря. Это был такой же песок, как и здесь, в Зандберге, только светлее и чище. Как будто там, откуда его принесли, история не оставила таких грязных, кровавых, пропитанных потом и смрадом следов.

Аня выбежала из дому, она уже спешила наверх, к фрау Трибель, и даже не оглянулась, когда я позвал ее. Куры, кошки, яблони, остроугольные дощатые домики, видневшиеся наверху, манили ее куда сильнее, чем то, что мог показать и рассказать я. Соседка не тяготилась ее присутствием, охотно возилась с ней и разрешала творить в саду все что вздумается. Сын фрау Трибель был женатым мужчиной, жил в Берлине и лишь изредка привозил сюда жену и ребенка. Поэтому двери в дом были открыты для всех детей, и никто не мешал им от души трясти фруктовые деревья.

— Аня! — крикнул я, заведя ее в гуще сливовых ветвей. — Не лезь так высоко! Слышишь?!

Но она не слышала, а я стоял у окна и, чувствуя нервный озноб, ждал, когда она слезет на землю. Фрау Трибель и фрау Скаландер сидели на скамейке перед домом. Аня не замедлила присоединиться к их компании и, конечно, не отказывалась от пирожных, лимонада, а может, и от шоколада из Юнгфернхайде (Западный Берлин). Я отвер-

нулся, убрал со стола Анины ракушки и живо представил себе, как она там заливает двум пожилым дамам насчет балтийского побережья и своей жизни в лагере.

Мне попались под руку старинные хроники, повествующие о Тридцатилетней войне, я поспешил отложить их подальше и взялся за книги, привезенные из Берлина, — современные романы и биографии — теперь для меня важнее именно они. Но и там не нашел ничего похожего на судьбу Красной Софии и замысловатую историю деревни Зандберг. Не помогли мне и экскурсии в прошлое далеких городов и континентов, где Красная София, по-моему, никогда не бывала. И, скользнув взглядом по забору, по кромке леса, по садовому участку Трибелей, по песку, желтеющему здесь на каждой дороге и тропинке, я вдруг ощутил, что жизнь Софии Скаландер в Зандберге — это нечто до боли близкое и четко очерченное кругом таких знакомых примет.

«Разве не могло быть так, — спрашивал я себя, — что она специально задержалась здесь — испытать свои силы на малом пространстве и начать дело, которому суждено разрастись и завершиться в других местах?»

Она кипела энергией действия, ее целиком захватывали идеи, мечты, надежды. И эта безудержность становилась почти опасной. Не могла она с овечьей покорностью ждать, когда в лесной глухомани ей рухнет на голову занявшаяся огнем крыша. Ничто не говорило об ее отступничестве, ни малейшего признака усталости или смирения; причин для бегства попросту не было, а сдаваться или сводить счеты с жизнью — так противоречило ее характеру. Напротив, все, что мне удалось здесь узнать, опровергало легенду о ее бурном старте и конечном крушении. Следы терялись в здешних песках, но все сделанное и выведенное ею из застоя продолжает свое движение. Планы обрели плоть и образ, в них я все явственнее узнавал ее собственные черты, ее собственное лицо: большие глаза с брызжащими из них лучами. Так дети обычно рисуют солнце.

Наступил вечер, стемнело, но Аня все не возвращалась. Я постарался забыть все тревожные мысли, отложил книги, вышел на улицу и стал подниматься к тесовому лабиринту Трибелей.

— Господин учитель, составьте нам компанию! — закричала фрау Скаландер. Из крошечных окошек лился свет на скамейку, на которой между двух дам сидела Аня и гладила кошку.

— Уже пора, — сказал я, стараясь не поддерживать разговора, заведенного фрау Скаландер. Она стала меня рас-

138 спрашивать насчет Рут: не слишком ли моя жена медлит с отпуском и неужели не может разок поторопиться ради собственной дочери? Аня уже клевала носом, через силу оторвавшись от кошки и какого-то шитья.

— Мне у них куда больше нравится,— сказала она, когда мы подходили к своей калитке.— Ты никогда не рассказываешь мне сказок.

Мне очень захотелось опровергнуть это заключение, и я сел на кровать, куда она забралась со своей тряпичной кошкой и детским горем, призывая себе на помощь и маму и все на свете, в том числе живых кошек и двух пожилых соседа.

— Послушай, Аня! — сказал я, начиная рассказ о Красной Софии.

Тут уж я дал волю фантазии. Зандберг, фрау Скаландер и этот дом не играли особой роли в моем рассказе. Я не хотел, чтобы девочка связывала с нашим домом полные драматизма события, и перенес их в некие сказочные дали. Парашют я превратил в привязной аэростат, разукрасил его пестрыми нашивками и флажками, по воле ветра пустил его над лесами, морями и горами в сторону других континентов, где люди говорят на чужих языках. Но своими большими глазами Красная София обзревала всю землю, она сразу же замечала малейшую несправедливость. И если кто-нибудь кого-нибудь обманывал или унижал, ей это тут же становилось известно: ведь она знала иностранные языки. Заметив, что на земле творится зло, она моментально приземлялась и всячески защищала добрых людей. Я продолжал рассказывать, не заметив, как Аня уснула. Накопившиеся в памяти легенды, которые я когда-либо слышал или выдумал сам, находили выход в этом рассказе. И все, что разыгрывалось в моем воображении, постепенно возвращалось с отдаленных берегов на крошечный клочок земли, на котором стоял дом, где мы были с Аней.

40

Красный мотоцикл кружил вокруг Зандберга, на нем сидели Красный Роланд и Красная София. Когда они встретились у чугунной решетки бывшего графского имения, она сказала:

— Поехали, покажу тебе наш дом.

Но он дал понять, что его это мало интересует: помчался совсем в другую сторону и остановился у озера, где она когда-то приземлилась. Роланд прислонил мотоцикл к дереву и сказал:

— Вот бы где тебе дом поставить.

Она его поняла, и хотя он никогда еще не поминал того утра, София знала, что он часто думает о нем. В те времена они не строили никаких планов, их помыслы не простирались дальше ближайшего часа или завтрашнего дня. Но, думая друг о друге, они не допускали мысли, что даже смерть может разлучить их. Довольно было мгновенного взгляда на берегу этого озера, изменившегося выражения ее испуганного лица, поворота головы, когда он снова вернулся к мотоциклу, достаточно было услышать его скупые и четкие слова, чтобы их навсегда связали доверие, надежда и любовь.

— Ну, поехали,— сказала она, имея в виду дом, где поселится с ним навечно. Она обняла его за плечи, прижалась к нему и зашептала: — Я хочу только тебя, тебя, и никого другого.

Они приехали. Он быстро обошел все комнаты, скользя по ним беглым, не очень внимательным взглядом. Потом подошел к окну и показал рукой на видневшиеся за лесом крыши Кляйн-Айххольца. Из окна ясно просматривалась гостиница, его прибежище.

— А почему бы не жить там? — спросил он. — Если бы ты почаще у меня бывала... Но тебе все хочется забраться повыше.

Стены в новом доме были еще не оштукатурены, в них пестрели разномастные кирпичи, собранные где попало. Между каркасными балками были ловко вкраплены прокопченные дымом пожарищ камни. И большой, только что подведенный под крышу дом среди леса казался вызывающе солидным.

— Мне это не нравится,— сказал он,— когда ты здесь появилась, ты ни о чем таком не думала.

Она смущенно и даже растерянно смотрела на него своими большими глазами и как-то неопределенно кивнула, не зная, что отвечать.

— Тебе наверняка будет здесь хорошо,— уклончиво сказала она.

Ей не хотелось смешивать прошлое с настоящим и омрачать радость, которой жила в эти часы. Она шла на любую хитрость, не жалея сил, чтобы какой-нибудь несчастный кирпич, извлеченный из берлинских руин и развалин полуразрушенных заводов, был доставлен на строительство ее дома. Часто она занималась этим собственноручно, взгромоздив на свою коляску то мешок цемента, то годное в дело бревно. И лишь одна мысль всецело владела ею: приблизить тот час, когда они с Роландом войдут в новый дом

140 и она услышит наконец от него слова: «Да, здесь мне хорошо».

Но он ничего не сказал, лицо его оставалось равнодушным, он вышел из дома и начал ковыряться в своем мотоцикле. Она стояла у двери и молча смотрела на заросшую кустарником просеку, на пни и поваленные деревья, на недавно протоптанную тропинку, на гостиницу там, у деревенского пруда, на чернеющих вдалеке коров и уток. Погода стояла дождливая. Рабочие, которые должны были штукатурить дом, почему-то не пришли. Вместо них появлялись какие-то неизвестные личности, таскавшие все, что плохо лежит, и даже пытавшиеся сломать то, что было уже построено.

— А ты даже пальцем не пошевелил. Как будто тебя не касается! — кричала она на Роланда.

Искореженные оконные рамы стояли прислоненные к стене с жирным крестом свастики. Почти все стекла были разбиты, в них бросали камнями, они стали мишенями зависти и злобы. Взбешенная равнодушием Роланда, она схватила кусок стекла и швырнула его в окно. Услышав звон осколков, ругательства и звук приближающихся шагов, на мгновение зажмурила глаза. Но когда увидела, что Роланд невредим, крикнула: «Прости!» — и побежала навстречу.

— Подумаешь — дом. Да мне наплевать на него. Ты же знаешь!

Пора радости миновала, ее больше не волновали бесчинства грабителей и гнусных маляров, которые вскоре в крошку размолотили всю черепицу. «Покроем соломой», — говорила она. Но к довершению всех бед загорелся грузовик, на котором привезли солому. Ее облили бензином и подожгли. София даже не смотрела на землю, покрытую слоем легкого и еще теплого пепла, припорошившего грязь вокруг дома. «Едем к тебе», — сказала она, и теперь ничто ее не интересовало, кроме остатка этого дня, ближайшей ночи и тех часов, которые могла провести с Роландом.

В гостинице Кляйн-Айххольца их встретили пьяным недобрым хохотом. У стойки стояли какие-то парни, угощавшиеся самогоном из пивных бокалов.

— Бургомистр, когда снова начнем воевать? — спросил один из них и протянул ей свой бокал.

Остальных очень позабавило то, что она не сразу поняла намек на «картофельную войну», когда Роланд своими гусарскими выходками силился укрепить ее авторитет.

— Картошка! Картошка! — редела пьяная компания.

Все они не отказались бы от участия в тех событиях и не погнушались бы ремеслом спекулянта.

— А иначе тут не разживешься,— сказал малый с кудряшками, чокаясь с Софией.— Ты бы снова распечатала бочку, бургомистр!

Они сдвинули столы. Красный Роланд принес хлеба и колбасы и бросил друзьям ободряющие слова:

— Всего навалом. Налетай, ребята! — Софии он сказал: — Моя гостиница полна гостей. Почему я должен с ней расставаться?

Самогон цедили из винного бочонка. Гульбище становилось все шумней, речи бессвязнее и глупее. Кто-то орал:

— Скукотища! Дерьмо, а не работа!

Большинство из них помогали родителям в поле на пяти гектарах пашни, доставшихся в результате земельной реформы. Скотину имели немногие. Были тут ребята, работающие в мелких мастерских или в городе. Иные только что вернулись из плена и не знали, к чему приложить руки.

— Не разживешься,— повторил кудрявый. На нем были военные брюки и солдатские сапоги.— Рвать надо отсюда, дело искать!

Деревенская жизнь казалась им слишком убогой, землепашество, а точнее, распашка и удобрение песка — слишком тяжелой и скучной работой. Лишь вечерами они пытались развлечься и дико куролесили в этой самой гостинице.

— Тебя-то нам и не хватало,— бормотал какой-то пьяный парень, чуть ли не повиснув на Красной Софии.— Пошли танцевать, ну давай!

Красный Роланд оттолкнул его. «Хватит болтать!» — прикрикнул он на безусого юнца, распространявшегося о том, как сгорела солома для крыши. Правда, все звуки тонули в пьяном гаме. И вдруг наступила тишина. София как-то странно выпрямилась на стуле. Ее лицо исказилось гримасой отвращения. Она выпустила из руки бокал и закрыла глаза. Голова кружилась. На какое-то время София перестала понимать, где и с кем находится. Как долго она здесь сидит и почему сгорела крыша? И была ли вообще эта крыша? Где спрятан парашют? Надежно ли? И почему она ничего не предпринимает, чтобы спасти то, что еще можно спасти?

— Иди сюда,— сказала она, повернувшись к Красному Роланду, спасшему ее от ледяной купели и давшему ей крышу над головой.

Это было вчера, нет, даже несколько минут назад. Так

142 ей теперь мнилось. Ребенок резко шевельнулся. Казалось, он хочет выпрямиться, чтобы отринуть все, что ее теперь окружало.

— Домой, пожалуйста, домой,— прошептала она и еще раз окинула взглядом застолье, испытывая острую неприязнь к этому кавардаку, путаясь во временах и лицах.— В именне. Я должна что-то делать.

Красный Роланд положил руку ей на плечо и повел к мотоциклу.

— Что-нибудь случилось? — спросил он.— Почему ты не хочешь остаться?

Она прислонилась к дереву, ее вырвало.

— Уже лучше,— сказала она и села на мотоцикл, стараясь не касаться руками Роланда.

Он помчался, не разбирая дороги, все быстрее и быстрее, не обращая внимания на колдобины и камни. Казалось, им овладела шальная радость. Он летел сломя голову по самой опасной дороге, рискуя перевернуться на рыхлом песке или вовсе разбиться. Но она чувствовала его кожу, тепло его тела. Ее утешала исходящая от него уверенность, и злость и удаль казались чем-то само собой разумеющимся. И, крепко обнимая Роланда, она говорила:

— Мы поженимся. Как только закончим с крышей, ты переедешь ко мне.

41

И снова Красная София смеялась. Ее смех, как выразился старый Левке, перескакивал через все времена. «Никто не мог так смеяться, и в конце концов она стала прятаться за своим смехом».

Она смеялась, когда Красный Роланд рассказывал ей, как забегали, засуетились крестьяне, отдавая свою долю зерна, картофеля, молока, масла и мяса — крайне скромную норму госпоставок. Ему уже не приходилось напускать на себя грозный начальственный вид, достаточно было пары русских слов и безотказного «Давай, давай!». Теперь он занимался конфискацией загородных вилл, земельных участков и заглохших полей. Он доставал из кармана «Положение о земельной реформе», подписанное его собственной рукой, разрешал ознакомиться с ним, да еще собирал за это денежные взносы. Его представления о политике сводились к тому, что на свете преобладают люди с нечистой совестью, нацисты, кулаки, спекулянты и прочие негодяи, для которых нет ничего страшнее красной звезды на военной пилотке. В обхождении Роланд не любил церемо-

ниться, он привлекал к своим «рейдам» дружков, устраивал настоящий театр, и вся его компания покатывалась со смеху, когда, забрав хорошую добычу, удалялась восвояси.

Старый Левке только удивлялся тому, что София находила своего рода забаву в жалобах крестьян из окрестных деревень на неправомерные, по их мнению, действия Роланда, а крестьянам было не до шуток, когда они показывали ей «Положение» с подписью ее друга.

— За земельную реформу отвечаю я, — говорила София. — Лучше перестараться, чем недотянуть.

Она считала, что, если Красный Роланд идет по ее стопам — пусть даже с излишней прытью, — для тревоги нет оснований. Он орудовал в таких местах, до которых у нее уже не доходили руки с тех пор, как она стала бургомистром и с головой зарылась в служебные бумаги. А он безбоязненно шел на любую крайность, поскольку полагал, что дело так или иначе должно быть сделано, Красной Софией или Красным Роландом — не имеет значения. Разве перетряхнешь мир воркующими речами и уговорами?

Однажды она увидела, как он, нацепив пилотку, ссел на свой мотоцикл и куда-то поехал. Она и не подозревала, что в одну из таких поездок (а день был солнечный, располагающий к приключениям) Роланд забрался далеко в лес, откуда и начался неожиданный поворот в его судьбе, разом опрокинувший все их планы, мечтания и надежды. Он услышал громкие звуки музыки, летевшие из радиоприемника. Это были русские песни. Роланд остановил мотоцикл в лесу и пошел на звук. Вскоре он увидел хуторок с дымившейся трубой. Так он оказался перед бывшим лесничеством. С одной стороны — узкая полоса лугов и поля, с другой — лесопосадка в километр шириной, отделяющая хуторок от ближайшей деревни. В мае прошлого года здесь шли яростные бои с рассеянными частями СС. Земля изрыта танками и взрывами, повсюду траншеи и рвы. Фруктовый сад, примыкающий к лесу, являл собой жалкое зрелище: деревья либо срезаны огнем, либо поломаны или вырваны с корнем. Дом наполовину разрушен, но из трубы валил дым, а на бельевой веревке висели галифе, красноармейские гимнастерки, шинели, портянки и куски брезента. Во дворе стоял грузовик с мотками проволоки и какими-то ящиками. Возле двери — сапоги в несколько рядов. И над всем этим реял красный флаг с серпом и молотом. В доме гремела музыка, но внутри и вокруг, как ему показалось, не было ни души. До смерти перепугав заметавшихся кур, он подошел к окну и заглянул в пустую комнату, подождал минуту-другую и схватил пару сапог, потом

144 начал срывать все, что висело на веревке. Одежда была настолько мокрой, что по рукам текла вода. Крадучись, выскочил со двора и сложил часть вещей у стены. Ему пришлось несколько раз перебегать от хутора к мотоциклу, после чего он завернул всю добычу в брезент и дал газу. Сквозь шум мотора он все же услышал, как внезапно оборвалась музыка и раздались крики, сопровождаемые треском автоматных очередей.

Два следующих дня стояла пасмурная погода. Роланд растопил кафельную печь в своей неуютной гостиничной комнате, протянул веревку и повесил сушиться обмундирование. Брезент он отвез Фее, в Зандберг, и велел сшить дюжину пилоток.

— Я не могу этого сделать,— сказала она.

Тогда он сунул ей в руки нитки и ножницы.

— Однажды ты сварганила мне костюм, теперь нужна военная форма,— потребовал Красный Роланд.

Ей надлежало также достать в городе лак: на сей раз он хотел покрасить свой мотоцикл смесью зеленого и коричневого, совершив второе его преобразование.

Когда и форма и мотоцикл были готовы, он пригласил своих приятелей, представ перед ними в облике офицера Красной Армии с орденом и погонами. На столе лежал раскрытый учебник русского языка, откуда он уже кое-что успел почерпнуть: «Водка или вино?», «Вы говорите по-русски?», «Широка страна моя родная...»

Поощряемый смехом, восторженными возгласами, он без конца повторял эти слова, выкрикивая их громко, грубовато и, как ему казалось, очень естественно. Если получалось особенно удачно, он хохотал вместе со своими друзьями, также облачившимися в военную форму. Еще больше он распалялся перед гардеробным зеркалом — чуть не прыгал от радости и, подражая красноармейцам, отплясывал «казачка», да так, что половицы трещали.

— Картофельная война! — раздавался чей-то пьяный крик. — Ну и почудили, то ли еще будет!

А утром веселый и беззаботный Роланд с одним из новых сотоварищей предпринял первую вылазку на перекрашенном мотоцикле. Удача просто шла им в руки, ожидаемого эффекта они добились очень быстро. Несколько женщин, собиравших хворост, завидев мотоцикл, бросились наутек, даже не успев расслышать брошенные им вдогонку русские слова. По-военному приветствовали их красноармейцы, чинившие телефонный кабель, когда мотоцикл пронесся мимо. Хозяин ресторанчика, в который они решили заглянуть, с невероятным проворством выставил на стол

закуску, пиво и лучший коньяк. Войдя в раж, они объехали несколько крестьянских дворов. Потом наведались в садоводческое хозяйство, где заполучили полдюжины банок с маринованными огурцами. Потом завернули в только что открытый на окраине городка продуктовый магазин и вышли оттуда нагруженные бутылками фруктового вина, взяли столько, сколько смогли унести.

— Пора подумать и о мотоциклетной коляске, — смеялся Красный Роланд.

Он был так опьянен властью, исходившей от военной формы, что не побоялся поехать в центр города и начал там приставать к шоферам встречных машин.

— Давай документы! — кричал он. — Или машину давай!

Когда же его приятели уходили на работу, он бесцельно ездил на своем мотоцикле, но одиночные вылазки были менее интересны. Вихрем влететь в какую-нибудь деревню, потрясти одного-другого жлоба — это, конечно, доставляло ему истинное удовольствие, но стоило развернуться и уехать, как он начинал жаждать еще большего триумфа. По вечерам он часто надевал гражданский костюм и встречался с Феей, с Красной Софией он виделся реже. Выпадали ночи, когда он буквально перебегал с одной кровати на другую. И потом на пути к своему пристанищу он ехал и думал о том, как мучительно долго тянется ночь, и ему хотелось сызнова начать все, что он уже с избытком перепробовал.

— Что с тобой творится? — спрашивала Красная София. Она сердцем чувствовала, что Роланд попал в какую-то дурную круговерть, но толком ничего не знала.

Прошла первая послевоенная зима, деревня кое-как выбиралась из разрухи. Новый дом покрыли камышом — рыбаки снова накосили его на берегу еще не оттаявшего озера. Левке завершал свои плотницкие работы — двери, рамы, облицовку стен и мебель по вкусу хозяйки.

— Мы так долго не думали о себе... теперь самое время подумать, — говорила она. — Хватит жаться по углам, пусть все видят, как мы умеем жить.

Она давала ему читать анонимные письма, которые, как и стены ее дома, были перечеркнуты свастиками. В них грозились смертельной расправой, осыпали ее грязными ругательствами. Со смехом она рвала связку жалоб и обвинений, ядовитых или укоризненных заявлений крестьян и торговцев, где говорилось, что она допускает незаконную конфискацию и терроризирует близлежащие деревни с помощью лиц, втершихся в доверие к красноармейцам.

146 — Нацисты! Обыватели! Кулаки! — в ярости кричала она. Потом пристально смотрела на Роланда и, заметив, что тот опускает глаза, добавляла: — Делай как знаешь, но пилотку сними. Иначе головой за нее заплатишь.

42

— Почему ты не возвращаешь портрет? — спросила меня Фей.

Она появилась вместе с Аней, вместе они и ушли. Их знакомство состоялось без моего посредничества. Они стали неразлучны. Любили кататься на пароходке, даже в дождливую погоду. Но чаще всего прогуливались в окрестностях деревни или пропадали где-нибудь на берегу озера, при этом рисовали с натуры, а вечерами разворачивали передо мной изображения пестрого и сказочного мира.

— Уж я-то знаю, что жизнь отнюдь не сказка, но ребенок видит все иначе. Иногда и нам, взрослым, не повредит детский взгляд на вещи. — Она говорила о дочери Красной Софии так, будто речь шла о ее собственном ребенке. Но до рождения этой девочки все ее помыслы были сосредоточены на Роланде Глэкнере. Она в прямом смысле дрожала за него, то и дело отрывалась от мольберта и бежала куда-нибудь на дорогу, где тот обычно занимался своим промыслом под защитой военной формы, и пыталась остановить его.

— Это плохо кончится, опомнись и держись подальше от этой особы, — просила она. — София не станет шутить, когда узнает все это.

Но он лишь смеялся в ответ, жизнь для него была не более чем шуткой, особенно если чревата опасностью. Пока он не знал неудач, ни разу не нарывался на патруль, ни один красноармеец не вставал у него на пути, и это придавало ему уверенности. Красная София с ее всевидящим оком нисколько не мешала ему. Казалось, она закрывала на него глаза и не высказывала тени недовольства или ревности, хотя не раз встречала его в обществе Фей.

Вскоре стало так, что при появлении Роланда никто из деревенских не осмеливался и рта раскрыть, от него просто убегали и прятались. Ворота запирались на засовы, лампы гасились, или же, как в военное время, затемнялись окна домов. Многие не рисковали выходить на улицу в одиночку, бывало, что и бросали работу в поле, а некоторые семьи даже снимались с места и бежали куда глаза глядят, поскольку всерьез опасались за жизнь. У страха глаза велики: пошли слухи о целых отрядах молодчиков в

военной форме, которые бесчинствуют по всей округе. Кто нашептывал про целую армию победителей, беспощадно угнетающих побежденных.

— Что за чушы! Что за дикие басни! — возмущалась Красная София, когда что-то в этом роде дошло до ее ушей.

Без долгих рассуждений она выталкивала в дверь всякого, кто пытался жаловаться. На общем сходе в Зандберге, где вновь прозвучали старые жалобы, она крикнула, обращаясь в зал:

— Это же самая настоящая фашистская пропаганда, обыкновенная травля, злостный саботаж! Мы не потерпим, чтобы таким подлым и хитрым способом клеветали на героическую Красную Армию, избавившую нас от войны и рабства!

Недоверчивые, пугливые взгляды крестьян она истолковала по-своему:

— Это дело рук нацистов. Яд нацистской пропаганды еще оказывает свое действие!

Но ропот не прекращался, и тогда она сгоряча приняла решение:

— Ну если вы меня не хотите понять, я поступлю иначе!

Она велела закрыть двери и всем до единого запретила покидать зал. Старый Левке спросил:

— Что это значит? Ты хочешь ввести законы военного времени?

— Мирного времени, — бросила она и поручила ему вместе со слесарем Трибелем следить за тем, чтобы кто-нибудь не сиганул в окно. — Прекратить обслуживание! — крикнула она хозяйке и уселась на стол в центре зала, не обращая внимания на протесты и возмущенные возгласы.

Когда шум немного улегся, она с пафосом объявила:

— В Нюрнберге идет нюрнбергский процесс, а в Зандберге мы устроим зандбергский. Он уже начался!

Она скрестила на груди руки и обвела глазами собравшихся. Все их путанные или жалкие судьбы прошли перед ее мысленным взором.

— Вы обвиняетесь в том, что бросили обвинения нам. Прошу перечислить их пункт за пунктом и, по возможности, с доказательствами, — сказала она тихим голосом, но так, что ее услышали в самых удаленных углах. — И тогда я назову все обвинения, которые предъявляются вам. И прежде чем хоть один человек покинет зал, будет установлено, кто именно нарушает закон.

Слова начался всеобщий гвалт, все кричали, не слыша

148 друг друга. Несколько мужчин бросилось к дверям. Они стали требовать, чтобы их выпустили: они-де ни в чем не провинились и политикой не интересуются.

— Тихо! — крикнул старый Левке. Ему удалось урезонить одного пожилого крестьянина, который больше других махал кулаками, бушевал, ругался, потом вдруг заревел навзрыд и, наконец, с видом кающегося грешника подошел к Софии и попросил у нее прощения.

— За что? — спросила она.

Старик склонил свою седую голову и прошептал:

— Мой сын был эсэсовцем, его могила в России.

Наступила абсолютная тишина. Красная София нерешительно слезла со стола, опустила руки, из ее ладони вылетела бумажка.

— Пять марок возмещения... если я кому-то причинила боль.

Она пошла к двери, распахнула ее и, не оглядываясь, покинула зал. Все обалдело продолжали сидеть на своих местах, пока старый Трибель не достал сотенную купюру и не присоединил ее к пятимарковой. Он сказал:

— Я тоже кое в чем провинился, и немало.

По залу прокатился всеобщий вздох, потом все зашумелись. Хозяйка заявила на весь зал:

— Деньги? Извольте. Это весомее слов.

Она достала из кассы пару бумажек и протянула их старому Левке. Он сжимал в руках деньги, безуспешно искал портмоне, растерянно смотрел на множество рук, тянувшихся к нему со всех сторон. У него голова пошла кругом от мелькания жестов — смущенных, неспешных, хвастливых. Его забрасывали банкнотами в пятьдесят и сто марок. В общем, набралась сумма в семь с половиной тысяч марок, он сумел-таки почти все пересчитать и поспешно вышел из зала.

— И все же они скупердяи, — сказала Красная София, которая оказалась вдруг рядом и забрала у него деньги. — Я-то думала, что за свою нечистую совесть они расплатятся подороже, что мы на эти деньги новую деревню построим.

И когда старый Левке снова полез в карман и смущенно выгреб остатки, она сквозь смех сказала ему:

— Давай выкладывай. Может, еще хватит на школу и детский сад, да и на мой дом тоже!

Эффект, произведенный этим «зандбергским процессом», был весьма чувствителен: одни крестьяне считали себя одураченными, другие — униженными, но большинство разошлось по домам с твердым убеждением, что каж-

дый искупил свою вину. Старый Левке заготовил как блаженный, когда обнаружил, что вложил в общий котел все свои наличные деньги. Красной Софии он сказал:

— Денег нет, зато есть новый человек. — Но шуткой не ограничился и упрекнул ее в том, что она недооценивает случившееся: — То, что за этим последует, опрокинет все твои расчеты, это уж не будет просто игрой — кто желает повиниться: я, ты или любой из нас.

Фея сидела в зале и с нескрываемым изумлением смотрела на Красную Софию, прежде всего ее поражал внешний вид: темный костюм, удачно скрывавший беременность, какая-то золотая вещица, полуспущенный вязаный платок. Потом она была заворожена ее речью, мгновенной переменой интонации, позой неподкупного судьи, умеющего внушать страх и в то же время использовать хитрость — лихо же она бросила пятимарковую бумажку и, заполучив тысячи, со смехом удалилась. Но вместе с тем Фея не могла отделаться от мысли, что все это было продлено с единственной целью — отвлечь общественное внимание от Красного Роланда, от слухов и обвинений, которые уже витали в воздухе этого зала.

— Неужели ты не догадываешься? — спросила она его в тот же вечер.

— Тебе-то какое дело? — взорвался он. — Наши с ней отношения никого не касаются.

Он не желал отчитываться перед ней в том, что именно влечет его к ее сопернице. И оттого ей все больше хотелось походить на Красную Софию. Она стала так же элегантно одеваться, волосы покрасила в рыжий цвет, старалась усвоить самоуверенный и веселый тон, дома стала держать вино для Роланда. Но все-таки после недолгого сопротивления она уступила его воле и присоединилась к нему, когда однажды вечером он совершал свой очередной «рейд» на мотоцикле. Она даже принялась учить русский язык — ведь он сказал:

— Мне нужна переводчица. Ты или другая — не имеет значения.

Поездки в соседние деревни давно ему наскучили. Он задумал переключиться на районный центр, ему надо было заглянуть в автомастерские и в кое-какие магазины, чтобы достать наконец коляску для мотоцикла.

— Мой ломаный русский тут только навредит. Смекнула?

К тому времени все было готово для переезда Красной Софии в новый дом, Красный Роланд тоже поговаривал об этом. А Фее он намекал:

— Поскорее учи русский, иначе мне придется возиться с детской коляской, а не с мотоциклом.

В саду перед домом Софии пышно всходила трава, зазеленели три тополя и несколько кустов роз. Красный Роланд на время забыл свою военную форму и перестал появляться у Феи. Он всерьез ухаживал за клубникой и салатом, перекапывал землю, сажал, полыл, подвешивал гардины, подставлял себя весеннему солнцу и поглядывал на Красную Софию, которая становилась все мало-подвижнее и беспомощнее.

— Поскорей бы уж,— говорила она. — Иногда мне кажется, я не выживу. Оставайся здесь!

43

Она лежала в горячке. Новорожденная кричала во всю глотку. У кровати поочередно дежурили два врача из районного центра, но бывший комендант — теперь начальник гарнизона — прислал советского врача, украинца, который попытался тихо-тихо заговорить с больной. Но та не отвечала. Во время родов она лишь раз вскрикнула, как безумная, и до крови закусил губы. Потом рот ее приоткрылся, дыхание стало глубоким и спокойным. Самое тяжелое было позади.

Теперь она наслаждалась звуками украинской речи. Ее мать часто пела печальные песни на этом языке. Ей казалось, что она вновь очутилась в родном доме, в сельском предместье Дрогобыча. Снова она увидела просторные сени с чуланом, винтовую лестницу, уходящую куда-то к самому чердаку — высоко-высоко, — заваленному старыми шкафами, кушетками, помутневшими от времени зеркалами и искусственными пальмами. Стекла почти не пропускали свет, их не мыли целую вечность. Открыть окна было уже невозможно, но сквозь слой десятилетней грязи глаз мог с трудом различить великолепную зеленую равнину, которая всегда манила ее, оставаясь размытой и смутной.

— Мы немцы, нам порядок держать,— говорил отец. Но мать покачивала головой и шепотом отвечала:

— Лучше не высывайся. Они ведь камня на камне не оставят.

Под самой крышей была еще одна комната, загроможденная горами книг и ящиков, которые когда-то вытащили из шкафов. Возле них, что-то бубня себе под нос, стоял офицер, темноволосый, коренастый немец в очках. Он, вероятно, знал толк в книгах.

— Ты говоришь по-немецки? — допытывался он, и вообще до всего ему было дело.

Отцу он устроил форменный разнос за то, что немецкие книги валяются на полу. Но никто ему не ответил. Мать словно воды в рот набрала, хотя обычно говорила только на немецком, даже когда обращалась к библейской мудрости типа: «Как ни закапывай уголья, дыма не утаишь».

А вокруг все наполнилось огнем и дымом. Зарево вставало стеной. Повсюду сновали оккупанты. Их фигуры четко выделялись на фоне зловещих зарниц, ими же учиненного пожара. Но вот приближается дробь лошадиных копыт, слышно, как поскрипывают рессоры. Во двор вкатывают дрожки — чудо, избежавшее пламени. Раздается лихой окрик, шелкает кнут, смолкает перестук копыт. Перед ней стоит ее брат Кристофер, развеваются светлые волосы, и лицо светится радостью — ведь он, опьяненный мятежным духом, сумел раздобыть экипаж.

— Все-таки мы немцы, — сказал он и был единственным членом семьи, кто заговорил по-немецки. Его схватили и увели.

— Это тот, кого мы искали, — бросил офицер.

На какое-то время она перестала ощущать высоту. Потолок с тусклой круглой лампочкой был самой высокой фиксируемой точкой. А потом снова началось головокружительное парение, снова — прыжок, который не забудешь до самой смерти, падение в бездонную глубину. Она летела куда-то вкось, потеряла направление и цель. Ее несло вниз, все время вниз. Куда же еще?

— К стенке! Со всем партизанским отребьем! — надрывался чей-то голос.

Зеленый покров земли казался миражом, он крошился, как стекло, как лед. А от берега уже спешил брат, Красный Роланд. Господи!

Ребенок больше не кричал. Стало отчаянно тихо, постель скользила куда-то вниз, она была стянута такими же стежками, как и парашют или саван, покрывающий собой дом и все вокруг дома. Из клочьев тумана, который напирал на лед и окна, сочилось что-то белое или серое, невероятно мокрое, и этому не было видно конца. Ноги заледенели, холод уже подбирался к самому сердцу, уже заползал в мозг, в котором жила еще надежда, еще брезжили склон, поросший деревьями, и светлоголовое, светлолицее мальчишеское лицо из Дрогобыча. Ее руки силились за что-нибудь уцепиться: за ломкий лед, за парашют, за одеяло, за врача, склонившегося над кроватью.

152 — Где твои ордена, твои документы? — во второй и в третий раз спрашивал врач и не мог добиться ответа: она не понимала его.

Он подошел к шкафу, нашел там все, что нужно. Все было на месте. Ни вопросов, ни упреков больше не последовало. Она была бургомистром, ей не приходилось оправдываться. Она не кичилась былой славой и лишь по праздникам надевала орден. Самое большее, что она позволила себе,— это броситься однажды к телефону, злоупотребить своим знанием русского языка и окликнуть нескольких красноармейцев, когда мимо горы, не останавливаясь, проезжал автобус из районного центра. Потом, уже позднее, она разрядила в воздух пару магазинов и прочитала нотацию остолбеневшему, с холодной испариной на лбу шоферу:

— Заруби себе на носу: мы здесь не последнее дерьмо!

Ведь она действительно гордилась деревней, своей работой и кучкой яиц, проданных сверх плана,— она собственноручно откармливала дюжину кур, двух свиней и корову, которую по утрам сама выгоняла в луга.

Незнакомый врач курил махорку, завернутую в клочок газеты, его голос становился все тише и дружелюбнее. Он изрядно надымил в комнате и пытался открыть окна, но они не поддавались: маляр совсем недавно покрыл их толстым слоем краски. София отвернулась к стене, утешительные речи неожиданно оборвались. Украинец принял серьезный вид, ему поручили сделать следующее предложение:

— А что, если б мы оказались сейчас в Дрогобыче? Майор даст машину.

На мгновение она представила себя идущей по улицам Дрогобыча до самой площади, где стоят дрожки ее отца, спасенные от огня и топора. Ее брат, партизан, подруливает на мотоцикле. Он уже не мчитя на стену смерти, он смеется, он рад посмотреть на ребенка.

— Это мой ребенок,— говорит Красный Роланд и берет его в свои руки.

Но это был всего-навсего сон.

44

А какова была явь? Не рассеялась ли и она, подобно дыму? Продолжала ли София верить в смысл своей жизни, держалась ли за свою неограниченную власть, помышляла ли вершить свой последний суд, в том числе и над собой? Или она теперь смеялась в лицо смерти, насмехалась

над ней? Никаких свидетельств тому не осталось. Воспоминания стерлись, а угрозы, предостережения, проклятия и просьбы растаяли в воздухе. Красный Роланд еще больше отдалился от нее; все туманнее становились воспоминания о Дрогобыче, и потускнели вынесенные из него надежды, слившиеся с лицом ее брата Кристофера.

Но когда-то, целую вечность назад, она, должно быть, могла с самым беззаботным видом сказать:

— Я сумею подшутить и над смертью.

Рыночная площадь и предместье Дрогобыча тонули в грязи, железнодорожные рельсы были покорежены взрывами, а ближний лес заминирован, поэтому колонны вермахта, артиллерийские повозки и танки застревали на узких улицах и не могли продвигаться дальше, на восток. Смерть запирала город и вторгалась даже туда, где на кинотеатрах, ресторанах и гостиницах висели таблички: «Только для немцев». Красная София бойко шутила с часовыми и полицейскими, пронося под платьем динамит.

— Я невеста лейтенанта Скаландера,— достаточно было ей сказать на чистейшем немецком языке. — Вас должны были предупредить, меня ждут,— говорила она, резко меняя тон.

После этого она могла спокойно отужинать с Гарри Скаландером, хлебнуть винца или посмотреть фильм. Пока не наступало время покинуть место, обреченное смерти.

Взрыв она услышала еще на улице, подходя к роскошной вилле, в которой квартировали офицеры люфтваффе.

— Ты мой ангел-хранитель,— обняв ее, сказал Гарри Скаландер и потащил скорее к входной двери, не в силах сдержать радость от того, что вновь счастливо избежал смерти.

— А если бы я была ангелом смерти? — услышал он ее голос в этом пропахшем порохом хаосе, где невозможно отличить своих от врагов.

Из домов выводили знакомых ей мужчин и женщин, их угоняли. Это были поляки, украинцы, евреи и те немцы — местные жители, которых до сих пор не коснулись карательные акции. Над крышами занималось зарево. В толпу выброшенных на улицу людей стреляли. В такие ночи все чаще завязывались бои в предгорьях, к югу от города,— там перешли к активным действиям партизаны.

— Мы должны их всех перебить, иначе они перебьют нас,— говорил Гарри Скаландер, приподнимая штору затемнения в башенном покое виллы, и взгляд его, скользя поверху дымящихся руин, отыскивал очертания гор.

Вскоре немцы не на шутку забеспокоились: офицерские квартиры одна за другой взлетают на воздух, лишь эта вилла остается невредимой. В ней находился узел связи, помещалась центральная радиостанция, там была утыканная антеннами башня, где София едва ли не каждую ночь проводила с Гарри Скаландером. Подпольщикам не терпелось нанести удар и по вилле. Брат упрекал Софию в сочувствии этому немцу, говорил, что даже тень сочувствия — уже предательство.

— А у меня допытывались, не задаешь ли ты мне лишних вопросов,— признался ей Гарри Скаландер, когда она лежала в его объятиях.

— Ну а ты что же? — спросила она настороженно.

Он еще крепче обнял ее и сказал:

— Я командирован на фронт, жди меня в Германии.

Тут она впервые в жизни услышала о деревне Зандберг, о лесах и озерах, о песчаном холме и маленьком доме, где она сможет найти приют и защиту.

— Там мы и встретимся после победы,— добавил он, а она радостно кивнула, поскольку знала, что игре со смертью придет конец только в том случае, если это будет ее, а не его победа, если динамит в стенах виллы появится раньше, чем Гарри Скаландер покинет ее.

Часовые выпустили Софию из ворот, даже не светя в лицо фонарями. Но той же ночью, когда она попыталась вернуться, ей уже не помогли ни шутки, ни прекрасное произношение, ни имя лейтенанта Скаландера, с которым она якобы спешила проститься. Солдат-эсэсовец вытащил у нее из-под жакета динамит с взрывным устройством и коротко приказал: «Увести!» Пошатываясь, она подняла руки и все хотела увидеть в башенном окне лицо Гарри Скаландера, но ее быстро втолкнули в автомобиль. Мчались через весь город, остановились в каком-то дворе. В каменную стену были вмурованы три виселицы.

— Не бойся,— сказал ей какой-то парень и взял ее за руку, когда захлопнулась дверь подвала.

У него были выбиты зубы. Он шамкал и шепелявил, произнося немецкие, польские и русские слова, и она с трудом понимала его. Он напряженно смотрел на виселицы сквозь решетку окна и уже не выпускал ее руки.

— Мне осталось жить три часа,— сказал он хриплым шепотом.— А ты должна прорваться, София!

Услышав свое имя, она вздрогнула: это могла быть провокация. Когда за окном чуть посветлело, он отошел от нее и уткнулся в темный угол, спрятав свое опухшее, бо-

— Партизан?

Он кивнул и начал торопливо объяснять — три часа уже были на исходе, — что поблизости находится отряд, тысяча украинцев под командованием генерала Ковпака. Он рассказал ей, какими тропами через лес и горы добраться до партизан, просил во что бы то ни стало пробиться и передать записку. На ее глазах он испещрил замысловатыми знаками клочок бумаги и, засунув его в горбушку черного хлеба, протянул Софии. Через несколько минут его увели. Утреннее солнце, словно прожекторами, высветило каменную стену с неподвижной фигурой повешенного. Теперь она ясно увидела искаженное предсмертной мукой, обезображенное лицо. Это был Кристофер, ее брат, которого она считала давно погибшим. Она закричала страшным голосом, билась головой о решетку, без конца повторяла его имя и яростно сжимала в руке кусок хлеба, будто это было оружие, с помощью которого она решила отвоевать Кристофера у смерти. Но ничто вокруг не изменилось. Только часовой принес ей еще один кусок хлеба и кружку с водой. Помотав головой, он спокойно заметил:

— Все это зря. С тобой будет то же самое.

Кристофера арестовали давно, она при этом присутствовала. С тех пор прошли многие месяцы. У нее в ушах явственно звучали его слова: «А ты должна прорваться, София!»

Она сидела в сыром, как склеп, подвале, не притрагиваясь ни к воде, ни к пище, и непрерывно, помимо воли, мяла в руке хлеб. На третий день как-то само собой получилось, что он принял форму пистолета.

— Кто был этот Кристофер? — без конца приставали к ней на допросах. — Это он дал тебе динамит?

И она кивала, потому что он дал ей все. Она перебирала в памяти каждое его слово, вспоминала детские игры, все его многочисленные проделки, открывала в его недавних словах и поступках что-то очень серьезное, связанное со смертельной опасностью, расшифровывала его загадочные намеки, когда после долгого отсутствия на расвете он возвращался домой, хотя все выходы из города были перекрыты. И наконец как бы вновь услышала его вопрос: «Хочешь помогать нам?»

На четвертый день София съела плотно спрессованный хлеб, она почувствовала сильный голод и жажду — жажду жить и превозмочь это страшное время. Она не тронула

156 лишь кусочек с запиской Кристофера. Теперь она всеми силами желала только одного — выжить, чего бы то ни стоило, бороться до последнего и выполнить задание брата. У нее было зашифрованное письмо, прочитать которое никак не удавалось. Она выковыривала бумажку из хлеба и снова прятала обратно, потом достала еще раз, и тут ее осенило, что выбор довольно прост: либо с помощью куска хлеба перехитрить смерть, либо кончить жизнь на виселице. Проклиная свою жадность, она продолжала лепить свой пистолетик, вложив в него еще три дневные порции хлеба. Мякиш разжевывала почти в состоянии голодного обморока и, дрожа от страха, холода и нетерпения, следила за часовым: ей не доставало одной порции. Чтобы болью заглушить голод и страх, она вливалась зубами в палец. Наконец она могла встать с пистолетом в руке. Он стал черным, потому что был вымазан грязью, специально собранной в углах камеры. София поднялась навстречу солдату, который, ничего не подозревая, открыл дверь подвала. Ей потребовалась лишь секунда испуга, пробежавшего по лицу охранника, чтобы выпрыгнуть из камеры и запереть своего стража.

В тот же день она добралась до лагеря партизан. И Ковпак, старый партизанский генерал, который еще в гражданскую войну гнал врага по этим местам — через днепровские низовья и болота Припяти вплоть до Карпат, извлек из хлебного пистолета письмо Кристофера. Он прочитал: «Посылаю к вам Софию, мою сестру, верьте ей». А после того, как она многое порассказала генералу, не забыв про Гарри Скаландера и маленький домик в Зандберге, он принял решение:

— Ближайшим самолетом в тыл, а потом — в Германию, в самую сердцевину.

45

Дождь зарядил на весь день, он начался еще ночью. Аня убежала к Фее, а вечером принесла обернутые в целлофан картинки, навеянные сказками нашей горы: пылающие солнца, цветы, жуки, бабочки и всякая прочая живность. Среди других изображений я увидел круглое смеющееся лицо, взъерошенные волосы, большие глаза и короткие лучики ресниц. Красная София. Иной версии я не мог допустить.

— Пошлю это маме, — сказала Аня, отбирая у меня листы, — чтобы она скорее приехала.

Рут писала, что еще не закончила работу.

— Скоро она будет здесь,— соврал я и начал что-то плести про маленькую мекленбургскую деревушку, где сейчас находилась Рут.

Я напирал на сходство с Зандбергом, и мое воображение рисовало вязкие песчаные дороги и бесконечные поля. «Здесь я тоже нашла Красную Софию»,—сообщала Рут. И вот пришло второе письмо, где подробно описывалась история двадцатичетырехлетней женщины. Она работает бургомистром, замужняя, имеет ребенка, учится заочно в юридическом училище. «О ней-то и решила тебе написать,— заканчивала свое письмо Рут,— я и здесь опередила историка: моя Красная София — факт сегодняшней жизни».

Она была самой молодой женщиной-бургомистром в Республике, к тому же считалась самой способной и деловой среди коллег. Любопытно, что и вокруг нее сплетался венок легенд. Одни уже имели свою историю, другие только-только рождались. Когда дело дошло до выборов, то и в этом случае оказалось, что никто из деревенских старожил не хочет вступать в должность бургомистра. Тогда девушка подала короткую реплику: «Хорошо, возьмусь я».

А до этого были школа, профессиональная учеба при сельхозкооперативе, Союз свободной немецкой молодежи, вступление в партию и восемь недель подготовки в лагере спортивно-технического общества. Ни тебе партизанского отряда, ни прыжков с парашютом, ни Красного Роланда.

Она вышла замуж за тракториста, большого трудягу, который по вечерам просто валился с ног от усталости и был крайне скуп на слова. Она потихоньку убегала из дома и не отвергала ухаживаний бухгалтера. Тот, сидя в канцелярии правления, целыми днями пялил на нее свои голубые глаза и до полуночи помогал ей разбирать проклятые бумаги.

— Только этой мороки и не хватало,— сокрушалась она, награждая легким тумачком своего помощника.

У нее и без того голова шла кругом: надо было держать в памяти все до мелочей, в том числе свою первую речь перед односельчанами и доклад в районном центре, да и много чего поважнее. Бухгалтеру приходилось изрядно попотеть, извлекая из шкафов все новые папки, так как она хотела иметь точные представления о том, что успели и чего не успели сделать ее предшественники, а по возможности — знать дословно все протоколы, сводки, письма и торжественные речи. У влюбленного бухгалтера глаза на лоб полезли, когда она зычно, по-мужски загремела на всю комнату, где предполагались воображаемые слушатели.

158 Скрестив на груди руки, она сотрясала своим голосом жалкие стены барака, который служил и правлением сельской общины, и молодежным клубом, и пунктом по приему яиц.

— Ну теперь можно подумать и о сне,— разочарованно сказала она, поскольку не услышала от своего единственного слушателя ожидаемых аплодисментов.

А бухгалтер не уходил. В надежде на ее возвращение он терпеливо просиживал в канцелярии и лишь глубокой ночью засыпал прямо за письменным столом. Свет в комнате горел до утра. На стол бургомистра полетели письма о растратировании электроэнергии и аморальном поведении, намекалось, что окна без занавесок могут приоткрыть кое-какие тайны. Сначала это было для нее громом среди ясного неба, но вскоре возымели действие утешительные речи бухгалтера: главное — запастись занавесками и спокойствием. Но одни только занавески в денежном выражении равнялись ее первому заработку.

— С какой стати?— отбивался от нее муж, тракторист.

— Свое пиво ты можешь тянуть и там,—отвечала она, увлекая его в вечерний час за собой в правление, где ему пришлось повозиться с ящиками для яиц, чтобы расчистить себе место. Теперь у нее стало два слушателя, на которых она испытывала свои речи. Со временем ораторская страсть разгоралась все больше — под влиянием аплодисментов. А вскоре она уже выступала перед двумя сотнями мужчин и женщин на Дне Республики.

— Мы будем строить новую дорогу,— к всеобщему изумлению провозглашала она,—и все вы примете в этом участие.

В старых папках не было ни намека на подобное начинание, а в бюджете не числилось ни гроша. Но она уже просто не могла мириться с грязью, которой хватало с избытком везде, даже в отремонтированном здании правления. Ее так и подмывало взяться за метлу и лопату. Люди ее поняли. Она нашла поддержку не только у своих предшественников по должности — все до единого были мужчины,— но и у женщин. Это и решило дело. Наметили раздобыть в кредит бетонные плиты, а тягачи, краны и прочую технику попросить в сельхозкооперативе. Тракторист и еще с десятков мужчин уже на следующее утро пришли к месту работ. И не успела земля покрыться первым снегом, как дорога была готова. Правда, не везде получилась она гладкой и ровной, что, кстати, предсказывал бухгалтер, который бегал с рулеткой, ватерпасом и сметными расчетами, пытаясь спасти то, что еще поддавалось исправлению.

— Это потому, что я люблю тебя,— прошептал он ей во время митинга по случаю окончания работ, когда она разрезала ножницами красную ленту, а тракторист, чертыхаясь и вздрагивая, вел по неровному бетону украшенную разноцветным текстилем машину.

Она взглянула на часы и поспешила в правление: начались приемные часы. Многие в деревне были с ней на «ты». Но прежде чем выложить свои просьбы, ходили вокруг да около, мялись, собирались с духом. Из-за этого часы приема могли перерасти в дни и ночи. Разведенный муж хотел получить наконец отдельную квартиру, его бывшая жена, у которой он продолжал жить, неизвестно от кого родила ребенка. Двум пожилым женщинам врач предписал курортное лечение, а срок платежей в счет будущего года давно истек. В деревенском пруду кто-то якобы видел ручную гранату — надо было принимать соответствующие меры. А детский сад совсем уже нельзя было обойти вниманием: у кукол отваливались головы, у машин — колеса, качели и прочие сооружения требовали немедленного ремонта.

— Давно пора иметь настоящий клуб,— наседал секретарь местной организации Союза свободной немецкой молодежи.— По крайней мере футбольное поле.

— И зимний бассейн с новейшей системой отопления,— не без иронии добавила она и почувствовала себя почти счастливой от того, что через несколько минут сможет пойти домой.

После двухчасовой круговерти в собственном доме, где без нее тоже не могли обойтись — ни муж, ни ребенок,— она доставала учебники и книги, читала, конспектировала, заучивала наизусть юридические формулы и на последнем слове проваливалась в сон. Потом вдруг просыпалась и, увидев перед собой те же книги и тетради, смеялась и говорила мужу, чья заспанная физиономия появлялась в дверях: «А я думала, мне все приснилось».

Напрашивался вопрос: что она имела в виду? Рут обрвала свой рассказ именно этим вопросом. Но в письме сообщались еще кое-какие сведения: сорок тысяч марок выделено на строительство капитальной асфальтированной дороги, полотно которой протянется до самого шоссе; в уборке урожая принимали участие берлинские студенты; тракторист все-таки вздул бухгалтера: так его раззадорили старые сплетни, которые продолжали свое хождение, несмотря на «занавески и спокойствие». Все это тоже завершалось вопросами — по части вопросов моя жена отличалась особой неутомимостью. Ее интересовало: может ли

160 эта София считается современным идеалом? Есть ли основания говорить об идеальной любви, идеальном порядке, идеальной деревне? Идет ли эта женщина к четко намеченной цели? Удастся ли ей неуклонно двигаться к ней и в личной и в общественной жизни? Или же она вязнет в мелочах повседневности, в так называемой текучке, заслоняющей собой всякую большую цель? Что движет ею — честолюбие или сознание долга, моральные принципы или боязнь общественного мнения? Хватает ли у нее воли, энергии и сноровки пробивать любые преграды и доводить дело до конца? Не приходилось ли ей в интересах дела хоть раз прибегать к своим женским чарам? Признавалась ли она себе самой в своих ошибках, упущениях и необдуманных поступках? И самое главное: «Что ты думаешь об истории с бухгалтером? Парнишка сохнет на глазах, а она готова бросить все на свете, лишь бы не видеть его влюбленной физиономии. Не посоветовать ли им выяснить отношения всерьез? Почему абсолютно на всем можно найти темное пятно, мой дорогой историк?»

Я понял, что Рут вознамерилась свести это пятно, для чего и продлила срок командировки. «Я подружилась с ней, но чувствую себя совершенно беспомощной, — писала она. — Пожалуйста, объясни Ане, насколько необходимо здесь мое присутствие».

Я сел на кровать к дочери, которая только что убрала в конверт свои картинки. На них были карандашные рисунки Зандберга и красное солнце, оперенное лучами.

— Это письмо маме, — сказала она. — Мама наверняка обрадуется.

46

На следующий день, ежась от холода, мы с Аней сидели в башне художницы. День был по-осеннему хмурый, хотя солнце изредка и как бы через силу появлялось из-за туч, а кругом все еще была летняя зелень, если не считать нескольких желтых листочков на шумевшей за окном березе. Фея рассуждала о свете и тени, показывала свои работы, учила Аню делать эскизы, терпеливо втолковывала ей, как надо воспринимать глубину пространства и протяженность предметов, громаду солнечного света и огонек электрической лампочки, как видеть переменчивость мира в разное время суток.

— В какой-то миг все, что нас окружает, сереет и уплотняется, — говорила она, — потом яснее и как бы отступает вдаль, а то вдруг становится тревожным и радостным.

Мир постоянно меняется, в нем всегда новое настроение. Это настроение и на нас влияет, и мы вносим его в наши слова, песни или картины.

Тут я заметил за окном дрожащий отблеск, какой бросают обычно трубки дневного света. Свет вспыхнул в каком-то сарае, стоявшем наискосок от дома, с тыльной стороны. Он жался к забору огромного сада, скрытый от глаз двумя старыми елями и высокими — в человеческий рост — кустами. Я молча вышел из мастерской. Аня крикнула вслед:

— Папа, не забудь письмо мамочке!

И чуть не заставила меня пойти в деревню и отправить письмо, чтобы оно ушло с сегодняшней почтой. Я уже был готов сделать это, но свет, горевший там, в гуще листвы, магически изменил мои намерения. Я увидел открытую дверь и мужчину, сосредоточенно занимавшегося каким-то делом.

— Доброе утро! — сказал я, останавливаясь перед сараем.

Высокий сухощавый человек лет сорока с гаком, обтачивал напильником металлическую деталь. Он бросил на меня колющий взгляд и жестко спросил:

— Чего вам?

При этом не прерывал работы. Мне даже показалось, что руки его заходили быстрее, голова еще ниже склонилась над тисками. Он деловито сдувал опилки и посвистывал. Его редкие волосы заметно отливали сединой и уже не могли скрыть проплешины. Левой рукой он отер лицо, поправил очки и настороженно посмотрел на меня своими светлыми глазами, когда я спросил, не уделит ли он мне немного времени. В ответ он пробормотал что-то невнятное, возможно, «Зачем?», а может быть, «О чем?», пожал плечами и повернулся ко мне спиной. Мое присутствие явно раздражало его, напильник с душераздирающим визгом скребнул по железу, и увесистая болванка, которую он задел локтем, чуть не свалилась мне на ноги.

— Простите, — испуганно пробормотал он, прерывая работу. — Мы ведь не знакомы.

Я утвердительно кивнул, назвал себя и сел на ящик с инструментом. Мужчина закатал рукава рубашки, обнажив коричневые от загара мускулистые руки. Его лицо приняло ехидное выражение.

— Вам что, велосипед починить? — спросил он.

В этом сарае проходу не было от мотоциклетных колес, всевозможных частей и механизмов. Над верстаком висели

162 почетные грамоты и благодарности мотоклуба, под ними стояли запыленный венок победителя и бронзовый кубок. Не исключено, что он видел меня с моим велосипедом где-нибудь на здешних дорогах, хотя я не мог припомнить такого случая. Вел он себя так, как будто сроду не знал ни названной мною Софии Скаландер, ни Сони, которая была и его дочерью.

— Ну какой вам смысл темнить? — разозлившись, спросил я. — Спустия столько лет...

Он снова начал работать напильником, однако ответил:

— Ее зовут не так. Вы это знаете.

Когда я подскочил к нему, требуя объяснений, он заставил меня отступить. Потом нагнул, открыл ящик с инструментом, достал оттуда какую-то гайку.

— Годится! — буркнул он, вертя ее в руках и после долгой паузы сказал: — Вам же все известно.

Я протянул сигарету, он кивком поблагодарил меня, зажал ее в углу рта и снова склонился над верстаком. Вдруг неожиданно спросил:

— Ну что я еще могу вам сказать?

Это был кусок льда, брус холодной стали, я не знал, как подступиться к нему. Он, вероятно, с охотой взял бы назад оброненные здесь скупые слова. Взгляд его скользнул мимо меня, лоб как-то напрягся и покраснел, уголки рта нервно подрагивали. Он выплюнул сигарету и растер ее ногой. Я почувствовал себя и назойливым, и смешным, и сконфуженным одновременно. Я не знал, как продолжать разговор, но не считал себя вправе ни уходить, ни задавать вопросы.

— Красная София, — сказал я, — совсем не из тех людей, кто достоин забвения.

Он, казалось, не слышал меня, снова повернулся спиной, принялся что-то искать. Лица его я не видел. Но когда он рылся в ящике с железяками, его дыхание заметно участилось. Для чего-то он начал поправлять развешенные на стене знаки спортивной доблести, хотя они и так висели в полном порядке.

— Короче, чего вы хотите? — спросил он, обернувшись. Даже голос у него изменился, звучал жестко, почти грубо. — После драки кулаками не машут.

Видимо, этой фразой он дал понять, что разговор наш полностью исчерпан. Протянул мне запачканную солидом руку и тут же отдернул ее, потому что я не шелохнулся.

— Нет уж, так я вас, пожалуй, измажу, — язвительно заметил он. — Идите и оставьте меня в покое.

Я повернулся и шагнул к двери, но мой взгляд упал на приклепленный к двери листок бумаги, вероятно лист календаря, нет, страница из рекламного буклета. Я приостановился и, пока за моей спиной раздавался мерный скрежет металла, успел прочитать строфы:

Я помню один лишь единственный день,
который не мне, вероятно, был послан.
Это был нескончаемый день,
но он не имел и начала, тот бесконечный четверг.

Я был мужчиной, которого случай
свел с первой попавшейся женщиной.
Мы разделись, чтобы спать, или плавать, или стареть.

И проникли друг в друга.
Она поглотила меня, как пещера.
А я расколол ее, как звонарь,
ударивший в колокол.

В сарае стало тихо. Я почувствовал на себе взгляд хозяина, его прерывистое дыхание. Он сорвал с двери бумажку, сунул ее куда-то, выключил свой дневной свет и сказал:

— Все. Точка.

Подождал, когда я выйду из сарая, но все-таки последовал за мной. И, указав рукой на Аню, которая вместе с Феей смотрела на нас из окна башни, спросил:

— Ваша дочь?

Я кивнул, он остановился, глядя из-под руки на башню: солнце уже поднималось над крышей, облака рассеялись. Художница громко, во весь голос, говорила Ане:

— Смотри, как все наливается цветом, бесконечная зеленая гамма.

На лице мужчины я заметил улыбку — скорее мучительную, но никак не насмешливую. Казалось, он собирается что-то сказать мне. Но после минутного раздумья он повернулся и быстро пошел к сараю.

47

В деревне я узнал, что почтовая машина давно уехала, и письмо, которое мы собирались отправить Рут, пролежало бы здесь неделю. Но на почте меня ожидало и приятное известие: пришел ответ из Дрогобыча — десятка два строк русского текста. По дороге домой я несколько раз пробежал его глазами, а дома сделал точный перевод. Это было официальное сообщение о том, что Франц и Матильда Гвиннер, родители Красной Софии, умерли три года назад,

164 почти в одно и то же время. Брат Кристофер был бойцом того же партизанского отряда, в который входила и София. 20 июля 1944 года, незадолго до освобождения Дрогобыча, его казнили в гестаповских застенках. Бывшая гимназия, где учились сестра и брат, ныне преобразована в техникум, носящий имя партизана Гвиннера.

«София Гвиннер,— писал в заключение директор,— родилась в 1923 году в Дрогобыче. С 1942 года работала в антифашистском подполье, участвовала в партизанском движении, награждена боевым орденом Красного Знамени. С 1947 года считается пропавшей без вести, о ее дочери нет никаких сведений. Мы были бы очень признательны за информацию о ее деятельности в Зандберге, поскольку ведем работу над созданием хроники героической борьбы Кристофера Гвиннера и его семьи против фашизма».

К письму прилагались две фотографии: здание техникума, на стене которого укреплена мемориальная доска, посвященная памяти Гвиннеров, и портрет Кристофера — высокого, стройного юноши лет двадцати. Тут же я сел за ответное письмо. Я написал директору все, что знал о парашюте, о папках с документами, датированными 1945 и 1946 годами, о том, что довелось мне услышать от многих старожилов Зандберга. Еще я добавил, что до сих пор бьюсь над неразрешимыми загадками. «Чем больше я узнаю и анализирую,— признавался я,— тем труднее мне, как историку, найти однозначное решение: легенда настолько сплелась с реальностью, что с полным правом может считаться элементом нашего исторического опыта, ведь она сама из него возникает и в то же время противоречит ему. С другой стороны, чего стоят все исторические факты, если они не питают наше воображение и не одухотворяют нашу жизнь».

В тот же день я встретил фрау Скаландер. Она, конечно, остановила меня и, к моему удивлению, заговорила о какой-то сестре старого Левке, с которой часто встречалась в Зандберге послевоенной поры.

— Тогда она жила с братом, приютившись за домом и кое-что шила для Софии,— сказала фрау Скаландер,— теперь она в Берлине.

Ей удалось выведать адрес, и с утра пораньше старуха уже собиралась в путь. Казалось, ей не приходило в голову усомниться в том, что эта женщина во время своих коротких поездок в Зандберг успела узнать о пропавшей больше, чем кто-либо из постоянных жителей деревни.

Вот и опять меня вернули к мыслям о старом Левке, который наверняка сумел бы избежать адского пламени

вопросов, сомнений и гаданий. А я, как безумный, сам лез в этот огонь. Да, старику не пришлось бы обуздывать собственное любопытство. Он вообще поостерегся бы всяких разговоров, не устроил бы этой дурацкой затей с домом, не полез бы в запыленные архивы, не стал бы писать в Дрогобыч и уж, конечно, обошелся бы без выяснения судьбы ребенка. А с фрау Скаландер он бы и парой слов не перекинулся и наверняка нашел бы в Зандберге такие дорожки, где был бы вполне застрахован от встречи с ней.

— Не надо тушить то, что не палит тебе кожу,— говорил он в подобных случаях.

Насколько я знаю, только ради Рут он тряхнул старинной и построил деревянный домик в лесу. После смерти своей сестры он взял Рут к себе. У него она прожила всего два года — пока ходила в школу. Потом училась в Берлине и каждый выходной навещала его, кроме того, на каникулы она неизменно приезжала в Зандберг. В доме старого Левке среди залежей книг и произошел мой первый разговор с ней, который сильно смахивал на флирт. Старик оставил нас одних и, подмигивая, наградил на прощание своим очередным афоризмом:

— Если никто на этой земле никогда не умирал от радости, я, пожалуй, не прочь это сделать.

Когда мы поженились, его уже не было в живых. Последнее, что я от него услышал, были такие слова: «Она найденныш. И кто нашел, искать не должен».

В который раз, замороженный картинами прошлого, стоял я перед домом на горе и разглядывал крутую лестницу, которую Рут окрестила когда-то «кошмаром» и «эшафотом».

— Неужели я захмелела? — спрашивала она после свадьбы, отпразднованной в деревенском ресторанчике. — Или здесь всегда голова кружится?

Я поднял ее и понес на руках по этой высокой лестнице. Мне было невыразимо хорошо оттого, что ее окружает свой, ею же обжитой мир. Стоило мне вспомнить о тех днях, и растревоженными осами начали осаждать меня изречения старого Левке. «Кто говорит чистую правду, всегда сумеет и услышать ее». Или: «Не падать позорно, а оставаться лежачим».

Я отпихнул ногой поленья, вечно валявшиеся у лестницы. Скоро конец и лету, и отпуску, и каникулам. Уже после полудня солнце скрывалось за деревьями. Не успеешь оглянуться, как придет пора длинных вечеров. Чего ради мне торчать здесь? Не перебраться ли поскорее в Берлин? Как сложно переплетены людские судьбы, как неожиданно

166 связывают они недавнее с далеким, сцепляют причины и следствия, из которых я должен построить логическую цепь. Если уж решил здесь остаться и довести до конца свои поиски.

48

Некоторые зандбергцы не без ехидства утверждали, что ребенок вообще не похож на Роланда Глэкнера. С таким же, дескать, успехом эта девочка могла считаться дочерью Гарри Скаландера. Красная София говорила:

— Это мой ребенок, других уточнений не требуется.

И все же она была счастлива, когда приезжал Красный Роланд и на несколько дней и ночей оставался в новом доме.

— Ну куда тебя понесло? — кричала она, пытаясь перекрыть треск мотора, когда он снова уезжал от нее. — Придет время, и ты сам будешь искать эту дверь!

Он как-то не очень уверенно кивал головой и, вероятно, догадывался, куда его занесет, если он не остынет, не опомнится и не прекратит свою двойную жизнь. Фея, к которой он время от времени ненадолго наведывался, настаивала на том, чтобы он сжег военную форму и позаботился о надежном куске хлеба.

— Все? Или будут еще советы? — спрашивал Роланд, вскипая от раздражения, и немедленно поворачивал в сторону Кляйн-Айххольца, в гостиницу, где его поджидали приятели.

Тут он был настоящий хозяин, здесь к нему кидались с радостными приветствиями, никогда не досаждали упреками и предостережениями. Все, что он говорил, принималось беспрекословно, даже его молчание здесь умели правильно понимать, даже многодневное отсутствие истолковывали как надо.

— Теперь не высовываться, — постановил он, внезапно появившись после «зандбергского процесса». — Пускай маленько поутихнет.

Но дружки продолжали выжидательно смотреть на него. Бездействие и сидячая жизнь успели им изрядно осточертеть.

— Пора, — говорил Кудрявый, запанибратски хлопая его по плечу.

Кудрявый выдвинулся в предводители, хотя по-прежнему чтит Роланда Глэкнера с его солидным стажем авантюрной жизни. Вокруг Роланда тесно сгрудились дружки, ему сунули в руку стакан, вскользь заметили, что самый

зеленый из них — семнадцатилетний парнишка, кажется, хватил через край. На пивном кране висела кожаная куртка, во время последнего налета ее сняли со старого Левке.

— Никого не спросясь, он так отделал старика, — сказал Кудрявый, — что тот чуть концы не отдал.

— Что будешь делать? — спросил Роланд.

Никто из всей честной компании не посмел вмешаться, когда он столкнул парня со стула, вlepил ему звонкую пощечину и, не скупясь на пинки и ругательства, выставил из гостиницы. Но когда дверь за парнем захлопнулась, слышался ропот:

— А что, если он проболтается?

Этот вопрос, брошенный далеко не случайно, касался не только юнца, так жестоко наказанного за излишнюю прыть. А Кудрявый сказал вслух то, что было на уме у всех:

— Красная София может стать опасной для нас.

Взгляды молодчиков сошлись на Красном Роланде: он же только что вернулся от нее. В последнее время у всех у них сложилось ощущение, что его отлучки несколько выходят за рамки их общих целей.

— С чего бы это? — спросил он, закусив нижнюю губу. — С чего вы это взяли?

Теперь он с трудом подавлял искушение встать и уехать обратно. Лучшее, чем он обладал в жизни, был его мотоцикл. Ему и коляска-то не требовалась, вполне хватало двух колес, чтобы ехать куда глаза глядят. Не доставало только какой-нибудь цели, точнее даже, бесцельности, которая манила бы его вдаль, как в былые времена. От разговоров он просто устал, неожиданное сопротивление и наглость Кудрявого не столько ошеломили, сколько утомили его. Он потерял идею, которая подвигала бы на бесшабашную удаль. Куда подевались его ненависть и гнев? Даже ругаться расхотелось.

— Скучища, — сказал он.

По большому счету, вся эта гоп-компания была сколочена от скуки. Не пора ли разогнать ее к чертям собачьим? Но Роланд только пил и лениво улыбался, погруженный в никому не ведомые мысли, и считал себя вполне удовлетворенным хотя бы уже тем, что никто больше ничего не говорил и ни о чем не спрашивал. Наконец он с решительным видом сказал:

— На время прикроем лавочку.

Его товарищи в полной растерянности сидели вокруг стола. До сих пор его слово было законом, он доставал

168 комплекты военной формы, определял маршруты налетов. Когда-то он предупредил:

— Мы готовы пойти на любую крайность.

Даже София, если бы она напала на их след, не смогла бы рассчитывать на почтительное отношение. Не слишком ли? Красный Роланд встал, рассмеялся и стукнул кулаком по столу.

— Хотите знать мое мнение? — закричал он, опершись на край стола, — ему почудилось, что опять он оказался на хрупком льду, а где-то в пожухлом тростнике запутался шелк парашюта. — Все вы дерьмо по сравнению с ней!

Он повернулся и пошел в танцевальный зал, где был спрятан мотоцикл. Он оседлал его прямо в зале, нажал педаль и поехал по паркету. Передним колесом с грохотом высадил дверь, потом подобрался и как ни в чем не бывало выехал на дорогу. Она вела его к новому дому, до которого было не так уж далеко.

— София! — крикнул он, заглушив мотор.

Когда-то она рассказала ему, что один пожилой сержант, глядя на нее, перекрестился и назвал ее «Святая София». Роланд тоже назвал ее так. Она повела его в дом и сказала:

— Брось-ка ты. Просто я сумасшедшая, потому что люблю тебя.

49

В то лето стояла страшная жара. Дождя ждали неделями. И хотя вдалеке то и дело гроыхал гром и на горизонте иногда появлялись тучки, голубое небо обдавало землю палящим зноем. Вблизи Зандберга начались лесные пожары. На тушение прибывали подразделения красноармейцев, но остановить распространение пожаров долго не удавалось. Сгорели многие постройки, от огня пострадала чуть ли не половина деревни. По слухам, начали взрываться оставшиеся с войны боеприпасы, кое-кто поговаривал о вредительстве, о бандах закамуфлированных под красноармейцев молодчиков, подозревали бродивших по деревне иностранных рабочих, беженцев, выпущенных на свободу заключенных.

Красный Роланд не надевал больше военную форму, дружков он отвадил от гостиницы. У него бывала только Фея, она просто светилась от счастья, если он не указывал ей на дверь. Однажды утром в Кляйн-Айххольце появился армейский грузовик. Он остановился у гостиницы. Роланд и Фея открыли дверь. Он дружелюбно поговорил с красно-

армейцами, которые прибыли сюда на сутки для тушения пожара и просили у него питьевой воды. Он пригласил их в дом, Фея готовила угощение: хлеб, колбасу и вино. Некоторые солдаты, у кого больше всех пострадало от огня обмундирование, получили даже новые сорочки и брюки (из числа тех, что были добыты грабежами). Уставшие люди приободрялись, быстро забывали об изнурительной борьбе с огнем. Офицеры и солдаты ели с аппетитом, душевно благодарили Фею и Красного Роланда, который, ничуть не стесняясь, пускал в ход свой ломаный русский.

— Дружба! — кричал он. — Товарищи! Широка страна моя родная!

В который раз он пожимал всем руки, казался себе всеобщим другом и душой общества, охотно принимал маленькие подарки в виде значков, махорки, часов и почтовых марок.

— Мы еще вернемся, — говорили они.

Когда солдаты уже сидели в грузовике, над лесом у подножия Зандберга вновь показались клубы дыма. Красный Роланд, слегка разгоряченный после застолья, крикнул:

— Я с вами, товарищи!

Он схватил кожаную куртку, все еще висевшую на краине пивной бочки, вывел из танцзала свой коричневый мотоцикл и, посадив Фею, поехал впереди грузовика, чтобы показать красноармейцам кратчайший путь к месту пожара. Он с пылом взялся за работу, рыл канавы, валил деревья, у которых уже загорелись нижние сучья. Ветер, сквозивший между стволами, все больше раздувал пламя. Одно из горящих деревьев упало на мотоцикл. Роланд, словно не замечая опасности, кинулся к мотоциклу, чтобы спасти его от огня, но красноармейцы успели оттащить Роланда до того, как взорвался бак.

К полудню огонь был в основном потушен, пепелище опоясали траншеей, лес вокруг уже не таил опасности, а тлеющие головешки не грозили новым пожаром. Черные от копоти красноармейцы устало опустили на опаленную траву, среди них расположились Фея и Красный Роланд, который молча оплакивал свой мотоцикл. Солдаты старались развеселить его, они шутили, смеялись, угощали его махоркой и не отступились до тех пор, пока и он не скрутил «козью ножку». Он заснул, а проснувшись несколько часов спустя, увидел перед собой фигуру безволосого майора из штаба гарнизона, который просил Фею перевести слова благодарности, обращенные к нему, Роланду. Солдаты подняли его с земли, поставили в середину круга,

170 хлопали по плечу и хвалили на все лады. Он стал героем дня.

— Если русские и немцы станут заодно,— сказал майор, пожимая ему руку,— в Европе не будет ни пожаров, ни войн.

Два репортера (немецкий и русский) фотографировали эту сцену: на фоне изуродованного, все еще дымившегося леса с обгоревшими и поваленными деревьями — Фей и Красный Роланд с кожаной курткой через плечо. Он выглядел усталым и растерянным. На его лице застыла смущенная улыбка. Взгляд погружен в самого себя. Он стоял вполоборота, и в самой его позе чувствовалась нервозность, желание скрыться, сделаться невидимкой, аннулировать минувший день, избежать этого братания. Может быть, он предощущал приближающуюся опасность?

— Плакал мой мотоцикл,— сказал он, когда красноармейцы привезли его на джипе в Кляйн-Айххольц.

Он был слишком утомлен жарой, выпивкой и чрезмерным волнением. Машина летела во весь опор, то и дело подпрыгивала на ухабах. Он прислонился к Фее и сжал ей руку:

— Мне плохо. Надо сойти. Пойдешь со мной?

Она обхватила его рукой, помогла вылезти из машины и проводила в гостиницу. Он тотчас же свалился в постель и моментально заснул. Фей, не мешкая, собрала все прожженные гимнастерки, забытые кем-то из красноармейцев, запихала их в печь и подожгла. Потом принесла из шкафа форму с лейтенантскими погонами, разбудила Роланда и сказала:

— С ней тоже придется расстаться. Я сжигаю ее.

Он чуть приоткрыл глаза — белки блеснули на потемневшем от копоти лице — и устало кивнул:

— Теперь все равно. Куртку тоже к чертям. Да и мне пора убираться!

На следующий день в местной газете «Воля народа» появилось не лишнее драматического пафоса сообщение об операции по борьбе с огнем. Оно сопровождалось фото-снимком, на котором нельзя было не узнать стоявшего в окружении красноармейцев Красного Роланда, хотя лицо его было запачкано сажей и слегка затуманено полосой дыма. К плечу Красного Роланда прильнула Фей. Старый Левке пошел в канцелярию, чтобы показать фотографию Красной Софии.

— Это он,— сказал старик,— а вот и кожаная куртка, из которой меня попросту вытряхнули!

Тут же в комнате оказалось несколько крестьян, они

стали громко возмущаться и припоминать все, что было отнято у них грабителями. Они потребовали в один голос:

— Арестовать! Расстрелять! Всех к стенке, как полагаются!

Красная София, точно громом пораженная, сидела в графском кресле. Она не видела ничего, кроме Красного Роланда, подставлявшего свое плечо Фее.

— Уйдите, прошу вас, уйдите сейчас же! — единственное, что она смогла им сказать.

Потом бросилась к телефону и энергично заговорила по-русски, четко произнеся имя и адрес: Роланд Глэкнер, Кляйн-Айххольц, гостиница.

50

Канцелярия была на замке. К двери была прикреплена записка, на которой с трудом можно было прочитать одну-единственную строку: «Сегодня у меня приема не будет». Такого еще не случалось. Впервые по собственной воле София осталась дома. Она чувствовала себя усталой и опустошенной, подолгу лежала в постели, брала к себе ребенка и жадно вглядывалась в его лицо. Когда приходилось вставать, она старалась не подходить к окну, чтобы не видеть темнеющий вдалеке силуэт гостиницы в Кляйн-Айххольце. Но окна было не миновать: не могла же она забросить уборку и стирку. Поэтому София задергивала занавески, и Фей, за которой специально была послана коляска, вошла в полутемную комнату.

— Я уже не переносу солнца. Что ни день, то пекло, — сказала София и предложила гостье выпить кофе. — Если не возражаете, посидим на веранде, там теневая сторона.

Кругом был только лес, у самого дома начиналась вырубка: пни, коряги, песок. Женщины сидели друг против друга и старались не встречаться взглядами. Они говорили о необычайно жарком лете, об этом доме, о ребенке.

— Скоро Соня даст о себе знать, — сказала Красная София. — Как проснется, прощай спокойная жизнь.

Тень не спасала от жары, Фей стирала со лба испарины. Она мучительно соображала, чего ради устроена эта встреча. Если ради портрета ребенка, о чем любила говорить Красная София, то тут особой спешки вроде не требовалось. Фотоснимок в газете не был упомянут ни разу, не заходило речи ни о кожаной куртке, ни о лейтенантской форме, ни о смертельной опасности, витавшей над человеком, которого они обе любили.

— Вы любите его? — спросила наконец София неожиданно громко и с вызовом, как будто только что вышла из забытья.

— Да, — ответила Фей.

— А он?

Фей кивнула, она понимала: ничто другое не имеет для этой женщины никакого значения. Она не решалась просить о помощи Роланду и собралась было уже идти. Ей хотелось скорее предупредить Красного Роланда об угрозе, которую таила для него эта женщина с резко изменившимся взглядом — пристальным и недобрый. Но когда она поднялась и повернулась к двери, Красная София холодно отчеканила:

— Нет уж, вы останетесь порисовать. Для этого придется увидеть мою дочь.

В доме стояла тишина, ребенок еще спал. К веранде подъехала на велосипеде какая-то женщина, на руле болтались две сумки с продуктами. Она кивнула в сторону веранды, прошла на кухню и начала тихонько заниматься стряпней. Потом заглянула в комнату, чтобы спросить у хозяйки, что готовить — гуляш или макароны с ветчиной и тертым сыром — и как скоро подавать на стол. Красная София не отвечала, она молча сидела, подперев голову руками. Ни Фей, ничего вокруг для нее, казалось, не существовало. Но когда проснулась дочь, когда раздался ее голос, София как бы очнулась и побежала в детскую. На веранду она вернулась с ребенком на руках совершенно преобразившейся. Прервав свою милую воркотню с дочерью, она спросила у Фей:

— У вас нет детей? Обязательно заведите ребенка. Тогда уж все остальное не имеет значения, поверьте мне.

Фей раскрыла этюдник. Руки у нее дрожали, взгляд никак не мог сосредоточиться на круглой, толстощекой рожице, которая напоминала ей о Красном Роланде.

— Она такая шустрая, такая непоседа, просто разбойница, — сказала Красная София.

Она опустила барахтающуюся малютку на пол, придвинула к двери нечто вроде шведской стенки, за которую София тотчас же уцепилась ручонками. Она выпрямила ножки, зажмурилась от удовольствия и, что-то болтая на своем детском языке, сделала шаг, второй, третий...

— Смотрите, как ловко у нее получается. А ведь ей еще и одиннадцати месяцев нет. Я давно ее приучила к облучу. Она уцепится, пыхтит, забавно корчит рожицу, перебирает ножками. А потом даю большую чурку, она ухватится крепко-крепко, как будто единственную опору нашла.

Пожилая женщина начала накрывать на стол и стала рассказывать о покупках: что удалось и чего не сумела достать. София на сей раз была очень внимательна. Она села с ребенком за стол, потребовала, чтобы Фея отложила свой этюдник, и вообще можно было подумать, она не видит, что Фея не успела нанести ни одного штриха.

— Приятного аппетита,— сказала она, обращаясь сразу ко всем.— Почаще бы вот так проводить время — радостно и спокойно, без всякой спешки, говорить, думать и делать то, что действительно важно. А почему бы и нет? Что нам, собственно, мешает?

51

Гостиница в Кляйн-Айххольце осталась без обитателей, вход был заколочен и опечатан, против Роланда Глэкнера и его бывших приятелей началось судебное преследование. Однако крестьяне по вечерам все еще запирали ворота покрепче и предпочитали обходиться без света. В каждом незнакомце чудился им один из тех, кого теперь разыскивает полиция. «Вооружен до зубов, страшно опасен, способен на все» — такие характеристики частенько будоражили округу. А Красная София праздновала свадьбу. Она вернула в родные места Гарри Скаландера, отбывшего срок наказания. Никто не отваживался обсуждать это, — праздник есть праздник. В зандбергском ресторанчике гостей ожидал богатый стол, за которым уже сидел старый Левке, принявший благоразумное решение повременить со своим устным творчеством. Свадебный экипаж запаздывал. Коляска с женихом и невестой чуть было не застряла в камышах, у озера.

— А нам придется кое-что наверстать! — крикнула на весь зал стремительно вбежавшая по ступеням Красная София.

Ее лицо заливал румянец, волосы растрепались, длинное кружевное платье было подобрано, к туфлям налипла болотная грязь. Расomeявшись, она сделала знак оркестру и начала танцевать со своим женихом, потом схватила бокал шампанского, залпом осушила его и отбросила в сторону. В этот вечер она не знала удержу, не миновала ни одного стола, не пропустила ни одного танца. Ее веселье передавалось всем.

— Вот это жизни! — вне себя от радости кричала она. — Я бы прожила две таких, три... сколько душе угодно!

Она вскочила на сцену и от избытка чувств разразилась речью, которую заключила такими словами:

— Если существует на свете какой-то другой мир, где нам когда-нибудь придется поселиться, там тоже будет Зандберг, и мы будем жить в таких же домах, с такой же водой и песком, как здесь, и тогда у нас не пропадет даром ни одного дня, ни одной ночи, наступит нескончаемое веселье, друзья!

Уже среди ночи она дотанцевала до двери и вышла. Жених последовал за ней, но она отослала его обратно. Коляска стояла на лугу, лошади были привязаны к тополю. Она погладила их и отвязала.

— София! — послышался голос, который она узнала не сразу.

Перед ней стоял Красный Роланд.

— Помоги мне, сейчас ты должна мне помочь, — сказал он.

Но она уже стояла в коляске и сжимала в руке вожжи. Лошади тронулись ленивой рысцой, он побежал рядом, хотел вскочить на ходу в коляску, упрашивал:

— Возьми меня с собой!

На этот раз она остановилась и оглянулась на деревенский ресторанчик. Еще слышна была музыка, она доносилась сквозь закрытую дверь. Незаметно, чтобы не привлечь его внимания, она вытащила из-под сиденья автомат, оставленный ей комендантом, и направила ствол на Роланда Глётнера.

— Я не знаю тебя, — сказала она, — и никогда не знала.

Ей не терпелось нажать на спусковой крючок, разрядить весь магазин, убить, изрешетить мужчину, который перечеркнул ее жизнь, — своего спасителя, любимого человека, бандита, смертельного врага, отца ее ребенка. Она видела лишь его фигуру, лица в темноте не могла разглядеть. В этой фигуре она не находила ничего общего со своим братом или тем, едва заметным следом еженощных воспоминаний. Над горой проступила розовая полоска зари, а он стоял в ее слабых лучах, как в отсветах горящего леса, как в отблесках ее мира — ею придуманного и созданного. Он загромождал и затемнял собой этот мир.

— Уходи! — крикнула она. — Раз и навсегда убирайся с глаз долой!

Но он продолжал стоять, ухватившись за недоуздок. Он не двинулся с места, даже когда она выстрелила в него. Рванувшись с места, лошади опрокинули Роланда, колесо проехало по руке. Какое-то время, оглушенный болью, он пролежал на траве. А когда встал, то в призрачном рас-

светном тумане увидел коляску. Она была уже на середине горы, почти у самого горизонта. Не только Роланд смотрел ей вслед. В ресторанчике услышали выстрелы, люди заподозрили недоброе. Среди танцующих началось замешательство, музыка оборвалась, у двери образовалась давка.

— Это она! — кричали гости, показывая в сторону горы.

Кое-кто высказывал опасение, что понесли лошади, другие лукаво подмигивали: знаем-де мы Софию со всеми ее причудами.

— Даже на собственной свадьбе она остается Красной Софией, — сказал старый Левке. — Она и тут не ослабит вожжей!

Но все-таки зрелище удаляющейся коляски крепко засело в памяти, к тому же были выстрелы, и пышное развешенное празднество получило такое неожиданное завершение. Не исключено, что после этого София раза два появлялась в деревне, кто-то, кажется, видел ее, но те, кто видел, просто не могли узнать. Ее точно подменили, она сделалась какой-то робкой и чрезвычайно болезненной на вид. Трибель и Левке взяли на себя основную часть ее бургомистерских обязанностей, а попытки найти ее в собственном доме чаще всего были безуспешны.

— Да здесь ли она вообще? — спрашивали люди, начинавшие догадываться об ее исчезновении. — Или она тогда же и укатила со своим мужем?

52

Когда загорелся дом Красной Софии, в Зандберге увидели зарево и столб черного дыма с искрами, но оказать своевременную помощь было практически невозможно. Пожарные команды, прибывшие из ближайших деревень, и поднятое по тревоге подразделение красноармейцев успели спасти только скотину. Огонь, который перекинулся с загоревшегося леса, охватил дом со всеми хозяйственными постройками. Соломенная крыша занялась в считанные секунды; вскоре обрушились перекрытия; потолок и стены тоже продержались недолго; мебель, ковры, одежда, детские вещи, домашняя утварь — все исчезло бесследно. Пожарникам в огнезащитных шлемах, не побоявшимся проникнуть внутрь дома, удалось найти только пару расплавленных бидонов, колеса детской коляски, ножи, вилки, ложки, старинные серебряные монеты и кое-какие украшения из золота. Несмотря на тщательные поиски, никаких следов обитателей дома не было обнаружено. В полицей-

176 ском отчете об этом сказано с предельным лаконизмом: «Трупов нет, костных останков нет».

Старого Левке видели в тот день в Кляйн-Айххольце, неподалеку от гостиницы. Но после пожара он тоже пропал, как и София. Был объявлен розыск, но вскоре он появился и сам пришел дать необходимые показания. Они сводились к тому, что старик ездил в Берлин к сестре, которая незамедлительно подтвердила этот факт в одном из полицейских участков Берлина, призвав в свидетельницы и свою соседку. Кроме того, он сообщил, что в последнее время Красная София опасалась злонамеренных действий, не исключала возможности поджога и потому решила спрятать ребенка в надежном месте. Еще в пору строительства дома были случаи саботажа, порчи материалов и самого здания, стены осквернялись рисунками свастики, Предпринималась и попытка поджога, но София вовремя заметила огонь, вспыхнувший в сарае, и сумела быстро потушить его.

— Где ребенок? — спросили его.

Он пожал плечами и лишь после упорного молчания нехотя ответил:

— Если бы и знал, то говорил бы об этом только с Софией.

Без слухов, конечно, не обошлось. Родилась версия, что София сама подожгла свой новый дом, чтобы лишить жизни и себя и дочь, так как ее якобы тяготил брак с Гарри Скаландером, целиком основанный на расчете.

Другие не сомневались в том, что это дело рук злоумышленников, из мести задумавших покушение на жизнь и имущество. И лишь немногие видели причину в лесном пожаре, который поглотил и дом под соломенной крышей. Странно, что это мало кого убеждало, хотя сосновый заказник все еще страдал от огня.

Гарри Скаландер был у всех на виду. Он поспешил к дому сразу же, как только заметил пожар. Таскал воду из бочки, прилаживал шланг к трубе и одним из первых пытался залить огонь. Вскоре он понял полную бесполезность этих попыток. Тогда Гарри побежал в дом, схватил несколько ценных вещей, заметался в поисках выхода, попал в огненный шар горящей соломы и едва успел выскочить из-под рухнувших балок. Он отделался легкими ожогами, на допросе давал неуверенные и противоречивые ответы.

— Я думал, что в доме моя жена и ребенок, — говорил он вначале, а потом вдруг стал утверждать противоположное: — Нет, в тот день я ее вообще не видел. Наверно, она, как обычно, утром уехала в Зандберг.

Но после нескольких допросов подозрения в том, что Гарри Скаландер осуществил акт возмездия (из ревности или по каким-то другим личным мотивам), полностью рассеялись. Его освободили из предварительного заключения. Какое-то время он пожил у матери, а потом вместе с ней подался в Западный Берлин. Спустя несколько месяцев его отыскал там некий зандбергский ремесленник и начал страшать доносом в полицию.

— Здешним властям,— говорил он,— будет небезынтересно узнать, что супруги Скаландеры противозаконным образом конфисковали господское добро, на чем и разбогатели — отгрохали себе дом, завели роскошную обстановку, а деревню и всю округу буквально терроризировали при поддержке Красной Армии. Кроме того, кто знает, куда девалась Красная София, жива ли она? Может статься, убийца сидит здесь, в Западном Берлине.

Об этом можно узнать из статьи в одной из западно-берлинских газет. Эта статья появилась в тот момент, когда был возбужден судебный процесс. Только не против Гарри Скаландера, а против сданного им в руки полиции зандбергского вымогателя.

«Не вполне ясна и довольно сомнительна подоплека процесса, проведенного 10-м районным отделением уголовного суда в Моабите. Обвинение было предъявлено пятидесятилетнему ремесленнику из Зандберга — маленькой деревушки в Восточной зоне,— который пытался с целью вымогательства шантажировать проживающего в Западном Берлине Гарри Скаландера, бежавшего из той же деревни. Обвиняемый — утративший всякую способность самоконтроля психопат — ранее неоднократно судился. Во время войны был изолирован как профессиональный преступник. Выйдя на свободу, принял мученический венец, организовал солидную швейную мастерскую. Вновь попал под суд за хищения. После выхода из тюрьмы перебивался случайными заработками в Зандберге. Этот человек якобы по личным побуждениям разыскивал бежавших из Восточной зоны граждан и угрожал им немедленным доносом, если не получит от них определенную сумму в западных марках. Однако, поскольку задуманные им вымогательства носили дилетантский характер и не относятся к числу тяжких преступлений, а также ввиду того, что обвиняемый, по его же собственным показаниям, имеет возможность обосноваться в Зандберге в качестве частного ремесленника, суд ограничился незначительной мерой наказания — восьмью месяцами тюрьмы.

Но на размышления наводит другая фигура. Что за та-

178 инственная личность скрывалась под именем Красной Софии, которое так часто упоминалось в зале суда? Кто эта бесследно исчезнувшая женщина, так или иначе повлиявшая на некоторые обстоятельства разбираемого дела? Это жена бежавшего на Запад Гарри Скаландера. С самого начала она была приглашена в качестве свидетельницы, но в суд не явилась: ее теперешнее местопребывание установить не удалось. Судя по весьма достоверным свидетельским показаниям, эта Красная София оказалась в Зандберге в конце войны, на ней была военная форма. И есть основания предполагать, что она состояла на службе у одной из иностранных держав. После капитуляции Красная София как западная украинка немецкого происхождения быстро нашла себе место переводчицы при коменданте Красной Армии, который вскоре назначил ее бургомистром Зандберга — бургомистром комиссарского типа. Эта женщина возбудила к себе страх и ненависть населения, так как являлась суровой исполнительницей приказов Красной Армии и вместе с тем отнюдь не пренебрегала своекорыстными интересами. В деле имеется достаточно материала, уличающего ее в том, что она лишила собственности многих граждан, а некоторых отправила в исправительный лагерь. Иногда она пользовалась поддельными документами и военной формой красноармейского образца.

Единственное, что следует отметить в речи защитника,— это квалификацию Красной Софии как полувменяемой авантюристки, подвластной лишь порывам своей необузданной натуры,— как тип, порожденный сумеречной, политически неустойчивой эпохой. Где и под чьим покровительством она находится теперь? Кто помог ей скрыться и сохранить жизнь, если она действительно сумела перейти границу?»

53

Эту статейку показала мне Фея. Она пришла вместе с Аней и вновь наполнила мою комнату воздухом ожившего прошлого.

— Как же все было на самом деле? — спросил я.

Но она уже увлеклась совсем другим пластом событий и воспоминаний. Фея протянула мне вырезанный из газеты фотоснимок, сделанный во время лесного пожара. Тот самый снимок, который сыграл роковую роль в жизни Роланда Глёмнера.

— Кожаная куртка... — пояснила она, чуть ли не задышав от волнения, как будто все, что с ней связано, случи-

лось только вчера.— Я ровным счетом ничего не знала, я жила как глухая и незрячая. Он все собирался вернуть ее старому Левке, но, видно, забыл.

На фотографии я видел Фею, повисшую на руке Красного Роланда, на ее лице играла счастливая улыбка, на его — запечатлелись лишь усталость и раздражение. Возможно, в те минуты он уже думал о побеге.

— Он был у меня еще раз, после свадьбы Софии,— сказала она,— он был уверен только в одном — что от Софии пощады ему не будет.

В ней вновь заговорили отголоски бывшего соперничества — ревность, восхищение, боязнь.

— А меня она не выпускала из виду, все время спрашивала, как продвигается работа. А потом и другие интересовались Роландом. Приходили домой, искали, искали, а он давно уже исчез.

Он скрывался в лесах, почевал в стогах. Но все-таки однажды от него пришло письмо: «Не вижу выхода, вся жизнь всмятку». Кто-то из ребятишек видел, как человек в грязных лохмотьях, крадучись, вышел на окраину деревни, как он жадно прильнул к бидону с молоком. Дети подняли шум.

— Тут он сам сдался полиции,— сказала она, протягивая еще один газетный лист.

Я увидел сообщение о приговоре, вынесенном некоему Г. и его бывшим сотоварищам, которые до последнего времени совершали грабежи и поборы, используя в преступных целях военную форму красноармейцев.

«Военный трибунал Советской Армии, который состоялся в Е.,— писала тогда местная газета,— выявил мрачные стороны немецкой жизни в послевоенные годы. Процесс, продолжавшийся в течение нескольких дней, вскрыл ужасающую цепочку преступлений: грабежей, налетов, убийств, изнасилований. Несмотря на все правоохранные меры, принятые полицией и советской военной администрацией, на долю которой в нашей стране — особенно в сельской местности — выпала нелегкая и ответственная задача, подобные бесчинства переросли в угрозу всей нашей общественной жизни. Трибунал, заседания которого проходили при полном зале, сурово осудил преступников. Ими оказались немцы, жестоко терроризировавшие своих сограждан, запуганных и потерявших голову в сложных условиях военного времени. Переодетые в форму русских солдат, преступники совершали ночные налеты на жилища крестьян. Под дулом пистолета они сгоняли людей в одну из комнат и забирали все, что попадало в руки: хлеб, масло, сало,

180 мясо, консервы и другие продукты, а также постельное белье, ковры и одежду. Они резали телят и домашнюю птицу, угоняли лошадей и коров. Они насиловали женщин. Вожаком и организатором оказался пятидесятилетний П. из Ц., как выяснилось довольно малодушный человек. Он всячески стремился представить себя суду всего лишь рядовым соучастником и переложить свою вину на других преступников. Пистолет, служивший ему для запугивания мирных жителей, он якобы отнял у немецкого солдата при вступлении Красной Армии. В грабительских операциях он действовал под именем «Николай», на ломаном русском языке требовал от крестьян масло, сало, хлеб и другие продукты.

Его главный сообщник А., 1926 года рождения, был, по всей видимости, фактическим предводителем банды. Этот человек с узким лисьим лицом, курчавыми волосами и беспокойным колющим взглядом хладнокровно описал все совершенные ими злодеяния. Он-то и старался запугать людей повелительными русскими фразами, в то время как П. прятался за его спиной из страха быть узнанным, зато после налетов жадно набрасывался на свою долю. Суд заслушал множество свидетельских показаний, раскрывших всю вереницу черных дел: четырежды подвергались ограблению дома крестьян Е., Л. и Б. Деревни Л., С., К.-А. с мая по август жили, по существу, в условиях непрерывного террора со стороны преступников. Снова и снова жертвами насильников становились женщины и девушки, в том числе даже шестидесятичетырехлетняя крестьянка, над которой они надругались на глазах у ее детей.

Основная доля вины падает на П., А. и М. Последний до сих пор скрывается от полиции. Он дважды участвовал в налетах, его «специальностью» был забой скота. В. и Е. обеспечивали транспортировку награбленного добра и, по их собственным показаниям, «стояли на стреме». Бандиты были схвачены во время своего последнего налета, их удалось задержать в тот момент, когда они искали укромное место для повозки, доверху нагруженной воровской добычей.

Вскоре после этого в полицию явился с повинной двадцатипятилетний Г., ранее порвавший с бандой, но имевший прямое отношение к преступным акциям, от которых пострадали деревушки вокруг З. Он уверяет, что якобы уже давно осознал опасность подобного рода действий и даже пытался удержать от дальнейших бесчинств своих бывших сообщников. Но следствием неопровержимо установлено, что с главарями банды он имел дружеские отно-

шения, доставал им военную форму, участвовал во многих бандитских вылазках и выдавал себя за русского офицера.

Наконец все шестеро обвиняемых предстали перед судом. Одни из них полностью признают свою вину, другие прибегают ко лжи, изворачиваются. Но свидетели — пострадавшие жители многих деревень — помогают суду точно и окончательно установить состав преступления. Их показания подтверждают главный вывод обвинительного заключения о том, что представшие перед судом бандиты являются в высшей степени социально опасным элементом. Это — наглые, способные на любое насилие преступники. В целях личного обогащения, а также террористического воздействия на крестьян они без зазрения совести использовали военную форму бойцов Красной Армии.

Суд приговаривает: главарей банды П. и А. к высшей мере наказания — расстрелу, остальных обвиняемых — к длительным срокам лишения свободы: Г. к двадцати годам, М. к восьми годам, В. и Е. к шести годам заключения в исправительно-трудовой колонии».

54

И вот в мою дверь постучал он — Роланд Глэкнер, теперь уже пятидесятитрехлетний мужчина. Его синий, сверкающий серебристой окантовкой мотоцикл стоял у моей калитки.

Глэкнер постучал в полной уверенности, что я дома один, и спросил:

— А ваша жена знает это?

Он посмотрел на портрет маленькой Сони, потом перевел взгляд на детскую фотографию Рут. Я как раз сравнивал их между собой. Его взгляд был прикован к фото.

— Пусть она никогда не узнает, — сказал Глэкнер.

Это была единственная его просьба и все, ради чего он явился в мой дом. Больше ему делать было нечего, но уходить он не торопился и еще долго держал фото в руках. Конечно, он знал Рут в лицо и сам в этом признался. Он начал разговор без всякого повода, сначала нескладно и как бы нехотя, потом заговорил быстро и взволнованно. О том, как трудно ему было справиться с искушением как можно чаще видеть ее. Он выматривал нас по воскресеньям, когда мы гуляли с нашей дочерью, или ждал случайных встреч на склоне горы. Сколько раз он приближался к нашему дому, прячась в листве, простаивал возле ограды или даже подходил к калитке, но в последний момент все-

182 так пасовал. Заговорить с ней или просто поздороваться он так и не решился.

— Когда я увидел ее в первый раз спустя двадцать лет, я подумал, что это София,— сказал он.

Глэкнер вздрогнул и шагнул к выходу. Его испугал ветер, чуть шевельнувший скрипучую дверь. Если бы сейчас вошла Рут, он бы слова не вымолвил и постарался бы поскорее исчезнуть.

— Когда она появится здесь? Может быть, сегодня? — спросил он.

Я пожал плечами,— Рут не ответила на Анино письмо, видимо, всерьез увлечлась нынешней Софией.

— Она любит свою профессию,— ответил я,— и когда пишет, забывает все на свете.

Он продолжал задавать вопросы, ему было интересно поподробнее узнать о ее работе. Я показал самые последние статьи. Он впился глазами в газетные полосы, потом четко произнес ее имя и заголовки статей, как будто хотел не только удостовериться лично, но и подтвердить всем и каждому, что это она, именно она — автор опубликованных материалов. Особенно поразила его заметка о Ленинграде, он никак не мог оторваться от нее.

— Хорошо,— вымолвил он с оттенком почтительной похвалы.— Очень хорошо.

Он попросил меня дать ему на время лучшие ее работы, чтобы дома прочитать их повнимательнее. И признался, что и сам с большой радостью съездил бы в Ленинград или в Москву, но, как он понимает, это просто невозможно.

— Я не смог бы там смотреть людям в глаза. А ей, конечно, можно. Я рад за нее.

Дрожащими пальцами Глэкнер разминал сигарету. Глаза за стеклами очков выдавали душевное беспокойство. Никогда прежде он не переступал порога этого дома. Но не случайно именно здесь, именно сейчас так растревожилась его память.

— Я имел все, что хотел, все перепробовал, все проиграл,— сказал он.

Не переводя дыхания, он говорил о Рут и Софии, снимал очки, протирал стекла, иногда смахивал слезу.

Годами сторняясь людей, отгоняя воспоминания, он молчаливо искал последний смысл своей жизни в отгороженной от всего мира мастерской, а теперь вот, склонив голову, стоял перед фотографией Рут, перед портретом ребенка, написанным Феей, перед газетными страницами. Теперь он увидел на пороге выжженную раскаленным жгелем

— У меня нет никаких прав на это, у меня ни на что нет прав.

Глэкнер снова вернулся к столу, взял газету со статьей Рут, сел и углубился в чтение. Его лицо разгладилось и посветлело, он машинально поправлял очки и растирал окурки в пепельнице. Я боялся ненароком помешать ему. Наконец он взглянул на меня и сказал:

— Очень вам благодарен.

И еще я узнал от него, что Фейя была единственным человеком, кто не порывал связи с ним в течение всего двадцатилетнего заключения. Она вела себя так, как будто ничего не случилось, как будто нет ни вины, ни разлуки. Само собой разумеется, она приняла его и после освобождения. Ее нежное внимание к нему не слабло с годами, в прошлом она никогда не заводила речи. Но портрет ребенка однажды все-таки показала, спросив при этом: «А если она жива?»

Глэкнер внезапно вокочил и стал убеждать меня, что слышит чьи-то шаги. Снова этот беспокойный, мятущийся взгляд. Куда подевалась только что обретенная уверенность?

— Все-таки у вас дочка, — произнес он почти умоляюще и решительно направился к двери, остановить его было невозможно.

На лице снова появилась печать суровой замкнутости, как при первой нашей встрече в сарае, когда он возился с мотоциклом, а я читал на двери поэтическое признание. Он еще раз кивнул мне, крикнул: «Спасибо!» — и унесся на своем мотоцикле.

55

Дом на краю леса, где Красная София прожила год, был отстроен заново. Его заняла переселившаяся из других мест семья. Новоселы распахали запущенные участки и кусок бывшей господской земли, которая тоже долгое время пустовала. Собака сбежавших хозяев гостиницы, жившая под присмотром Красного Роланда, какое-то время беспризорно бродила по дорогам, потом прибилась к детям переселенцев, позволяла кормить себя и гладить, а вскоре и научилась подчиняться их командам. Они и дали ей новую кличку — Босак.

Слесарь Трибель принял должность бургомистра. Ему пришлось поставить свою подпись на некоторых письмах,

184 заявлениях и отчетах, которые были написаны еще Красной Софией. Он пользовался ее чернильным прибором и карандашами и часто размышлял над тем, как бы поступила она в каком-нибудь мудреном случае. Нередко он выбирал себе в советчики старого Левке, так как знал, что с его мнением в трудных ситуациях считалась Красная София. Трибель спорил с ним, но в конце концов все-таки прислушивался к его слову. Он надеялся, что Красная София вернется со дня на день, и потому не очень-то вникал в суть своей трудной службы и в любой момент готов был расстаться с ней. Он лишь стремился как можно более точно исполнить все то, что было начато ею: строительство дороги в Кляйн-Айххольце, ремонт школы и сельского рестораника, радел о развитии коллективного животноводства и основании рыболовецкого товарищества. Когда же на его пути вставали трудности, он обычно говорил:

— Так решила Красная София, а я несу ответственность перед ней.

Но уже через год никто в Зандберге не верил в возвращение прежнего бургомистра. Снова начали распространяться нелепые слухи и всяческие небылицы, поскольку ее исчезновение никто вразумительно объяснить не мог. Рассказывали умопомрачительные истории про убийства, поджоги, грабежи, террористические акты. Пропажа или порча добра приписывались Красной Софии вкупе со Скаландерами, поскольку исчезли они почти одновременно. Все проступки и злодеяния, на которые неспособны добропорядочные зандбергцы, относились на счет пропавших. Всегда находился какой-нибудь «очевидец», с пеной у рта клявшийся в том, что буквально на днях мимо горы вихрем пропылила коляска Красной Софии. Эти легенды не рассеялись даже тогда, когда у какого-то берлинского скупщика была отобрана и возвращена Зандбергу та самая коляска. Софии приписывались и все проделки Красного Роланда: ведь его, в сущности, никто не знал, он орудовал в форме красноармейца. Она же всегда была в гуще людей и событий, она откровенно провозглашала: «Такова воля Красной Армии! Такова моя воля!» Кроме того, не обошлось и без отзывов кое-кого из «бывших», которые не могли примириться с потерей имущества, полей, лесов, роскошных вилл и имений; они ненавидели Красную Софию за установленный ею новый порядок, столь отличный от прежнего, священного для них порядка.

Ни полицейские протоколы, ни информации о несчастных случаях, ни акты из анатомичек, скопившиеся в папке с именем Красной Софии, ни в малейшей степени не поко-

лебали туманную, до абсурда фантастическую легенду, которая так преобразила всю ее судьбу. Хотя Роланд Глёрнер и показал на процессе, что его бывшие приятели настаивали на убийстве Красной Софии, все обвиняемые упорно отрицали это, а доказательств их преступных намерений найти не удалось. В довершение всего был обнаружен труп неизвестной, погибшей в результате несчастного случая. Мертвая двадцатичетырехлетняя рыжеволосая женщина лежала на обочине дороги в двадцати километрах от Зандберга. С полной определенностью опознать ее не сумели, хотя несколько врачей, в том числе тот самый украинец, что лечил ее после родов, не исключали возможности идентифицировать ее с Красной Софией. Но из-за того, что водитель, совершивший наезд, скрылся, а тело было обезображено и зарыто в землю, дальнейшие поиски ни к чему не привели и ничего не прояснили. С годами многое забылось, и каждый, кто ее знал, на свой лад рисовал облик Красной Софии. В зависимости от того, как ему жилось в ту пору, человек выбирал либо светлые, либо мрачные тона. Получалось, что она была причастна абсолютно ко всему, что творится на белом свете: к радости, страданию, отчаянию и надежде — все это, по логике разнолобоскутного предания, она либо приносила в жизнь, либо отнимала. Красный Роланд представлял персонажем леденящего кровь боевика. Он был неотделим от Красной Софии, всегда рядом, оба в красноармейской форме со звездами, в сапогах, грозно потрясающие оружием, они обрели прямо-таки канонический вид, хотя никто толком не знал, что же их связывало на самом деле. Они бросили вызов этому маленькому миру, отменили старые и установили новые законы. Большинство видело в их руках путеводную нить, кое-кто — веревку-удавку, но для всех они означали ломку, переустройство жизни, чистую или нечистую совесть.

И когда много лет спустя в Зандберг вернулась родная дочь Красной Софии, никто не узнал ее, хотя она не может не поражать портретным сходством с матерью. Фантастический образ, которым наделили пропавшую без вести женщину, приобрел огромную силу, претерпел множество превращений, пока не стал монументом или жупелом, невероятно далеким от своей человеческой первоосновы.

Пришла пора прощаться с фрау Скаландер. Мы с Аней сидели за кофейным столиком Трибелей и лакомились беспо-

186 добным слоеным пирогом. Я подарил фрау Скаландер портрет маленькой Сони. Смысл подарка она поняла: в сущности, фрау Скаландер неглупая старушенция. Несколько недель, проведенных в Зандберге, доставили ей немало переживаний, но и переживаниям рано или поздно приходит конец. Что-то в этом роде она пыталась мне объяснить. Губы слегка напояжены, брови подведены, волосы просто удивляли своим блеском и курчавой пышностью — парик есть парик. Когда Рут увидела ее в мерцающих отсветах телевизионного экрана, она, конечно, не могла удержаться от язвительного замечания:

— Ты что, не заметил? Она носит парик. Все в ней фальшиво.

Хорошо, что больше им не привелось встретиться. Свою мечту когда-нибудь заключить в объятия родную внучку фрау Скаландер окончательно похоронила после напрасной поездки в Берлин. Сестра старого Левке давно умерла, а вместе с ней — и последняя надежда получить какие-нибудь сведения. Мне бы следовало сказать ей: «Нет у вас никакой внучки, она не родня вам». Ведь они были в такой же степени чужими друг другу, как Красная София и фрау Скаландер. Даже если бы Гарри Скаландер оказался отцом Рут, я сказал бы старухе: «Все равно вы чужие, дело тут не в родстве по крови, а в том, что вас разделяет целый мир».

О доме давно уже не было речи. Она все-таки понимала, что больше не имеет на него никаких прав. Приезжал оценщик, старуха вручила ему деньги за опись и сунула мне эту бесполезную бумагу. Возможно, она думала, что таким образом расплачивается со мной за детский портрет, который незамедлительно исчез в недрах ее чемодана. Она собиралась уехать следующим утром, как можно раньше.

— В целом поездка оправдала себя, — сказала фрау Скаландер.

Потом мы болтали о разных пустяках. Скрывать друг от друга было нечего, ничто, кроме правды, не разделяло нас. Честно говоря, я считал, что все увиденное и понятое ею важнее всех ее утрат. Но вслух я сказал:

— Наверно, жена уже дома, мне пора идти.

И лицо фрау Скаландер вдруг резко изменило выражение, уголки рта сразу поползли вниз.

— Да, — кивнула она, — красивая женщина, я мельком видела ее.

Это были последние слова, которые я услышал от нее в тот вечер. Ни тебе «до свидания», ни дежурных вежливых фраз. Надо думать, во второй раз она уже не приедет в

эти места. Мы были уже застрахованы от нее. Но если я правильно понимаю, она ведь не вносила в нашу жизнь ни страха, ни тревоги. Она лишь ставила вопросы, которые заслуживают того, чтобы над ними поразмыслить.

57

В конце августа лето еще раз задержало дыхание. Дочка не знала меры в шалостях, но я теперь помалкивал, потому что наконец приехала Рут. Часами она сидела в саду и писала. Иногда читала вслух. Речь всегда шла о современности, в которой я находил слабые, полустертые следы прошлого. После обеда мы отправлялись на озеро. Любили далеко заплывать. Солнце, все еще по-летнему жаркое, задевало край горы. И создавалось впечатление, что оно касается нашего дома. Дочка говорила:

— Смотрите: наш домик горит.

Мы смеялись. Слова уже были не нужны. Все необходимое было сказано, оставалось лишь то, о чем лучше не говорить. Ни огонь, ни сомнения, ни фрау Скаландер не могли нарушить порядок вещей. Камни нашей крутой лестницы больше не таили никакого подвоха. Когда-то мы тащали по ней Аню на руках, потом она научилась сама доползать до двери, а теперь лихо скачет по ступенькам и даже находит в этом удовольствие.

Дом, поставленный на сыпучем, песчаном склоне горы, простоит еще какое-то время. Его держит фундамент из камня и цемента. И мы не хотим ничего менять в нем. Дверь открыта. Мы входим, и нас обдаст последним жаром лета. Если бы здесь сидел старый Левке, он бы, наверно, сказал:

— Чем сильнее припекает, тем больше шансов обрести новой кожей. Разве не так?

Персонажи и место действия вымышлены, при этом автор стремился максимально приблизиться к действительности.



Гюнтер
Хофе

РАССКАЗЫ

ДОПРОС

Началось с довольно будничной процедуры. Пришли двое полицейских и вручили повестку. Она предписывала мне явиться 1 сентября 1945 года в местную комендатуру советских войск. Основание: регистрация бывших офицеров. Отныне я должен находиться под постоянным контролем.

Тягостное прощание.

— Ну это же просто регистрация.

— Только ли?.. Увидимся через несколько лет... не раньше. Мы ведь там такого понаделали. Им придется начинать все заново. В Орле камня на камне не оставили... То же самое в Минске...

Десятка три «бывших» заполнили приемную. В дверях — часовой. Он, наверно, уже успел привыкнуть к нервозному подергиванию множества лиц и фигур. Армейские дантисты, ветеринары, офицеры финансовой службы, начальники призывных пунктов, полковые врачи, оружейники, маленькие фюреры фольксштурма, инспектора, аптекари госпиталей, военные юристы. Поди разберись, кем они были и за кого себя выдают. А где офицеры-фронтовики? Возможно, вот этот. Без правой руки. Я присаживаюсь рядом.

— Позвольте представиться: Хорниг. Я вижу, мы здесь моложе всех. Камни ворочать лучше без этих стариканов. Вы согласны? — тихо говорю я.

Он пожал плечами, и от этого движения пустой конец рукава стал еще более заметен.

— Боюсь, что от меня Ивану будет не больше пользы, чем нашей старой фирме, после того как ее накрыло разрывным снарядом...

По его лицу, обожженному и обвстренному войной, пробежала ироническая гримаса.

— А вот вас, господин камерад, ждет более длительная трудовая программа, и отнюдь не в субтропиках.

— Догадываюсь.

Вещмешок лежит у моих ног. В нем нижнее белье, пара штопанных-перештопанных носков и банка свекольного салата. Есть и черный хлеб. Дневная порция. На этой неделе за снабжение четырех секторов Берлина отвечают русские. Вся порция помещается на ладони. На случай морозных ночей я захватил одеяло и даже свою шинель с пластмассовыми пуговицами.

Слышится прочувствованный шепот:

— Против Советского Союза? Никогда в жизни! Сейчас это просто невозможно. Да и по моральным соображениям никто у нас не пойдет на это.

Ясновидцы поучали незрячих и запуганных. Я не мог не сказать им:

— Это вы посылали нас в Сибирь и на Дальний Восток, вы обещали нам Амур и много чего еще.

Дверь, за которой проводились допросы, открылась. С одним уже закончили. Он вышел как-то странно сгорбившись. Чуть ли не к каждому обращался с громким заклинанием: «Никогда не воевать против Советского Союза!» Но при этом не отважился оглядеться вокруг. Не услышав ни единого слова в ответ, смиренно опустил глаза и умолк.

Изнурительно тянулось время. Сильнее чувствовался голод. Уже почти вечер.

Часовой выкрикивает какое-то слово. Очень похоже на мою фамилию: Горниг. У них не получается наше придыхательное «х». Это я мог сообразить. Стучу в дверь. Поворачиваю ручку. За столом — старший лейтенант. Рост не меньше ста девяноста. Густые брови. На голове две седые пряди. Вероятно, регистрация не такое уж веселое занятие. Слишком много вранья для одних ушей.

Правда, рядом с ним — переводчица. Молодая. Хорошенькая. В зеленом кожаном жакете. На лице — неприступное величие. Глаза почти черные, но от них веет ледяным холодом. Что это? Ненависть?

— Когда и где родился? Вероисповедание? Место жи-

тельства? Образование? Профессия? Отец, мать, родственники жены... Когда был призван? Ордена и прочие награды? Последняя армейская должность? — Он ведет протокол по-русски, она — по-немецки, деревянные ручки, фиолетовые чернила.

— Вы состояли в нацистской партии?

— Нет.

На его лице едва заметная улыбка. Я почти слышу ту произнесенную фразу, которая у него на уме: «Да, сейчас нет охотников числиться нацистами», но он говорит иначе:

— Вам известно, что картотека членов нацистской партии у нас в руках?

— Мне это неизвестно.

— Были ли вы близки к какой-либо нацистской организации?

Я задумываюсь, и, очевидно, надолго. Он молча обводит что-то своим пером, покачивает головой. Должно быть, все это ему до отвращения знакомо.

— Воевали против СССР с оружием в руках?

Это самый убийственный вопрос. Чувствую, как внутри заворочался страх, страх за последствия ответа.

— Да.

Они быстро переглянулись.

— Где? Когда? Номер части? В качестве кого?

Номер моей дивизии ему, по всей вероятности, о чем-то говорил. Иначе он не был бы так поражен ответом. Теперь все реже заглядывает в бумаги. Допрос пошел прямой наводкой.

— Расскажите о своем возвращении с Дона.

— Наша колонна ползла замерзающим голодным червем... Мимо невзятой Тулы на юго-запад. В конце декабря сорок первого я оказался под Новосилем.

— Какие части Красной Армии вели тогда с вами бои? Когда сдали Каменку? Огневые рубежи?

Я отвечаю. Он уточняет.

— Инженерные сооружения?

Я отвечаю. Он дополняет.

Мои ответы чересчур поспешны. Как будто их выталкивает пружина крайнего умственного напряжения. Но откуда ему все известно? Лицо его становится все более отчужденным.

— Вы утверждаете, что потеряли воинское удостоверение, что у вас осталось только свидетельство об увольнении, выданное американцами. А мне думается, вы служили в СС, а потом сорвали свои кровавые эмблемы и теперь плетете мне истории, относящиеся к тем участкам цент-

192 рального фронта, куда не вводились эсэсовские банды. Докажите истинность ваших утверждений.

Какие уж тут доказательства? Наверняка он считал истинным только то, во что верил сам.

— А вы хоть когда-нибудь слышали про «аппендицит»? Что это значит на языке фронтовиков? — допытывается он. Девушка бегло переводит. В глазах — все тот же ледяной блеск.

— «Аппендициты» были на многих участках. У железной дороги на Воронеж фронт сильно выдвинулся вперед. Очевидно, это вы имеете в виду?

Снова этот недоверчивый оценивающий взгляд.

— Если вы там действительно были, то должны знать о некоторых операциях в мае сорок третьего.

Май сорок третьего... Ничего особенного тогда не происходило. Фронт остановился. Позиционная война. В начале февраля — мощный удар со стороны Воронежа. Мы застряли под Малоархангельском. Но русские танки прорвали оборону и взяли Курок. Май сорок третьего?

Он смотрит на меня с превосходством математика, заранее вычислившего результат. Вероятно, ему доставляет удовольствие загонять меня в угол с помощью фактов военной истории. Оба пристально уставились на меня. Небось думают: «Этот фриц понятия не имеет, что творилось в мае сорок третьего в ста километрах восточнее Орла, а наврать готов с три короба. Хитросплетенная ложь не выдерживает элементарной проверки. Типичный пример».

— Ну как? Не припоминаете?

Голос еще не достиг обвинительной жесткости, но в каждом слове звучит презрительное недоверие. Отсюда меня уже не выпустят...

— Вам что-нибудь говорит такое название: Волчья балка?

— Ну конечно! Это вроде кодового названия одной операции. Нам поставили задачу выбить остатки русского батальона из Волчьей балки. Я тогда чуть не отдал богу душу. Одна рота выступила из ближайшей деревни, основная часть двигалась через дефиле, а на правый фланг была переброслена штурмовая группа с Хельголанда.

— А дальше?

Голова отказывалась соображать. Меня душил страх. Неужели снова влезать в униформу? И это через три месяца после окончания войны! На сей раз в качестве военнопленного. Вот уже восемь лет, как я солдат. Не много ли для одной жизни?

— Лично вы участвовали в том бою? — настал черед отвечать и на этот страшный вопрос.

— Да, я корректировал огонь артиллерии на восточном фланге.

— Опишите, как все происходило.

Не дай запугать себя. Сохрани хоть искру гордости. А чем, собственно, гордиться? За окнами промхнул трамвай. На мне скрестились их испытующие взгляды.

Операция сулила удачу. Наш полк разом выпалил недельный боезапас. Мы быстро захватили первый рубеж обороны противника. Передовой отряд уже скрылся в ложине. Его местонахождение можно было определить по гвалту автоматных очередей. Я тоже было сунулся в самое пекло. В какой-то миг почувствовал, что у меня ослабли ремни снаряжения: расстегнулась пряжка. Планшетка, компас, угломер, подсумок с хлебом — все это тут же полетело на землю. Я положил пистолет и фонарик и начал собирать вещи. Потом в спешке пристраивал их на место. Когда я выпрямился, русский стоял прямо передо мной. Я успел окинуть взглядом его могучую фигуру и заметить нацеленный на меня автомат в правой руке. Палец лежал на спусковом крючке. Нас разделяло не больше десяти шагов. В ярком лунном свете я его хорошо видел. За его спиной — взъерошенный войной клочок степи. Страх был не в голове, а в теле. Сделать какое-либо движение просто не хватало сил. Будто на меня столбняк нашел. Эта сцена напоминала киноэффект, имснуемый стоп-кадром. Отчаянно собираю в комок всю свою волю. Вскидываю пистолет и, не задумываясь, жму на спуск. Раздается жалкий щелчок! Судорожно отвожу затвор. Снова щелчок. Бог мой! Я же потерял магазин. Потом обожгла страшная догадка: ты же остался один как перст между авангардом и основными силами. Сейчас русский неторопливо совместит мушку прицела с твоим лицом. Мгновенный удар свинца — и все оборвется. Конечная станция — Волчья балка. Где-то в середине Восточного фронта. Раскаты оружейной пальбы и вспышки ожесточенного боя, ночь, эта жуткая дуэль в состоянии шока — все кончится разом.

Но щелчок моего пистолета, видно, заморозил и русского. Он не стрелял. Мы оба замерли, впившись друг в друга глазами.

Я сделал шаг назад, с трудом переставив окаменевшие ноги. Через силу сделал второй шаг. И еще один... Лунная полоса между нами стала шире. Мой бешеный пульс перекрывал все другие звуки. Почему не стреляет? Ждет, когда побегу? Лучшей мишени не придумать. Я должен на-

194 пасть, поразить его, вырвать у него автомат! Безумная идея. В долю секунды он сделает из меня решето.

И тут меня подстегнул смертельный страх. Рывок в сторону березняка. Через несколько секунд я кувырком катился по склону. Мишени нужна высота... Ногами, руками, всем телом вжимаюсь в землю. Затормозить удалось перед самым минным полем. Там тоже подстерегала смерть. Снова страх подбросил тело. Я бежал, бежал, не разбирая дороги... Но выстрела не последовало. Я ушел от него. Но оказался в самой гуще огня, в средоточии боя, рваными сполохами озарявшего лунную ночь. Тут уже заговорил инстинкт фронтовика: ты выслан для указания целей, делай же свое дело. Мои радисты беспомощно озирались в ожидании сигнала. У выхода из лощины бой шел с переменным успехом. Голоса командиров отчаянно пытались прорваться сквозь грохот стрельбы: «Третье орудие! Заряжай!.. Второе! Огонь!»

И снова я пригвожден к месту, на этот раз минометным огнем.

Бой закончился к утру. Потери большие. Несколько человек взято в плен. Укрытия разнесены в щепки. К вечеру противник снова закрепился на прежних рубежах. Это означало, что наше наступление провалилось. В бункере я услышал похвалы в свой адрес, говорили, что я хорошо корректировал огонь. «Нам не повезло, но ты молодчина, Хорниг», — сказал командир дивизиона.

А у меня перед глазами стоял тот здоровенный русский, и мое поражение в поединке с ним саднило душу, не давало спать.

Я снова был во власти прошлого. Приоткрылось ли оно хоть краешком для тех, кто меня допрашивал? Они о чем-то шептались. Иногда настороженно на меня поглядывали: не улавливаю ли смысл их разговора?

— Как вы считаете, почему красноармеец не открыл по вам огонь? — Лицо переводчицы столь же враждебно и непроницаемо, как и в начале допроса.

И в самом деле, с какой стати он меня пощадил? Честная игра? Ведь понимал же он, что может взять меня голыми руками. Великодушие? Не исключено, конечно. Вид у меня был довольно жалкий.

Монотонная речь переводчицы. По глазам офицера видно, что он погружен в раздумье, но губы решительно сжаты, ни о какой перемене чувств по ним не догадаешься.

— Как бы вы повели себя в обратной ситуации, то есть если бы выбор был за вами?

Коварный вопрос. Мне, как слабейшему, волей-неволей

придется выбирать такой ответ, который сулит спасение собственной шкуры, выставляет меня в благородном свете. Но в безоружного я бы стрелять не стал. Ни при каких обстоятельствах. Так я ему и ответил.

Мохнатые брови офицера сердито хмурятся. Он резко меняет тон, уже не скрывая своего негодования:

— По безоружному? Не забывайте, что путь гитлеровской армии виселицами отмечен. А что вы оставили, драпая от Волги к Днепру? Выжженную землю!.. Не стал бы он стрелять по безоружному!..

На щеи и висках вздуваются жилы.

Я не знал, что ему отвечать. Все было так, как он говорит. Я и сам перевидал множество виселиц. Почти каждую ночь поднималось зарево над какой-нибудь деревней.

Он глубоко вздохнул. Похоже, к нему возвратилась холодная невозмутимость.

— А не следовало ли красноармейцу взять вас в плен? Как вы думаете?

В голосе звучит властная уверенность. Переводчица замерла в ожидании ответа.

— Взять в плен? Но там полно было наших. Кроме того, как я могу судить о чувствах красноармейца? Мне трудно понять мотивы его действий. Для меня это просто необъяснимый поворот судьбы. Факт, и не больше. Он не стрелял, хотя у него было оружие.

Молчание. Потом снова цепочка протокольных вопросов.

— Принимали участие в карательных акциях?

— Нет.

— Какие события разыгрались в октябре сорок второго в Семинарской?

— Не знаю.

— А в январе сорок третьего в Красном?

Он прекрасно ориентировался в событиях, о которых я не имел ни малейшего понятия. Мне ничего не оставалось, как недоуменно пожать плечами.

— Какие деревни попали под обстрел вашего дивизиона? Подумайте хорошенько.

Я кожей чувствовал угрозу, исходящую от этого вопроса, хотя прозвучал он вполне корректно. Рубашка прилипает к телу... Моего дивизиона?

Он записывает все названия, которые я вспоминаю. Листает папку с документами, что-то сверяет и сравнивает. Я начинаю догадываться, что они ищут людей, совершивших военные преступления. Об этом сейчас пишут все газеты. Поднимаются материалы, содержащие номера дивизий,

196 фамилии, названия оккупированных населенных пунктов. Им надо найти в первую очередь тех, кто особенно отличился. В массовых казнях... в расстрелах заложников... в так называемых акциях против мирного населения.

Мое место всегда было на переднем крае. Ничего, кроме пуль и русских стрелков, я не видел и не слышал. Нас разделяли только колючая проволока и минные заграждения. А свинства, которые творились в глубине эшелонов,— это было за моей спиной, к этому я рук не прикладывал, но и мне, скорее всего, от них не отмыться. Все раскрутится в другую сторону. Пересыльный пункт во Франкфурте-на-Одере. Путь открыт до самой тайги. Очистные работы в бассейне Донца. Лесозаготовки на Урале. Вагонетки в шахтах Донбасса. Возможностей хоть отбавляй. Вплоть до двадцатипятилетнего заключения за военные преступления.

Переводчица внимательно слушает старшего лейтенанта, кивает. Ее пальцы поглаживают кумачовую скатерть. Потом встает и уходит. Дверь закрывается. Кости брошены. Это значит, что безобидная часть процедуры миновала. Бесповоротно.

Бог мой! Меня трясет от страха! Как тогда, в Волчьей балке. Отлипнет ли от нас когда-нибудь грязь войны? Когда же мы станем нормальными мыслящими людьми? Прибьемся ли мы к тому берегу, где можно жить по-человечески?

Дальнейшее я мог себе представить без особого труда. Явится эта Ольга, Таня — как бы ее там ни звали — в сопровождении военных с красными повязками. Комендант ткнет в меня пальцем и вынесет свой приговор: «Вот сидит оккупант. Он жег и грабил нашу страну!» Начальник караула испытующе взглянет на меня, положит руку на парабеллум, пристегнутый к поясному ремню, и решит мою участь двумя словами: «Ну, давай, фриц!» Через пять минут я уже буду трястись на выдавшем виды грузовике в компании себе подобных...

Для старшего лейтенанта я, кажется, перестал существовать. Он так увлекся бумагами, точно перед ним повесть или роман. «Станционный смотритель», например, а может, «Братья Карамазовы» или даже «Война и мир».

Регистрация началась в восемь утра. Ровно двадцать минут на каждого. Прошло уже тринадцать часов. Хлебный паек я давно съел. Всех вызванных уже отпустили. Наверняка я единственный, кого сегодня отсеяли,— признался, что воевал с русскими. В течение двух с половиной лет. А если бы не признался? Тогда на первом же перекрестном допросе меня бы поймали на противоречиях. Ты что,

ребенок? Разве можно скрыть тысячу дней кромешного ада? Еще когда начали валить пограничные столбы, внутри у нас что-то ломалось! Если бы спросили, чего из снаряжения тебе не хватает, я бы сказал: «Прошу выдать шоры».

Приходилось изощряться, самому изобретать что-то вроде успокоительных пилюль. Каким разумным казалось правило трех обезьянок: ничего не видеть, ничего не слышать и, конечно, молчать о крови, о невинных жертвах. Но так ли это просто — молчать? Мало-мальски опытный психолог безошибочно почувствует судороги нечистой совести и запустит руку в твое подсознание.

Грудь моего визави была увешана медалями. Надо думать, парень не из робких. Руки как паровозные шатуны. Он представляет Красную Армию. Он, представитель Советского Союза, лицом к лицу с бывшим капитаном несуществующего рейха.

В соседней комнате слышны шаги. Думаю, особых приготовлений не ожидается. Подлежащий перевоспитанию чернорабочий Герхард Хорнинг не доставит лишних хлопот. Он готов принять неизбежное.

Легкий шум. Скорее всего — те, с красными повязками. Дверь подалась. Переводчица. Почему же одна? Где красные повязки? Она осторожно прикрывает дверь. Ставит на стол бутылку и два стакана. Видно, давно мучает жажда.

Офицер что-то говорит девушке. На ее лице мгновенная улыбка, если мне не померещилось. «Доконшаем мы этого пруссака» — я бы так расшифровал их короткую пантомиму.

— Товарищ комендант воевал на участке фронта западнее Новосиля. Настаиваете ли вы на своем утверждении, что находились именно там?

Мне становится как-то легче. Любой вопрос сейчас сулит отсрочку, пусть крохотную. Вид у меня, должно быть, озадаченный. Я сразу подумал об «аппендиците» — он, значит, неспроста спросил. Бутылка исчезает в его огромных ладонях, он ломает сургуч. Лицо по-прежнему каменное. Да и у его молодой помощницы глаза ничуть не потеплели.

— Товарищ комендант допускает, что вы действительно были в Волчьей балке.

Опять я не знаю, что отвечать. У него власть, ему решать, как все было на самом деле. Но чем объяснить этот особый интерес к Волчьей балке?

Он до краев наполняет стакан. Прессованное стекло. Такие стаканы я видел в деревенских гостиницах. Толстые стенки. Вкрапленные в них воздушные капельки. А может

198 быть, это пузырьки газа? Минеральная вода? У меня с утра ни капли во рту.

— В Волчьей балке,— девушка делает выразительную паузу,— произошла ваша первая встреча, вы оба находились там.

На улице нетерпеливо закричал автомобиль. Кто-то куда-то спешил по каким-то неотложным делам. В оконной раме четко вырисовывался шпиль собора. Если бы не летнее время, часовая стрелка стояла бы на цифре «семь». Неужели я не ослышался? Ведь это просто невероятно... Серые глаза лейтенанта вроде бы чуть подобрели. Пальцы правой руки неслышно барабанили по стеклу... Тогда они сжимали автомат Дегтярева образца сорокового года.

Комендант снова берется за бутылку. Она похожа на те, которые в детстве бойскаутами мы брали с собой в походы в качестве спиртовок. Давненько это было. Целую жизнь тому назад. Он встает, наполняет второй стакан, протягивает его мне. Мышцы почти конвульсивно сокращаются, я резко выпрямляюсь и, стоя как истукан, держу стакан на уровне груди, там, где когда-то была третья пуговица форменной рубашки. Поднимаю глаза на офицера: он выше на целую голову.

— Наздоровье! — говорю я.

Этим «наздоровье» мы обычно встречали на фронте очередную порцию водки и при этом старались, чтобы все выходило как можно более «по-русски». Нечто вроде самоутверждения. Похоже на то, как какой-нибудь мальчишка, спускаясь в темный погреб, начинает лихо насвистывать веселый мотивчик, чтобы отогнать от себя страх. А нам приходилось бывать и в чужих погребках, и в чужих комнатах.

— Наздоровье,— бормочу я, и это звучит совсем не так молодецкато, как в сорок втором в день святой Варвары: «Храни нас, святая Варвара, покровительница артиллеристов!» Кого-то она хранила, наверно, и от наших она рядов. Вот этого парня, например.

— На здоровье,— отвечает он и объясняет через переводчицу, что хочет выпить за мою честность.

На его груди посверкивают медали. Мне снова слышится металлический щелчок! Если бы пистолет был заряжен, я не видел бы сейчас этого человека... За мою честность... Я впервые ощутил стыд как острую физическую боль. Комендант чокается со мной. Звон отнюдь не хрустальный. Мне казалось, что я проглотил пламя, по телу мгновенно растеклось тепло. Я смотрю прямо в глаза, в серые вопрошающие глаза.

— Почему вы не стреляли? — Это вырвалось помимо моей воли.

Он ставит стакан на скатерть, взгляд его внимателен и спокоен.

— Все до одного патрона — их было больше семидесяти — я выпустил в фашистов. Вот вы сказали: счастливый поворот судьбы. Ваш магазин валялся на земле, я видел, как он блестел в лунном свете. Когда вы сделали шаг назад, я подумал: наверняка он знает, где оставил магазин, не зевай, а то мигом подхватит.

— И что же?

— Стоило мне маленько податься в сторону — и я бы просто канул в темноту.

— Так почему же вы не сделали этого?

— Я оставил такую возможность вам, раз вы не нашли магазина. Решил заставить отступить вас...

Его стакан вновь коснулся моего.

— *Prosit*¹, — сказал он, налегая на раскатистое «р».

— Значит же вы меня проучили. Спасибо за урок благородства.

Я вдруг ослаб до такой степени, что у меня подогнулись колени. Ведь за весь день я ничего не ел, кроме двух ломтиков хлеба. И опять мысль о том, что, если бы пистолет сработал, не было бы этого человека, не было бы этого разговора. В Берлине. 1 сентября 1945 года.

— Ваши дрались там отчаянно, — задумчиво произнес он после того, как мы вспомнили подробности боя: он — со своей, я — со своей стороны.

— Неужели немецким солдатам было невдомек, что они служат кровавому, преступному делу? Офицеры чуть ли не в один голос клянутся, что всегда были против Гитлера. Кое-кто из них там, в приемной... Советую вам не торопясь поразмыслить, к чему привел тридцать третий год и каков был истинный расклад событий. Результат вычислять не надо, достаточно просто открыть глаза и посмотреть вокруг. Ваш народ должен сам выходить из катастрофы. А мы вам поможем.

Помогут? Но ведь они победители. Они завоевали нас...

В моих глазах он прочитал сомнение. Лицо его сразу как-то постарело. Он смотрит мимо меня, в пространство. Возможно, его мысли там, где он расстался с семьей, где услышал первую весть о войне... или где могила товарища... Ветер раскачивает фигуры повешенных...

Отравленный воздух войны все еще сочится сквозь оконные щели.

¹ Ваше здоровье (нем.).

— Когда-нибудь вы поймете, что мы избавили ваш народ от такого зла, как фашизм. И если вам удастся слепить жизнь заново и посвятить ее достойному делу, ваши вчерашние противники станут друзьями. Чего от души вам желаем.

Он протянул мне руку.

ДАЛМАТИНСКИЙ КНИЖКАЛ

1

Вахмистр Фогельхофер вслух читал выдержки из путеводителя, изданного в Вене:

— «...Ближайший путь из Загреба к Адриатическому морю проходит через Карловац и Горский Котор. Самый крупный населенный пункт на этом пути — Ястребарско, в прошлом — вольный королевский город, о чем свидетельствует грамота венгерского монарха Бела Четвертого. В шестнадцатом веке подвергался постоянным набегам со стороны турок...»

— Ты бы поберег свою информацию до дня полной победы. Куда важнее, что дорога Ястребарско сейчас под контролем партизан. Туда без бронемашин и огня зениток нечего и соваться.— Унтер-офицер Фельдман (он командовал орудийным расчетом, когда еще были пушки) сплюнул в снег окурки сигареты.

— Вчера в Лайбахе старик дал понять, что люди Тито заняли уже больше половины территории страны,— добавил унтер-офицер Остерло, командир взвода связи.— Если это действительно так...

Фогельхофер поскреб взъерошенную бородку и ухмыльнулся:

— После четырех лет войны не грех и заглянуть в книжку. «Карловац,— читал он без всякого выражения,— получил свое название от имени штирского эрцгерцога Карла, заложившего город в тысяча пятьсот семьдесят девятом году, когда Словении и Хорватии угрожала непосредственная опасность».

Фельдман покачал головой:

— Ивану мы не дались, а тут будем шараться от горстки партизан? Так, что ли?

— Все вы говорите, что два с половиной года на Восточном фронте вас кое-чему научили. Кожей чувствуете, откуда будут стрелять. Сквозь землю видите, где мина зарыта или какое другое взрывчатое дерьмо, дороги по ночам обходите. Вы и стреляете-то только из чувства самосохранения. Так вот на него и рассчитывайте,— язвительно выпалил Остерло.

— А тебя, мой дорогой, трепанный войной профессор,— возразил Фогельхофер,— я думаю, все-таки должно интересоваться, в каком царстве-государстве нам будет представлена возможность отправиться к праотцам...

— Изготовься! — Голос капитана Биркхана резко прервал тираду вахмистра.

Ранним утром этот наскоро сколоченный отряд из трех сотен артиллеристов — остаток воинской части в две с половиной тысячи человек, именуемой в документах полком,— переброшенный в нетопленных вагонах для скота, где пришлось томиться почти две недели, через Польшу, Чехословакию и Австрию, прибыл наконец в этот край.

Каждый мечтал о теплой квартире, об оседлом гарнизонном быте с исторопливой починкой техники и обмундирования, об увеселительных заведениях и прочих сравнительно безобидных вещах. Но им было приказано немедленно выдвинуться из Загреба на юг, без всякого боевого охранения пересечь область, в которой действовали партизаны. И все это за неделю до пятого сочельника с начала войны. По замыслу командования, здесь вводилась в бой одна из так называемых народно-гренадерских дивизий, призванная заменить собой прежнюю отборную дивизию пехоты, почти бесследно уничтоженную на востоке. Именно в этом районе новым силам надлежало поддержать наступление, начатое частями СС и вермахта против крепнущей Народно-освободительной армии Югославии. Иными словами — захватить глубокие тылы.

В ноябре 1943 года штаб 2-й танковой армии принял решение четырьмя оперативными группами войск пробить коридор на всем пространстве между Дриной, Савой, Купой и Адриатическим побережьем, где находились мощные формирования Народно-освободительной армии. Вновь захваченные земли предписывалось подвергнуть полному опустошению, а жителей — жесточайшему террору.

Тони Фогельхофер из Кремса на Дунае захлопнул путеводитель и хитровато посмотрел на Остерло и Фельдмана:

— Когда-нибудь мы еще вспомним и Карловац, и старую крепость Дубовац. Это гнездышко не должно пустовать. Если не ошибаюсь, оно в десяти километрах отсюда. А чего, собственно, бояться? Прежде чем партизаны при-

202 метят нашу колонну, мы успеем отлично отдохнуть. Между прочим, словенские и хорватские женщины слынут красотками.

Он прищелкнул языком, мысленно возвращаясь к своему довоенному прошлому, когда служил судебным исполнителем и великолепно совмещал это занятие с увлечением смазливými бабенками. Были, что греха таить, случаи, когда в качестве услуги за услугу он не спешил пускать в ход свою казенную печать.

Остерло надевал портупекю, завязывал вещмешок, пристегивал кобуру с пистолетом. Он думал о том, что здесь, среди лесистых холмов, у партизан все условия для нападения. На душе стало тревожно. Представилось, как они появляются словно из-под земли. С боевым кличем «Смерть фашистам!». Его познабливало. Плен или тлен...

Дитмар Остерло, когда-то студент, изучавший в Дрездене географию, фигурой напоминал гибкого подростка, был по-мальчишески подвижен и ловок. Голос у него начал ломаться позднее, чем у других одноклассников, позднее пробился и пушок на подбородке. Но в этом артиллерийском полку он был едва ли не первым, у кого появились собственные мысли о войне, кто вообще предпочел бы идти своим путем, а не сливаться с общей массой. За два года службы в вермахте он научился по-своему сопротивляться однообразию военной жизни и находил удовольствие в обладании вещами, которые отличали бы его от других. Он раздобыл, например, часы пилота люфтваффе с тахометрической шкалой и прибором, позволяющим по скорости звука измерять расстояние до цели. Предпочитал он иметь и личное оружие. Сегодня это был, например, классический вальтер, который завтра он мог обменять на револьвер бельгийского производства, чтобы через несколько месяцев обзавестись увесистым маузером или достать давно приглянувшуюся чешскую модель. Однако он дал себе клятву никогда не стрелять в человека. Несмотря на строгий запрет, Остерло носил шейные платки из тусклого парашютного шелка и сапоги из юфти, такие мягкие, что казалось, они вот-вот сползут на лодыжки, как чулки.

«Жизнь делится на эпизоды,— рассуждал Остерло.— Каждым из них надо овладеть. Приказ — это задание. Задание — это идея, определенная трата мускульной энергии и возвращение к обычной жизни. Тут важнее всего просто продержаться, но никак не лезть на рожон. Не позволяя себе ни на минуту забывать: это не твоя война, ты ничего не имеешь против так называемых врагов — во Франции против Полей, в России против Иванов, а здесь против

Капитан Биркхан не без труда взгромоздился на уже пережившего свою лучшую пору скакуна, который теперь мало чем отличался от кляч, волокущих обоз.

— Младшие командиры, ко мне!

Он заметно нервничал и с нетерпением ждал, когда все, вплоть до последнего унтер-офицера, явятся на его зов.

— Вы знаете: нас всякое может ожидать. Еще раз внушите своим людям, чтобы оружие держали наготове. Все зависит от того, как скоро мы обнаружим партизанский сброд, и от нашей огневой мобильности. Остерло и Фельдман, вы отвечаете за пулеметы. Главное — вовремя открыть огонь. Вопросы?.. Благодарю вас, господа!

Забегали капралы. Фельдман поспешил к своему месту в голове колонны, Остерло — к последней подводе.

— Дивизион! Вперед! Марш!

Ни рева моторов, ни скрежета гусениц, ни мощного выхлопа бензиновой гари. Просто-напросто вахмистр Фогельхофер дважды взмахнул правой рукой. Первая повозка тронулась, хотя сидящий на козлах возница не подавал лошадам никакой команды.

Ветер с юго-востока швырял в лицо снежную крупу, трепал гривы отошавших лошадей. На склонах невысокого нагорья, изрезанных бесчисленными складками, никаких признаков жизни. И все же тревога росла. Казалось, в самом этом сером ландшафте затаилась тихая угроза. За каждым бугром можно было ждать ловушки.

Остерло поднял воротник шинели. Холодный ветер царапал лоб. В душе Дитмар все больше ополчался против тех, кто гнал его по дорогам войны: «Жить хочется, черт побери! Как хочется жить, влюбляться и рвать полевые цветы и еловые ветки. Жить и радоваться, а не околевать среди этих проклятых гор».

Он размышлял над своей прежней жизнью. С чего она начиналась? С обычных игрish пимфов¹. Наивысшее наслаждение должно было доставлять подчинение командам и приказам. Это внушал ему еще старший брат. Мальчишеское самолюбие разжигало жажду первенства во всем. Отличиться в глазах всей команды — от одной этой мысли сладко замирало дыхание. А вдруг заполучишь плетеный шнур предводителя отряда или даже фюрера пимфов?

В гитлерюгенде, куда он вступил в год Олимпийских игр, политический азарт поощряли профессиональные на-

¹ Пимф — член реакционной детской организации.

204 ставники молодежи. Прежде всего они опирались на тех, кто уже в своих семьях или в школах был настроен на волну запрограммированного фанатизма и легко мог влиться в русло национал-социалистического движения. Как загорались глаза, когда речь заходила о Хорсте Весселе¹ или о каком-нибудь прославляемом в прессе юном гитлеровце, когда под звуки воинственного марша руки сами взлетали вверх.

О «германском духе» и славе нибелунгов, о героях Эдды и рунах знали больше, чем о реальном прошлом немецкого народа. Вспомнить хотя бы головокружительный восторг, с которым в 1938 году «будущий цвет нации» встретил имперский партийный съезд великой Германии. А как вторили троекратному «Хайль!», летящему из городского репродуктора, когда отряд гитлерюгенда маршировал по улицам! Но не все даже в гитлерюгенде были одинаковы. Были такие, кто принимал участие в военизированных затеях только из боязни прослыть белой вороной. Кроме того, им не хотелось ставить в щекотливое положение своих родителей. Даже попадались ребята, которые отказывались идти за гитлеровской молодежью и в учении, и в спорте. Больше того, они отваживались не соглашаться и спорить.

А позднее, когда началась война, большинство было просто оглушено громогласными реляциями о молниеносных победах и десятках тысяч пленных врагов. Сердце заходило при виде мундира с рыцарским крестом, многие искали дружбы с теми, кому посчастливилось лично, как, например, Эльриху, знать кого-нибудь из награжденных. «Мы уверовали,— думал Остерло,— в то, что полноценный человек начинается с офицера и жить стоит только ради того, чтобы выйти в герои, увешанные знаками доблести».

Потом снова годы учебы. Нацистский союз студентов уже не пленял блеском и лихостью, зато окружной фюрер производил впечатление могущественного полководца. Он действительно обладал властью. В ноябре сорок первого призвали в действующую армию. На скорую руку кое-чему обучили. Не прошло и трех недель, как оказались на Восточном фронте. Вот это был удар! Ведь согласно крепко вдолбленным доктринам почти поверженный Иван должен уже молить о пощаде. А тут вдруг что-то неправдоподобное — вермахт отступает. Да еще в каком темпе! Но объяснение нашлось довольно быстро: всему виной — «генерал Мороз».

¹ Сочинитель националистической строевой песни, взятой на вооружение геббельсовской пропагандой.

«И лишь теперь, два года спустя,— продолжал размышлять Остерло,— у меня открылись глаза. Поражение под Москвой было как гром среди ясного неба, Сталинград — первая молния. После танковой битвы на Курской дуге солдаты придумали такой девиз: «Вперед, ребята, в обратном направлении!» Полный крах стал уже просто вопросом времени.

Изменилось бы мое отношение к войне,— думал Остерло,— если бы в прошлом году меня представили к низшему офицерскому званию и сегодня на плечах у меня красовались бы серебристые погоны? Я попал в батарею Биркхана. Она стояла в ста километрах восточнее Орла. Биркхан решил обучить меня на связиста. Говорил, что я представляю собой хороший человеческий материал. Австрийских немцев он считал вторым сортом. Так я стал унтер-офицером связи. Я и раньше был не прочь получить специальность. Сверкающие галуны на первом году службы льстили самолюбию. Но становиться офицером? Сохрани господь! Не лучше ли дожидаться конца войны?

Обер-лейтенант Биркхан поначалу нравился мне. Толковый офицер. Лет под тридцать, среднего роста, светло-голубые глаза. Любит точность во всем. Основательно взвешивает каждое решение. На риск идет неохотно. Старые вояки считают его трусом.

Вторая русская зима выдалась на удивление мягкой. Зато русская артиллерия не давала нам передышки. «Всем и все — в землю!» Неукоснительное выполнение этого приказа по армии обеспечивалось заботой нашего начальника о мерах безопасности. На огневой позиции был оборудован довольно надежный бункер. Биркхан был уверен, что там, наверху, ему не уснуть. Вот и понадобилось толстенное, сильно заглубленное укрытие, и чтобы рядом непременно находился взвод связи. Куда бы нас ни бросала фронтовая судьба, Биркхан первым делом требовал трехметровой толщины крышу. Приходилось где попало добывать железные брусья, балки, бревна... Чаше всего нас посылали в парк тыловой службы. Уж я-то облазил этот парк вдоль и поперек. Вообще-то он предназначен главным образом для барахла, запасенного тыловыми крысами. Поди сыщи там что-нибудь для передовой. Тогда предлагалось расширить зону поиска. Извольте. В той округе была ветка железной дороги, ведущей из Орла через Ворошилово прямо к Ивану... А стало быть, рельсы и шпалы. Кто из нас не знал, что всякое хищение строго запрещено приказом по армии. Однако многие шпалы уже исчезли с привычных мест... Мне был сделан довольно грубый намек. И отныне взвод

206 связи должен был заботиться о том, чтобы бункер гарантировал спокойный сон. Трофеи нашей ночной охоты вкупе с услугами телефонной связи скрашивали фронтовой быт барственного командира, за что я устаивался великих похвал.

Но все это плохо кончилось. Нагрянула полевая полиция. Командир полка не замедлил проявить строгость. Мне дали семь суток строительных работ. Причина — незаконное присвоение войскового имущества. Биркхану вlepили строгий выговор. Причина — ослабление контроля. Капитанский чин, которого он давно ждал, становился делом неопределенного будущего...

После этой истории Биркхан сделал вывод, что по моральным качествам я еще не дорос до офицера. С тех пор он часто искал повод для придирок и все давал понять, что я замарал его репутацию. Мне до того это обрыдло, что я уже почти ненавидел его.

До сих пор в голове зудит вопрос: как бы ты смотрел на смысл и ход войны, если бы получил офицерское звание? Солдат, порядком вывалявшийся в дерьме, не очень-то верит в надрывные обещания победы. А что мы думали сами? И много ли мы вообще думали? Не приходилось ли прибегать к уловкам самовнушения? Подбадривать друг друга не слишком уверенными словами: как-нибудь обойдется, пока все нормально.

Но для кого нормально? Для меня? В этом мире я не один! То, что нормально для Гитлера, не может не вызывать у меня отвращения. Как и у тех, чьи дома мы сжигали, чьи земли превращали в выжженные пустыни. Кому из обыкновенных немцев, кроме доходяг нашего жалкого подразделения, ведомо, где находится Ястребарско и какие события разыгрались здесь до рождества 1943 года? А вот те, кто живет в этих местах и терпит тяжкие испытания, кто отвоевывает свою свободу, они знают о каждом нашем шаге. Мы их враги. И они будут бить нас смертным боем, не давая никакой надежды на пощаду...»

Стрелка часов никак не желала сдвигаться с места. Колонна медленно тянулась по неровной дороге. Унтер-офицер Фельдман — до войны он служил писарем в одной из местных нацистских организаций в Касселе — натягивал на правую руку утепленную перчатку из вишневого сафьяна. Минуту спустя он снова снял ее, чтобы в любой момент быть готовым к стрельбе. Перчатку эту он подобрал возле убитого немецкого полковника на обочине шоссе под Смоленском. Левую ему пришлось вырывать из скрюченных пальцев мертвеца. Фельдман явно щеголял своими перчат-

ками. Но при появлении большого начальства прятал их в вещмешок. Так было, например, когда полевая полиция заставила нас разбирать остатки поезда с транспортом, взорванного отчаянными советскими партизанами, и мы растаскивали груды искореженного и обгоревшего металла, чтобы открыть путь другим поездам. На Силезском вокзале в Берлине один ретивый лейтенант из гарнизонной комендатуры указал Фельдману на то, что при его форме полагается носить перчатки из серой замши, а не из вишневого сафьяна. Тот отбрехался, что жертвует их в порядке «зимней помощи» солдатам-фронтовикам.

Фельдман, высокий, тощий, лицом напоминающий хищную птицу, был просто одержим мечтой об офицерских погонах. Быть господином вахмистром означало для него стать когда-нибудь офицером. Нужны были поступки, которые обратили бы на него внимание начальства. Он обожал всякого рода состязания — с кем угодно и в чем угодно. Как мальчик, любил заключать пари с единственной целью — отличиться. А если проигрывал, мог без колебаний осушить стакан воды с живой лягушкой, невозмутимо глотая содержимое. И тут же вставлял соломинку в другую лягушку и надувал ее до тех пор, пока она не лопалась. Мучить животных доставляло удовольствие этому извращенцу. Во время боев на Востоке он тщательно прицеливался в людей и вел учет всех собственноручно убитых им. Предстоящие схватки с партизанами, по его убеждению, давали надежду на повышение его «снайперских показателей».

Он жадно ощупывал взглядом опушки, заросли кустарника, окладки гор. Но никаких признаков человеческого присутствия ему обнаружить не удавалось, и все не было случая открыть прицельный огонь...

Близился вечер. Вдалеке показались крыши домов. Непроизвольный глубокий вздох. Длинная деревенская улица. Женщины и пожилые мужчины. На лицах — стоическое опокоействие, ни о каких чувствах по ним не догадаться.

Биркхан приказал расположиться в северной части деревни, южную — перекрыть двойным постом. Жителям пришлось потесниться. В каждый дом надлежало принять восьмерых мужчин, нуждающихся в основательном отдыхе. Создать все условия для крепкого и спокойного сна! Капитан вызвал к себе Остерло и Фельдмана и в присутствии Фогельхофера отдал им приказ:

— Вам, Фельдман, установить пулемет восточнее въезда в деревню, там хороший сектор обстрела. А вы, Остер-

208 ло, контролируйте центр. Особое внимание обратить на поле с юго-западной стороны. Возможно нападение партизан. Их надо ждать с востока, из-за ручья. На малейший подозрительный шорох отвечать огнем!

Фельдман первым вышел из дома:

— А старик-то, кажись, зуб на нас имеет.

— Почему? Послал в ночное дежурство?

— Нам еще в дороге особое задание обломилось.

— Просто он считает, что другие не так ловко стреляют,— неохотно ответил Остерло. Ему был противен этот унтер-офицер с его вечным бахвальством в духе «народной» речи.

— Я и говорю: кажись. Это, считай, большое отличие, что он нас назначил.

— Моли бога, чтобы не попасть на мушку кому-нибудь из местных.

— Этим перечным стручкам-то? — Фельдман засмеялся.

— Поживем — увидим.

Шагая по глубокому снегу, Остерло пошел к яме, в которой уже сидел один австриец с пулеметом образца сорок второго года. Накрыв пулемет плащ-палаткой, он напряженно всматривался в призрачные известняковые холмы и размытые вечерней мглой очертания приземистых крестьянских домов.

2

Командир взвода Милан втолкнул в землянку тощего парнишку. Сретен Павлович — он командовал партизанской ротой — оторвал взгляд от карты, испещренной разноцветными пометками, и удивленно посмотрел на незнакомого подростка. Совсем еще ребенок. Лет пятнадцать, не больше. Продранный ватник был подпоясан ремнем, на котором висел простой, лишенный всяких украшений кинжал. На голове шапка — такие носят обычно партизаны, — из-под нее выбиваются спутанные черные пряди. Брюки явно не по росту, впору взрослому мужчине. Сапоги ловко перехвачены шнурками. В бархатно-мягких карих глазах ни тени страха или затаенной вины, скорее — сознание собственной правоты. Движения порывисты и нетерпеливы. Видно, паренек дождался наконец очень важного для него момента.

— Взяли его в копне около пяти вечера, — сообщил Милан, — говорит, что должен передать нам приказ штаба.

Оба еще раз с интересом посмотрели на подростка. В

тусклом свете коптящей керосиновой лампы лицо его казалось жестко-угловатым и не очень юным.

— Это он-то? — спросил Павлович.

Губы паренька напряглись, весь он подобрался и, приложив руку к шалке, отчеканил слова донесения:

— Товарищ командир. Штабу тринадцатой пролетарской бригады стало известно, что ваша рота окружена. Я получил приказ вывести вас из окружения.

Он проговорил это легко, без запинки, как будто заранее выучил наизусть.

Павловичу не верилось. Вот уже несколько недель прошло, как его рота начала отбивать у фашистов северный отрезок загребской дороги на Карловац и сделала его непроходимым для немцев. А два дня назад вдруг оказались в окружении. Сразу перешли к активной обороне, решили стоять до последнего. И вот тебе сюрприз: мальчишка вырос как из-под земли да еще толкует о том, что надо выводить роту из окружения, как будто это раз плюнуть. Павловичу еще ни разу не выпадала такая задача.

6 апреля 1941 года фашисты нанесли удар по Югославии. 12-я армия гитлеровцев выдвинулась из юго-западной Болгарии в направлении Скопье и быстро захватила всю Македонию. 2-я немецкая армия, пройдя через Загреб, заняла Белград и Сараево. Итальянцы нагрянули со стороны Истрии и взяли Любляну. Командование вооруженных сил Югославии обнаружило свое полное бессилие, армия распалась. Правительство во главе с королем бежало за границу. 18 октября высшее командование капитулировало окончательно.

Итальянцы аннексировали часть Словении, превратив ее в провинцию Любляна.

Когда Сретен Павлович, коренной люблянец, узнал о создании освободительного фронта, объединяющего все патриотические силы словенцев, он покинул свой город, именуемый австрияками Лайбахом, помахал ему на прощание рукой и ушел к партизанам. В лес, скорее в лес! Родители остались дома присматривать за маленькой текстильной мануфактурой. Они надеялись, что вскоре жизнь войдет в прежнюю колею. Кроме них, ждать его было некому. Обзавестись подругой он не успел. Завоеватели, терзающие и кромсающие его землю, будили в нем ярость. Он твердо решил бороться против оккупантов. Против немецких, итальянских и венгерских фашистов. Так и свела судьба бывшего токаря, обучившегося на инженера, с самыми страшными людьми своей страны. С беспартийными патриотами, а прежде всего — с коммунистами. У них он учился

210 не только искусству воевать. С их помощью постигал сущность таких понятий, как империализм и классовая борьба. Он понял, что политический фронт не всегда обозначен государственными границами, что ось фашистских диктатур Германия — Италия — Япония означает лишь внешнего врага. Кроме него существует «Независимое государство Хорватия», так называемая «мусульманская милиция», «сербская добровольческая армия» и «сербская жандармерия». Каждая из этих организаций делала свою игру, ставила на короля или сепаратную свободу, на фашистскую свастику или на религиозный фанатизм. К ним можно присовокупить «домобранскую армию», усташей и «белую» и «голубую» гвардии. Весь этот пестрый политический стан так или иначе вступал в сотрудничество с фашистами и тормозил консолидацию патриотических сил. Развернулась небывало острая классовая борьба, настала пора кровью и жизнью отстаивать свои идеалы.

Когда Павлович узнал, что в течение одного дня гитлеровцы расстреляли в Крагуеваце тысячи хорватов — на языке оккупантов это называлось акцией возмездия, — он понял, что значит сжигающая душу ненависть.

29 ноября 1943 года был создан Национальный комитет освобождения Югославии во главе с маршалом Тито. Советский Союз сразу признал его законным правительством Югославии.

В декабре фашисты ответили на это проведением операций «Метель» и «Шаровая молния» в Восточной Боснии. Против отрядов народного освобождения были брошены 15-й и 5-й горные корпуса СС. Партизанское движение принимало все более организованный характер, формировались дивизии и корпуса. Главный штаб занялся подготовкой и аттестацией командирских кадров, ввел офицерские звания. Лейтенант Павлович получил приказ принять командование ротой. Ряды борцов за свободу становились сплоченнее. Приходил военный опыт, крепла политическая убежденность. Люди всех возрастов, представители всех народов страны ощутили себя единой силой. Все понимали, что решается вопрос жизни и смерти, другой альтернативы не дано. Понимал это и подросток, стоявший сейчас перед Павловичем. Командир пытался вспомнить его лицо. В последнее время он часто бывал в штабе бригады, но, кажется, не видел там ни одного человека столь юного возраста.

— Как тебя зовут?

— Боско Петрович, товарищ командир!

— Местность знаешь?

— Так точно. Я из Ястребарско. Отсюда километра два. Мы еще пацанами тут все пригорки облазили. В Загреб ходили и вниз, в Карловац.

— Где немцы стоят, знаешь?

— Как не знать, товарищ командир!

Павлович придвинул к нему карту.

— Покажи, где мы сейчас находимся.

Маленький заглубивший палец точно попал в нужный квадрат.

— Позиции пятой танковой дивизии СС показаны верно, а двенадцатой — не совсем.

— Выходит, почти кольцо, и дорога отрезана,— вставил Милан, прервав затянувшуюся паузу.

— То-то и оно.— В голосе Боско вновь зазвучало нетерпение.

— А найдешь прореху в этом мешке? Ночью дорогу найдешь? — спокойным и уверенным тоном спросил командир.

Боско начал излагать свой план. Маленький палец забегал по карте, обозначая довольно причудливую ломаную линию. При этом Боско не забывал описывать наиболее приметные ориентиры, которые могли бы пригодиться в темноте. Наконец он указал на длинную, вытянутую вдоль дороги деревню.

— Ты собираешься вести нас сюда? Я правильно понял?

— Так точно, товарищ командир!

— Дорогой из Загреба в Карловац иногда еще пользуются. Там можно столкнуться с немцами.

— Никак нет. Я только что оттуда. Немцами там и не пахнет.

— А вот в этой деревне?

— Там же будет колонна.

— Колонна?

Лицо паренька залилось краской стыда. Только сейчас он спохватился, что второпях упустил вторую часть приказа.

— Простите меня,— пролепетал Боско. Он смущенно уставился на дрожащее пламя лампы.— У вашей роты другая задача. В деревню к полночи прибудет колонна грузовиков. Она и должна вас забрать.

— И ты до сих пор молчал об этом?

«Ничего себе история,— думал Павлович,— мы тут готовы за соломинку ухватиться, и вдруг пожалуйста — является добрый вестник: транспорт, мол, подан. Что на это скажешь? Спасибо, дорогой избавитель, прими добрый гло-

212 ток сливовицы и табачком побалуясь, а я тем временем людей собираю, а то они чуть не прокисли в своих землянках. А потом — бодрым ходом вслед за тобой к нашим колесам».

Сретен Павлович резким движением пригладил слегка растрепавшиеся волосы и посмотрел в замершее лицо Боско. «Только не надо спешить, — говорил он себе. — Всякое скоропалительное решение стоит большой крови».

— Я смотрю, все твоё вооружение составляет этот кинжал, — спокойно произнес он. Ему нужно было время, чтобы как следует обдумать решение.

Глаза мальчика сверкнули гордым блеском.

— Это далматинский кинжал.

Лейтенант попросил посмотреть, подержал на ладони. Рукоятка чересчур замысловата по форме, но с благородным изгибом. Клинок отливает голубым, сталь отменная.

— Откуда он у тебя?

Боско тотчас же оживился:

— Летом сорокового года мы с отцом подались в Дубровник — рыбачить. Отец спас одну женщину, она тонула. Муж ее очень нас благодарил и дал мне вот этот самый старинный кинжал. Дня через два мы рыбачили у острова Локрум. Видим, прямо на нас идет пароход, белый такой, шикарный. Лодка так и заплесала. Я прыгнул в воду — покачаться на волне — и погрозил кулаком господам на пароходе. Вдруг слышу — вода рядом забурлила. Гляжу — треугольный плавник. Акула! Потом чувствую — ударило что-то. Я — кричать и изо всех сил к лодке. Вижу, отец бросился к борту, в руке — кинжал. Я аж глаза зажмурил. Когда опамятовался, вода вокруг была красной... от крови. Отец какими-то лоскутьями перевязывал искромсанную ногу. Тогда он еще сказал: «Если бы не этот кинжал, нас бы с тобой, считай, уже не было».

— А где теперь твои родители?

— С матерью случилось несчастье. Мне тогда пять лет было. Отец пошел служить в сельскую управу. За нами тетка присматривала. Ее Мирой звали, очень была добрая... Она умерла как раз в тот день, когда установили зоны оккупации. Отец говорил, что знает немцев по первой войне, поэтому он на юг хотел, в итальянскую зону. Его отговорил друг. Он сказал, что все должны готовиться к вооруженному восстанию. Мы ушли в лес. Мне тринадцать стукнуло. Отрядик был очень маленький. Зимой сорок первого на нашу базу напали итальянцы. Но быстро откатились. Через несколько часов она снова стала нашей. Кинжал я нашел, а отца нет... Я поклялся его найти... Вот до сих пор

Боско сунул кинжал в кожаные ножны. Глаза влажно блеснули.

Павлович почувствовал жалость. Сколько сейчас таких детей, с искореженными судьбами. Но слепо доверять, полагаясь на собственные чувства, он не имел права. Вдруг парень подослан, получил задание вести их на огонь? Павловича бросило в жар от этой мысли. Вопрос первый: есть ли реальная возможность прорваться? Кругом вражеские подразделения, которые только и рассчитывают на малейшую неосторожность! Вопрос второй: чем все это кончится, если приказ — фальшивка? На командирскую карту был нанесен ряд красных крестиков — это отмечены успешные операции по овладению очень важным для оккупантов проходом к Адриатике. Если парень подсунил липу, смерть добавит сегодня еще и черный крест. Она сотрет имя Павловича, да и не его одного. А отвечать ему... за всех.

— Видишь ли, Боско, какая штука...

Это уже не просто недоверие, это был отказ. Боско вздрогнул. А ведь все началось почти как в сказке — начальник штаба спросил его, пойдет ли он на трудное задание. Боско сразу загорелся: чего-чего, а смелости ему не занимать. А тут ходят вокруг да около, мнутя, говорят про какую-то штуку, не могут разглядеть, что за человек перед ними.

«Если этот словенский тугодум мне не поверит, — лихо-радочно соображал Боско, — весь план идет насмарку. Допетрит ли он, как вырваться из кольца? Что думают его люди? Время не ждет. Каждое лишнее слово — непростительная оттяжка».

Подросток еле сдерживал ярость. Командир не мог не почувствовать этого.

— А ты как думаешь, Милан? — спросил он у взводного, опыт которого всегда высоко ценил.

— Если немцы навалятся скопом, всем нам крышка. А если мы рискуем выступить, то нарвемся лишь на одно из подразделений. Тут у нас больше шансов. Если парень и вправду хорошо знает местность и положение противника... — Он вполне дружелюбно посмотрел на Боско...

— Значит, ты «за»?

— Нужна только дьявольская осторожность.

Павлович все еще медлил. Но доводы Милана убедили его. И в конце концов он сказал:

— Выслать дозорных. Обеспечить наблюдение. Собира-

214 емся в Медвежьем ущелье. Полная... могильная тишина! Выступаем через полчаса. Милан, ты мне лично отвечаешь за... посыльного.

Боско сиял. Все обернулось к лучшему. Он потянулся к карте. Глаза жадно впитывали тактическую картину, вбирали наиболее важные подробности.

Милан не отходил от него ни на шаг. Взводный родился в северо-западной части Югославии. Ему вполне удалось примирить профессию с призванием, когда таким же юнцом, как Боско, он ушел из своей деревушки близ Постойны, где, между прочим, была третья в мире по величине пещера, и отправился искать себе место на знаменитом конном заводе. Он решил стать коневодом. Еще будучи подручным конюха, он умел безошибочно угадывать характер каждого животного. В восемнадцать лет стал лучшим наездником, ему покорялись самые строптивые жеребцы, даже те, перед диким нравом которых отступали опытейшие мастера. Не было случая, чтобы конь сбросил Милана. Длинные белые здания на плавных зеленых холмах — для него это была земля обетованная. Даже его жена и дочери не мыслили себе жизни без этих холмов, без благородных животных. Казалось, ничто не грозило их счастью. Хотя до Триеста было рукой подать и по ту сторону границы поднимал голову итальянский фашизм.

Сначала Милан воевал в Словении. Потом партизанские тропы привели его в Хорватию, в отряд Сретена Павловича. Много им пришлось переживать и пережить. В крошечном аду рукопашных боев вырывали победы, теряли товарищей... А иногда выпадали такие дни, что казалось, не будет конца тишине, охраняемой горными оклонами. Всякие были переделки, но в такую, как теперь, Милан еще не попадал.

Взошла луна, от ее яркого света еще обнаженнее становилось выбеленное снегом пространство и заметнее всякое передвижение на нем. Это создавало особые трудности. Лиловые взгорья сверкали снежными шапками. Боско топтался, он шел мелким скользящим шагом и уводил за собой отряд. Сразу начал круто забираться к юго-западу, оставляя в стороне главную дорогу. Получился большой крюк, позволивший обойти позиции противника. Потом изменил направление почти на сто восемьдесят градусов. Теперь люди Павловича оказались в тылу танковых дивизий СС. Прошло несколько часов, и показался редкий ельник. Потом — смешанный лес со скудным кустарником. Вышли к пологому спуску в равнину. Быстро рассредоточившись, люди как бы исчезли в мелколесье.

— Ну вот. Из одного кольца выкопали,— прошептал Боско.— Чтобы попасть в деревню, надо обойти место, где перекрыта дорога.

У командира отлегло на душе. Он даже хотел извиниться перед парнем. Ведь они почти у цели. В крайнем случае можно пойти напролом, хотя ни для одного из бойцов у него не было резерва. А что, если все-таки этот пацан, успокоив их благополучным переходом, повернет сейчас прямо в западню? Но ведь и сам он не застрахован от пули, как и все остальные. «Доверься ему»,— убеждал себя Павлович, но от сомнений отделаться было не просто.

Он созвал командиров взводов и отделений.

— Товарищи! Мы должны обойти глубоко эшелонированное охранение противника. Боеготовность нужна высочайшая. При встрече с противником выход один — внезапное нападение. Командирам взводов держаться ближе ко мне, чтобы в любой момент быстро передать приказ. Что-нибудь не ясно?

Примерно час спустя они вышли к намеченному месту. Командир разрешил короткий привал. Впереди, в сгустившейся темноте, там, куда скатывались отлогие склоны, чуть заметно виднелись постройки длинного селения. Партизаны расположились небольшими группами, почти все отдыхали сидя. После долгого перехода гудели ноги, спины ломило от тяжелого походного снаряжения. Удивлялись, глядя на Боско: этому пострелу хоть бы что, он как будто на легкой прогулке. Через несколько минут началось то, чего никому не удалось предвидеть. Грохот пулеметной очереди разорвал тишину, эхом заметался по огромной темной котловине. Это был немецкий пулемет образца 1942 года. Но невозможно было понять, откуда стреляли,— ни единой огневой вспышки. Сретен Павлович схватил паренька за плечо. Взгляд командира горел ненавистью. Казалось, он уже вынес приговор.

Стрельба резко оборвалась. Командир выхватил наган, рывком дослал патрон и посмотрел прямо в лицо Боско, в его бархатисто-черные глаза:

— Стало быть, там нет никаких немцев?!

— Нет, нет! — лепетал Боско.

— Похоже, стреляли не в нас,— сказал один из взводных.— Тут ни одной пули не просвистело.

— Выходит, обстреливали деревню. Но где же прячется этот пулемет?

Снова грохот стрельбы. Судя по всему, из того же оружия.

— Это те самые немцы, которых мы якобы обошли,— с горькой усмешкой сказал Павлович.

С южной стороны деревни донеслась еще одна пулеметная очередь — скорострельность та же, но звук несколько иной. Трассирующие пули прочертили огненную дугу над частью деревни. Все напряженно прислушивались. Снова предательская тишина.

— Может, они стреляют по нашим грузовикам,— робко заметил Боско.

Командир повернулся к Милану:

— Надо быстро подавить огневые точки немцев. Сейчас все решает внезапность. Захватить пулеметы и пробиваться в южную часть деревни.

— Я считаю, главное — пробиться к машинам,— возразил Милан.— А в бой и так ввяжемся, если не миновать стычки с немцами.

Боско не сводил глаз с обоих мужчин. Его переполняло отчаяние.

— Мне приказано вывести вас без потерь. О нападении ничего не говорили. Не надо рисковать, товарищ командир. Прошу вас!

Он вдруг почувствовал себя смертельно усталым. Павлович думал, взвешивал, рассчитывал. Прежде всего он хотел решить вопрос: ограничиться ли подавлением пулеметов или же попробовать выбить немцев из деревни?

— Дайте мне хотя бы разведать, где установлены пулеметы,— чуть не хныкал Боско.

— Этого еще не хватало. Улизнуть захотел?

В тот же миг командира охватило чувство раскаяния, его слова были несправедливы, но они уже вырвались, а слово, как и пулю, вернуть невозможно. Боско будто в землю врос. До него дошел чудовищный смысл всего происшедшего.

— У меня приказ! — звенящим голосом выкрикнул он.

Боско решился. Он будет действовать на свой страх и риск. Прыжок в сторону — и он скрылся в темноте. Сретен Павлович вскинул правую руку, но взводный мягко перехватил ее.

Боско переползал от куста к кусту, выбирал глубокие ложбинки и впадины, избегал освещенного луной пространства. Внизу, на заснеженном поле, он увидел отчетливо темнеющее пятно. Это была наспех вырытая в снегу яма, в которой скрючились две фигуры в шинелях. Это были пулеметчики, они контролировали въезд в деревню. Сама деревня, судя по всему, мало интересовала их. Значит, они

здесь для охраны. Но кто они? Немцы? Итальянцы? Наши? Вряд ли. Его бы предупредили. Скорее всего — фашисты. Точно! Когда же они успели здесь обосноваться? После полудня здесь еще не было ни одного немца. Он сам тут все облазил и с деревенскими говорил. Ничего подозрительного не заметил. А второй пулемет? Он, по крайней мере, метрах в пятистах отсюда.

Боско пыхтя пополз к лесу... Должно быть, на южную окраину прибыли партизанские машины. Потому-то и началась стрельба. Теперь можно не сомневаться...

Ползти приходилось почти что в гору, чем дальше — тем круче. Боско выбился из сил. Перед глазами поплыли красные круги. Но он все-таки заставил себя подняться и, шатаясь, побежал вперед.

— Эй, Боско! — Это был голос Милана.

Тяжело дыша, захлебываясь холодным воздухом, мальчик сообщил ему результаты вылазки.

— Значит, в деревне немцы? Что за чертовщина! А пулеметы палили по нашим!

Боско не на шутку забеспокоился.

— Где командир?

— Он повел роту, вернее, полроты, к центру деревни, откуда в последний раз стреляли. Мой взвод пока что в резерве, на случай чего... Через пять минут начинаем.

Боско хотел еще раз попытаться удержать лейтенанта от нападения. Он снова заскользил вниз по склону, который вел к южной оконечности деревни. Люди Сретена лежали вжавшись в землю. Боско вдруг оступился и кубарем покатился вниз. Больно ударившись обо что-то, он распластался на снегу, не в силах продолжать передвижение.

3

Остерло размышлял о том, сможет ли он после войны продолжать учебу в университете, как если бы за плечами не было этих военных лет. Его раздумья прервала пулеметная стрельба... у въезда в деревню.

— Фельдман. Это Фельдман,— пробормотал он,— вот ведь вонючка, дергает солдат из чистого садизма. Потом будет заливать, что услышал подозрительный шорох, уж он-то расписать сумеет.

И еще раз стрельба полоснула по нервам. Довольно длинная очередь. Ни одной трассирующей пули. Непонятно, в каком направлении ведется стрельба.

— Это уже неспроста,— сказал австриец. Он стянул с пулемета плащ-палатку и уперся плечом в приклад.

— Сейчас выясню! — крикнул Остерло, вылезая из ямы, и, пригибаясь, побежал в сторону Фельдмана.

Ему почему-то пришли на память умильные картинки зимних лужаек, которыми обычно украшают подарочные тарелки. К его немалому удивлению, пулемет Фельдмана был повернут в сторону деревни. Остерло плюхнулся рядом и спросил:

— Что тут у тебя?

— Грузовики гуськом... в деревню...

— Сколько их?

— Восемь... может, девять.

— По ним и строчишь?

— Я, как их услышал, побежал на шоссе. Там все разглядел. Это — партизаны!

Тут вдруг зарокотал пулемет австрийца. Остерло вскопчил:

— Пойду доложу Фогельхоферу. Авось проедут. Чушь какая-то.

Он снова бежал, ему хотелось заткнуть железную глотку своему же пулемету.

Фогельхофер мигом слетел с теплого сеновала. Кое-как натянув сапоги на распухшие ноги, он огляделся и увидел траектории трассирующих пуль. Это австриец обстреливал ту часть деревни, которую они не успели занять.

— Тревога!

Вахмистр, всегда туго соображавший в боевой обстановке, организовал что-то вроде круговой обороны в надежде, что скоро капитан Биркхан возьмет командование в свои руки. Тут все увидели бегущего через луг человека. Щелкнули затворы.

— Не стрелять! — рявкнул вахмистр. — Это Остерло.

— Грузовики с партизанами!.. Оба пулемета открыли огни! — задыхаясь, крикнул подбегавший унтер-офицер.

Вахмистра, поднаторевшего в составлении исполнительных листов и кое-как научившегося управлять колонной обоза, но совершенно беспомощного в пехотном бою, буквально пот прошиб. Ему уже мерещилась гибель, затаявшаяся в крестьянских домах, а до них всего-то триста шагов.

С обоих постов, наблюдавших за южной частью, пришли одинаковые донесения, сообщали, что шум моторов уже затих.

В этот момент громом грянуло стрелковое оружие. Где-то в районе леса. Стреляли из карабинов и автоматов. Вот короткой очередью ударил советский «максим». Фогельхофер видел, как из снега вырастают темные фигуры. Их

много. В каком-то невероятном темпе они пересекают косогор и движутся к южной окраине. 219

— Всем в западную часть, в западную... Огоны! — слышав голос, кричал Фогельхофер.

Его подчиненные осторожно завозились под одеялами. Всех словно оглушила внезапная атака, ее первая волна. Австриец стрелял с каким-то безумным усердием. Он целился в самую гущу пробежавших мимо него партизан. Но пулемет вдруг замолчал.

Фогельхофер вытолкнул вперед унтер-офицера Остерло. Тот вытащил из кармана свой вальтер и осмотрел склон. На нем чернело несколько неподвижных точек — жертвы австрийца. Передовая группа партизан уже прорвалась к южной окраине. Они исчезли из виду. Остерло бросился назад, к своему пулемету. Мысленно он уже проделывал привычную операцию: отводил затвор, снимал крышку, вкладывал новую ленту, перезаряжал и ставил на предохранитель. Но тут снова раздался оглушительный треск. Будь она проклята, эта война!

4

Боско карабкался в гору. Он снова хорошо чувствовал обстановку. Черное пятнышко там, внизу, — это пулемет, установленный в центре селения. Но он молчит. И уже порядочно. Слишком долго для того, чтобы просто заправить новую ленту. Скорее всего — перегрелся ствол. А может быть, ранило пулеметчика? И он уже не справляется? Но ведь до сих пор стрелял. Павлович хотел во что бы то ни стало подавить огневую точку. И вдруг Боско поймал себя на головокружительно дерзкой мысли: что, если он завладеет этим фашистским пулеметом? Увидев такой трофей, командир признает — куда денешься, — что он добыт настоящим партизаном. Боско побежал вниз, не обращая внимания на тулую боль в затылке. На снегу разбросаны тела убитых партизан.

Вот он, смолкший пулемет немцев.

Боско заметил, что со стороны деревни к яме бежит человек. Паренек прибавил ходу. Прыжок — и он возле пулемета. В двадцати шагах от приближающегося немца. Тот застыл как вкопанный.

Боско вырвал приклад из рук закоченевшего пулеметчика. Он поймал в прорезь прицела неподвижную фигуру второго немца. Потом отвел затвор и увидел, что нет ленты. Тогда неожиданно для себя высоким голосом он выкрикнул русскую команду: «Руки вверх!» Боско рассчиты-

220 вал, что немцу должны быть знакомы эти слова. С громадным облегчением он увидел, как немец бросает оружие и поднимает руки над головой.

Взяв пулемет в левую руку, Боско медленным шагом направился к врагу. Ноги отяжелели, будто увязли в болоте. Расстояние почти не сокращалось.

«Если фашист заметит, что оружие не действует, мне крышка,— пронеслось в голове.— У его ног пистолет. Он нарочно поближе подпускает. А те, которые в деревне... Наверняка держат под прицелом. Тут не больше ста метров. Бить можно без промаха».

Боско отчаянно рисковал. С диким воплем, от которого у немца еще больше выпрямились руки, он подскочил к нему и ткнул в грудь дулом пулемета. Тот отшатнулся, а Боско мигом подхватил валявшийся на земле пистолет. Распрямляясь, успел сделать предупредительный выстрел. Озябшая рука ощутила толчок отдачи. Он выиграл!

— Марш! Марш! — крикнул Боско, показывая на юг.

Дитмар Остерло медленно и неуклюже повернулся. Он чувствовал острые тычки в спину — его подгоняли стволом пулемета. В голове крутилось множество путаных мыслей: «Почему же я не защищался? Взят в плен одним-единственным человеком. Австриец мертв. Меня тоже убьют. Партизаны пощады не знают. Этот стрелял в воздух. Но может и... Какая жуткая тишина! Что за ней последует? Наши должны напасть, должны спасти меня! Капитан Биркхан не даст мне погибнуть!»

Все вокруг замерло. Ни единого выстрела не прогремело больше ни в той части деревни, где засели немцы, ни там, где были сейчас люди Павловича.

У Боско уже не хватало сил тащить пулемет. Хоть бы с машины заметили. Резкий оклик часового. Потом — голос командира. Ему жмут руку. Теперь он может рассмотреть своего пленника. Фашистский унтер-офицер. На полголовы выше Боско. Командир молча обнял подростка.

«А я чуть было не послушался Милана, чуть не махнул рукой на пулеметы, тогда наш арсенал был бы победнее,— думал Павлович.— Но что подвигло мальчугана в одиночку идти на такой риск да еще взять в плен фашиста?»

Между домами появился Милан со своими людьми. Увидев Боско, он как-то особенно душевно улыбнулся ему. Мальчик гордо кивнул в сторону пулемета и, словно устыдившись своей гордости, смущенно засмеялся.

Павлович вместе со взводными и командиром автоколонны направился в один из крестьянских домов.

— А мы и в мыслях не держали, что здесь могут быть

немцы,— рассказывал командир колонны.— Я, честно говоря, немного струхнул, когда нас обстреляли. Этой пальбой фашисты всю округу всполошили. К югу от нас — эсэсовские танки, туда нам путь отрезан. Надо попробовать — назад, через деревню. Да и тут нас ждет горячий прием.

— Судя по ночному бою, немцы не так уж сильны. А сейчас тем более. Прячутся где-нибудь под лавками,— ответил Павлович.— А если податься на восток, через поля, минуя деревню?

— Так мы полколонны угробим.

— Может, послушаем пленного?

В горницу втокнули Остерло. Он стоял, не в силах унять дрожь в коленях. Впервые так близко он видел партизан Югославии. Вопреки его представлениям, бородатые лица были не такие уж страшные и совсем не свирепые. Скорее — равнодушные, если бы не серьезность их просительных взглядов.

Чей-то голос на ломаном немецком языке первым нарушил молчание:

— Часть? Дивизия? Задание? Вооружение?

«Этот голос привык отдавать приказы,— подумал Остерло.— Вероятно, комиссар, как это принято у русских. Для него такие вопросы — привычное дело. Хочет развязать мне язык. Если буду молчать, они меня просто вздернут».

Снова тот же голос, теперь он требовательнее и строже. Остерло заговорил:

— Мы только сегодня сюда прибыли. Прямо с Восточного фронта.

— Вы вели огонь по югославам?

— Нет!

— А пулеметы?

...Как ему объяснить, что пулеметы должны были лишь обеспечивать безопасность?.. Слава богу, тот махнул рукой, не дождавшись ответа. Видно, нервы тоже на пределе.

Павлович повернулся к Милану:

— Надо посмотреть его документы.

Взводный кивнул и подошел к пленному:

— Документы!

Остерло расстегнул шинель и вытащил солдатскую книжку. Шевеля губами, Павлович пытался разобрать его фамилию. Потом прочитал вслух:

— Двести шестнадцатый дивизион артиллерийского резерва...— Перевернул страницу: — Внешние приметы...— Внимательный взгляд на Остерло.— Так, значит, артиллерия. А пушки где?

— Пушек нет.

Остерло испугался. «Надо же быть таким идиотом, чтобы выболтать все сразу. Сам лишаю себя всякой отсрочки. Больше говорить не буду».

— Количество людей?

Остерло молчал. Он уставился в добела вымытые доски пола. В доме стало тихо. Подозрительно тихо. Остерло знобило от страха.

— Не... не... знаю,— заикаясь, сказал он.

И услышал, как кто-то поднялся с места. Шаги приближаются. Это он вел допрос. Массивная фигура закрыла собой всю комнату, весь белый свет. Густые, косматые брови.

— Отвечай, фашист!

Правая рука легла на кобуру. У Остерло подкосились колени. Это невыносимо.

— Триста.

Все кончено. Он — предатель. Югославы сразу оживились, все тут же заговорили, перебивая друг друга. Если бы он мог понять хоть слово. Теперь он для них — пустое место. Или, может, они спорят о том, как пустить его в расход.

Сретен Павлович задумчиво разглядывал пленного: «А что, если пойти на риск?»

— Связать! — приказал он.

Веревка! Нет, только не это! Унтер-офицера колотила дрожь, когда ему завели руки за спину и крепкой веревкой сдавили запястья. Двое партизан вывели его из дома.

— Что будем делать, командир? — спросил Милан. — Мешкать нельзя. Время работает против нас!

— Орудий у немцев нет. Если, конечно, пленный не врет. — Немного поразмыслив, Павлович добавил: — Хотя они имеют численное преимущество, да и тактические условия у них лучше. Чтобы выбраться из этой ловушки, нужна какая-то хитрость.

— Что ты предлагаешь?

— Пошлем этого замухрышку к своим, пусть передаст наше предложение: несмотря на «наше превосходство в силе», мы не станем нападать, но требуем пропустить нас через деревню. Если вы не согласны, придется платить кровью...

— Не надо недооценивать их. Они прибыли с Восточного фронта. Знают, почем фунт лиха.

— На словах немцы могут согласиться, а сами из укрытий изрешетят мои грузовики, — недовольно заметил командир колонны, — они же знают, что мы увязли прочно.

— Я кое-что придумал.

Все повернулись к Боско.

— И что же? — спросил командир.

Тут несовершеннолетний партизан Боско Петрович начал излагать свой почти фантастический план.

5

Остерло ковылял по деревенской улице. Его положение было и жалким и скверным. Сначала плен. Допрос. Веревка. А теперь его гонят к своим с ультиматумом. Надо же так вляпаться. Почему именно ему выпала такая миссия? Примет ли Биркхан условия партизан? Через тридцать минут, в час сорок пять, машины двинутся. Он насчитал восемь грузовиков. Около двух сотен до зубов вооруженных солдат с тяжелыми и ручными пулеметами, у каждого — автомат и гранаты. Поддержка местного населения им наверняка обеспечена.

Он вздрогнул при мысли, что, возможно, еще раз придется идти к партизанам. Какое бы решение ни принял капитан, Остерло останется в жалкой роли заложника. А с заложниками можно поступать как угодно: убить, бросить в безлюдных горах или увести с собой в качестве военнопленного... Не исключено, правда, что Биркхан не пойдет ни на какие условия и не пошлет его, Остерло, к противнику.

Он снова окунулся в знакомую канитель, увидел привычные вещи: оружие, помятые каски, подводы, фляги, потемневшие от пота мундиры, сумки с противогазами. В силу привычки все это было близко и тем не менее ненавистно, потому что привычка прививалась насильственно.

Настроение солдат отдавало паникой. Только что отгремел какой-то странный бой, в любой момент партизаны могут перейти к атаке. Слышались нервные окрики командиров, все бегали и суетились, многие лошади уже были запряжены.

— Где тебя черти носят? — раздался резкий, срывающийся голос Фогельхофера.

— Мне надо срочно к Биркхану!

Мимо них на брезенте пронесли тело австрийца.

— Пуля попала в голову, — сказал вахмистр.

— Что тут такое? — В дверях одного из домов появился Биркхан. Он с удивлением воззрился на Остерло, будто перед ним был выходец с того света.

Передавая сообщение, Остерло снова чувствовал дрожь в коленях. И хотя тот, напротив, был совершенно спокоен, ни разу не прервал его, Остерло кожей ощущал исходящую от капитана неприязнь. Биркхан смотрел на секунд-

224 ную стрелку, паучьей ножкой оббегающую циферблат. Еще двадцать минут. Мозг его судорожно работал: «Красным, конечно, известно, что у нас нет ничего, кроме карабинов да единственного пулемета. Бой сулит большие потери, и вообще трудно сказать, удастся ли преградить дорогу партизанам. Но если я не приму бой, полевого суда не миновать, меня обвинят в трусости и капитуляции. Или чего доброго — в сотрудничестве с бандитами Тито. Чтобы уступить дорогу, надо придумать аргументы. Числом превосходим, но уступаем в вооружении и технике. Что же делать, черт побери?! Еще пятнадцать минут. Там уже клацают затворами. Вот-вот запустят моторы, нажмут на педали — и беда обрушится на наши головы. И в самом деле пахнет бедой. А кто ее накликал? Этот вонючий дохляк Остерло! Опять Остерло! На сей раз угодил в объятия к красным. Случайно ли это?»

Он презрительно оглядел унтер-офицера, но решил не нарушать делового стиля:

— Ваше впечатление об этом отряде?

Остерло рассказал, что видел минометы среднего калибра и один советский «максим». Лицо капитана моментально покрылось сетью морщин, как будто вмиг постарело. Но вот он живо сверкнул глазами:

— Вы тут обмолвились, что попали в плен. Нельзя ли поточнее — как все произошло?

Остерло почувствовал в этом вопросе скрытую угрозу. Щеки его залились краской. В памяти ясно и резко обозначился эпизод у ямы. Он увидел подбегающего к ней подростка, вспомнил, как тот рванул на себя тело пулемета. И вновь ожили страх, стыд и ощущение нелепости тех мгновений, когда ему пришлось стоять с поднятыми руками, бросив на снег пистолет. Он был жалок и беспомощен, тешил себя надеждой, что его противник не сможет нажать на спуск. А потом его чуть не стошнило от презрения к самому себе: он увидел, что в пулемете нет ленты.

— Ну говорите же, черт вас возьми! — Капитан буравил его взглядом.

— Группа партизан, — начал Остерло, — напала на огневую точку с пулеметом... Я тут же доложил вахмистру Фогельхоферу о создавшемся положении.

— Значит, вы самовольно оставили пост?

— Я должен был действовать, господин капитан!

— Вы называете это «действовать»? Вместо того чтобы уложить парочку мужиков и отобрать у них свой пулемет, вы трусливо покидаете поле боя. Знаете, чем это может для вас обернуться?

— Нет... никак нет,— бормотал Остерло,— все было не так...

— Замолчите!

Унтер-офицер опустил голову. Ему угрожают со всех сторон. Как же случилось, что он оказался меж двух огней? Неужели Биркхан считает, что он добровольно сдался в плен, потому что не хотел воевать? Но ведь нежелание воевать и переход на сторону противника — не одно и то же. Капитан Биркхан не был настроен продолжать разговор. Он молчаливо и лихорадочно думал. Ему одному принимать решение. Нужно еще немного напрячься, собраться с мыслями.

— Пусть зайдут нижние чины.

Остерло встал рядом с Фогельхофером, что-то шепнул ему.

— Только без вас! — визгливо крикнул капитан.

В нескольких словах он обрисовал обстановку подчиненным.

— Если следовать доводам разума, надо принять предложение,— заключил он неестественно бодрым тоном.— Мы расставим людей фронтом к дороге. Метрах в ста от деревни. Дистанция между солдатами — три метра. Тем самым будет выражено наше согласие. Однако я оставляю за собой право в любой момент дать приказ на открытие огня.

— При любых обстоятельствах,— вякнул Фельдман.

Остерло стоял в стороне. На нем уже была печать проклятия. Он чувствовал, что не только капитан, но и все остальные считают его виновным в создавшейся ситуации.

— А вы идите сию же минуту! — Биркхан снова перешел на визг.— Передайте им мой ответ. И не заблудитесь на обратном пути!

«Эта последняя фраза,— думал Остерло,— равносильна приговору». И чем сильнее он сознавал свою обреченность, тем безвыходнее ему казалось положение, тем поспешнее двигались ноги. Его гнал приказ, который так или иначе ведет к позорной смерти. Еще десять минут. На фуражке и рукаве Остерло белели повязки из марли. По этим знакам его должны признать парламентаром. Если бы не эти белые полоски, его фигуру было бы трудно разглядеть в сгустившейся темноте.

В домах — торопливая возня, хлопанье дверьми. Жители забиваются в погреба. Еще десять минут.

Артиллеристы растерянно покидают деревню. Можно подумать, что собираются ее взорвать. Слышится глуховатый топот по рыхлому снегу. Подальше от беды. Топот, ме-

226 таллическое звяканье и приглушенные голоса потихоньку удаляются. Фельдман с пулеметом австрийца засел на краю деревни. В яме уже бдит Фогельхофер.

Время вышло. Взревели моторы. Звуки выхлопа — как пушечные выстрелы. Ночью все кажется больше и внушительнее. Создавалось впечатление, что тронулась с места танковая колонна. Сотни пар глаз следили за различным еще участком дороги.

— Только бы не упустил наш капитан подходящий момент,— бормотал Фельдман.

«Только бы пронесло»,— думал Фогельхофер.

В это время из-за поворота показался первый грузовик, он двигался с потушенными фарами, на средней скорости. Над чернеющими бортами тускло поблескивало оружие. За ним — второй... В то же мгновение на склоне длинной очереди зарокотал «максим». Артиллеристы как по команде обернулись. Сверкнула огненная трасса, пули свистели прямо над головами. Все попадали в снег. Машины разом рванулись и понеслись. Плотной вереницей они проскочили в северную половину деревни и скрылись из виду на дороге в Загреб. Немцы не успели сделать ни одного выстрела. Только русский «максим» продолжал рассекать темное пространство пунктиром трассирующих пуль. Капитану даже не пришлось в голову скомандовать: «Огоны!» Вместо этого он кричал: «Занять предместье!»

Фельдман тряс за плечо Фогельхофера:

— Пулеметчик где-то поблизости. Я его достану!

— А если их там много?

— Тогда сообщу.

— Хочешь узнать, кто подложил нам свинью? Так, что ли? — спросил вахмистр в первую очередь ради того, чтобы половчее оправдаться потом, в случае возможного дознания.

Фельдман кивнул. Его губы зазмеились в улыбке. «Мой первый партизан,— думал он, испытывая чуть ли не сладостный трепет.— Этот стрелок все сумел рассчитать, однако не допер, что кто-то из нас захочет его приласкать. Биркхан в штаны наложил. Даже приказ отдать боится. Черт с ними, с грузовиками. Но пулемет-то зачем отдавать? Мало того, что Биркхан все удовольствие испортил, он еще до полевого суда достукается. Но я от своего не отступлюсь: стрелок или пулемет, а может, и оба — будут моими».

— Ну тогда, как говорится, в добрый час! — сказал Фогельхофер и поспешил в деревню.

Согнувшись пополам, Фельдман трусцой побежал по голубоватому заснеженному полю. За огромной обломанной

березой он заметил чью-то тень. Как пить дать — пулеметчик. Фельдман осторожно полз вперед и оказался в глубокой впадине. Теперь ничего не было видно...

— Этот чесночник сослужит мне службу, — с замиранием сердца шептал он, — а иначе на кой военная хитрость?

6

Выпустив все патроны, Боско Петрович сменил магазин. Линия немецких стрелков у деревни уже распалась. Теперь надо было спешить в южную часть. Оттуда его подстраховывал Милан. Одновременно взводный выполнял другую задачу: ему поручили следить за действиями немцев в случае удачного осуществления замысла партизан. Если ворвутся в незанятую часть деревни, им с Боско надлежит встретиться в условленном месте за околицей. При благоприятном раскладе через несколько часов они смогут увидеться в штабе.

Боско сразу же заметил человека, который быстро двигался по направлению, указанному трассирующими пулями, то есть в сторону Боско. Чего он хочет? Для захвата пулемета немцы наверняка отрядили бы не одного человека. Разведчик, что ли? Когда приблизившийся немец внезапно исчез, Боско почувствовал неприятный холодок. «У тебя в руках классный пистолет и пулемет наготове. Мало ты пострелял поверх голов, обеспечивая бескровный отход? Хватит. Поиграли. Смерть фашистам! Если он сейчас поползет на юг, с ним можно будет рассчитаться».

Вдруг прямо перед ним, закрыв обзор, выросла темная фигура. Над головой — какой-то белый лоскут. Человек осторожно придвигался, размахивая белым. Остановился. Сверкнули погоны. Судя по ним — капрал.

Боско щелкнул предохранителем. Тело напряжилось. Отступил за дерево. Взял пистолет в правую руку. «При всяком подозрительном движении буду стрелять», — решил подросток.

— Я хочу к партизанам, — сказал немец. От дерева его отделяло примерно десять шагов.

Только сейчас Боско догадался, при чем тут белая тряпица. Значит, капитуляция. Сердце мотыльком забилося в груди. Немец сдается. Но как-то подозрительно все это выглядит. Он взмахнул пистолетом в направлении деревни. Пустил немца вперед, в нескольких шагах от себя. Снег скрипел под ногами. В лунном свете на снегу выделялся каждый бугорок. Капрал шел прямо к середине деревни. Боско приказал взять немного к югу. Немец подался чуть

228 в сторону и оказался на одной высоте с ним. В этот момент Боско зацепился ногой за сухой брусничный стебель и неловко уткнулся плечом в снег. Тут он увидел занесенную над ним рукоятку пистолета... «При всяком подозрительном движении буду стрелять...» Но он не смог даже согнуть пальца. Луна расплылась во все небо. Потом стало темно и невыносимо больно. Фельдман оторвал оглушенного подростка от пулемета, вальтер засунул себе в карман. Потом начал тереть снегом бледное мальчишеское лицо. Минуты через две Боско открыл глаза.

— Встаты! — Унтер пнул его сапогом в бок.

Боско, шатаясь, встал на ноги. Голова гудела. Со лба бежала теплая струйка крови. Фельдман ударил его в лицо кулаком. Еще и еще раз.

— Я покажу тебе, свиненыш, как дурачить старых солдат!

Боско мучила досада за собственный промах. Как он не догадался обыскать фашиста?

«Теперь сосунок уже не очухается. Этого удара ему надолго хватит,— решил Фельдман.— У Биркхана глаза на лоб полезут, когда я доставлю ему парня да еще пулемет в придачу». Он гнал пленника перед собой, толкая его в плечо...

Двигаться становилось все труднее. Боско клонило к земле. Он остановился. Его вырвало. Фельдман с ухмылкой наблюдал за ним. «Схлопотал сотрясение мозга,— определил унтер.— Не на себе же тащить его в деревню. С меня хватит и пулемета. Может, порешить на месте? А то, чего доброго, заставят возиться с ним до самого Загреба». Он нервно барабанил пальцем по насечке вальтера. Тут какая-то сила заставила его безвольно раздвинуть ноги, и, потеряв равновесие, он опрокинулся на спину. Падая, успел выстрелить. Раздался еще выстрел.

Милан! Друг! Все происходящее Боско видел сквозь мутную завесу. На снегу, сцепившись, боролись два человека. У взводного выбит наган. Он пытается совладать с чужой рукой, в которой зажат пистолет. Но пальцы слабеют и разжимаются. Рука с пистолетом изготовлена для выстрела. Из последних сил Боско бросился к тому, что стоял. В лунном свете оверкнул длинный клинок. Он попал точно в горло.

Фельдман вскрикнул, захрипел и тяжело осел в снег. Пистолет выскользнул из руки. Немец повалился на бок и больше не двигался. Широко раскрытые глаза стеклянно блестели. Мальчик неловко поднялся, стараясь пошире расставить ноги, чтобы снова не упасть. Рука еще сжимала

Милан обыскал убитого, забрал солдатскую книжку и оружие. Вальтер он вернул Боско. Взводный хотел перевязать ему рану на голове, но тот решительно воспротивился:

— Успеется. Спешить надо...

Он затянул ремень на ватнике. Но кинжал все еще не мог выпустить из рук. Впервые его клинок обагрился кровью врага.

— Ты мне жизнь спас,— сказал Милан.

— А без тебя я попал бы к фашистам или навсегда бы остался на этом бугре.

Милан взвалил пулемет на спину, и они медленно пошли вверх. Поднявшись по склону, увидели внизу всю деревню целиком. Северная половина терялась в темноте, южная — светилась крохотными огоньками занавешенных окон. Было так тихо, что события прошедшего дня казались игрой воображения. «Надо все-таки перевязать парня», — подумал Милан.

7

Боско все больше впадал в забытие. Ему чудились радостные, полные ярких красок картины. Вот он сидит в лодке среди веселых парней и девушек; вечером они вышли из Дубровника и поплыли к острову Локрум, на который когда-то волны вынесли потерпевшего кораблекрушение британского короля Ричарда Львиное Сердце. Они поют щемящие душу песни о любви и о море, о чужбине и возвращении в родные места. Пронизанная лунным светом вода жемчужными каплями осыпает весла, и они становятся волшебными жезлами. Мечты влекут его в будущее. Он будет ходить в хорошую школу, в новую школу для партизанских детей. Его ждут неизведанные радости. Уже ради этого стоит бороться. Когда-нибудь он разыщет своего отца. Наверняка разыщет.

Идти уже не хватало сил. Звезды дробились, рассыпались мелкими искрами. Полярная звезда, по которой они держали путь, сама блуждала по черному небу, где все сразу сместилось и перепуталось.

— Мы уже близко. Сейчас идти будет полегче, — то и дело приговаривал Милан. По его расчетам, здесь должно быть место, где можно спокойно передохнуть и набраться сил.

Сквозь открытую дверь лился матовый свет. Кажется, в этом доме совещались тогда партизаны.

«Теплый свет,— думал Боско,— так светится Адриатическое море. Каникулы в Дубровнике. Узкая прибрежная полоса от устья Неретвы до Которской бухты. Цепи гор. Обрывистые скалы побережья. Серебристые плавники островов. С юга приходит теплый влажный сирокко, с севера иногда набегают холодные бури. Прозрачная глубина... далекое дно как на ладони... Глубина...»

Милан подхватил его под руку. Откуда-то появился седовласый старик с длинными усами. Он помог Боско, по-прежнему сжимавшему в ладони кинжал, войти в дом и бережно уложил его на постель.

Взводный хмуро смотрел в глубину комнаты. Там стоял унтер-офицер Остерло. Он еще не успел снять белых повязок.

— А вы зачем тут?

— Перед отъездом один из командиров сказал мне, чтобы я оставался здесь, пока машины не проедут деревню.

Милан перебирал в памяти все известные ему немецкие слова и обороты. Во время многочисленных перевозок лошадей с конного завода в венскую школу верховой езды он немного научился говорить по-немецки.

— Машин в деревне уже нет... Полчаса прошло.— Он неприязненно смотрел на немца.

— Но тут поблизости стреляли... И я не решился.

Взгляд Остерло остановился на лежащем без сознания Боско, на том самом подростке, который взял его в плен. У него вдруг возникло ощущение, что они давным-давно знакомы.

Крестьянин осторожно обрабатывал рану. Жена подала ему влажное полотенце. Старик приложил его к голове Боско.

— Слава богу, что голова у него хорватская, такую проломить мудрено.

Боско мало-помалу приходил в себя. Приятная прохлада заглушала адскую боль в голове. Но веки налились тяжестью, глаза было не открыть. Мерещились высверки трассирующих пуль над погруженной во тьму деревней, удаляющийся шум моторов. Он еще раз пережил те мгновения, когда в воздухе мелькнула белая тряпица, превратившаяся вдруг в черный пистолет, который тотчас же обрушился на голову. Вспомнились сверкнувшие в темноте глаза Милана и пистолет, направленный прямо в лицо. Перед ним был не просто противник, это был подлый враг, человек с гаденькой душой. Он стремился не только убить, но и растоптать, надругаться. Но суд свершился. Враг нашел смерть, какую заслужил.

— Ну как ты? — Взводный склонился над изголовьем. В его зрачках отражалось красноватое пламя керосиновой лампы.

— Уже лучше.— Боско с удивлением услышал собственный голос. Он звучал совсем по-детски.

Попробовал подняться на локтях, но перед глазами все поплыло, и Боско бессильно опустился. Когда он вновь открыл глаза, взгляд его упал на Остерло. Это длилось несколько секунд, пока в сознании не восстановилась связь событий. Белые знаки парламентаря окончательно вернули его к действительности.

— Милан, что он тут делает?

— Не знаю. Говорит, что ему приказано ждать.

— А тот... другой... Они из одного подразделения?

Взводный достал солдатскую книжку убитого и протянул ее Остерло:

— Знаешь такого?

Унтер взял документ, повертел его в руках и только после этого раскрыл. Он увидел ухмыляющуюся физиономию Фельдмана. На него повеяло знакомой злобой... Остерло содрогнулся. Только теперь он начал понимать, что значил тот далекий выстрел... Мальчик-партизан ранен в голову... Солдатская книжка Фельдмана... Выходит, решил отличиться, устроил себе охоту. А сейчас лежит на снегу. Фельдмана больше нет. А я? Что они сделают со мной?

— Стало быть, вы его знаете?

Милан правильно истолковал выразительное молчание унтера.

— Да,— сказал Остерло.

— Плохо дело.— Милан повернулся к крестьянину: — Как ты думаешь, хватит у него сил на многочасовой переход? — Он озабоченно взглянул на Боско.

Паренек встал с постели и сделал несколько неуверенных шагов по комнате. Он попытался ободряюще улыбнуться старику. Тот покачал головой:

— Я пойду с вами. Хоть маленько провожу. Но сперва чаю попьем да перекусим чем бог послал.

Взводный решил до конца разобраться с немцем:

— Почему вы не уходите?

Остерло невольно щелкнул каблуками и вытянулся:

— Меня ждет наказание. Меня подвергнут...

— Наказание?

— И еще меня останавливают... некоторые соображения...

Снова воцарилось молчание.

— Эта война больше не моя война.— Он проговорил тихо, как будто устыдившись своего признания.

— Вы что же, перебежчик? — Милан был озадачен.

Щеки Остерло покрылись пятнами. Что же им движет? Страх наказания? Если прогонят к своим, Биркхан отдаст его под суд и все обернется против него. Нет, он не хочет назад. Из двух зол надо выбирать меньшее, менее... определенное. Он не замарал себя преступлением, даже не сопротивлялся, когда парень приказал идти к партизанам. Они не могут не принять это во внимание.

Он поднял голову и посмотрел прямо в глаза югославу:

— Да, я перебежчик.

— Следовательно, вы — военнопленный.

Боско понял суть разговора. Он медленно подошел к немцу, о котором не знал ничего, кроме того, что он молодой и не такой уж противный с виду.

Боско достал далматинский кинжал и сделал немцу знак, чтобы тот расстегнул шинель и спорол с рубашки нашивку со свастикой. Остерло понял. Он осторожно взял кинжал. Когда тряпичная эмблема полетела на пол, бывшего унтер-офицера охватило двойственное чувство: как будто он совершил нечто ужасное и в то же время каким-то странным образом сделал шаг к свободе. «Это решающий шаг в моей жизни», — подумал Остерло.

Взводный вооружился пулеметом. Все четверо в полной тишине выходили с восточной окраины деревни. Если Боско выдержит, часа через четыре они будут в штабе 13-й Пролетарской бригады.

Несколько дней спустя рота лейтенанта Сретена Павловича снова приступила к боевым операциям, уже в новом районе. Но партизаны еще долго вспоминали смелого мальчишку, решившего судьбу отряда.

ЩЕЩЕРА

1

«Мессершмитт» пронесся по взлетной полосе, круто взмыл вверх и как бы завис над длинной грядой холмов. Тут же загудел мотор другой готовой к полету машины. Из-под брюха истребителя «Фокке-Вульф-190» вырвалась плотная струя голубого дыма. И секунды спустя раздался оглушительный рев. Истребители беспрепятственно поднимались в

воздух, чтобы там, за кровавой полосой горизонта, обрушить свой огонь на смельчаков-патриотов, защищающих Банска-Бистрицу, Зволен, Гельпу и Липтовска-Осаду. 22 октября 1944 года фашистские войска возобновили наступление.

Тридцать пять тысяч патриотов в течение двух месяцев защищали от врага Восточную Словакию. Теперь им пришлось сосредоточить свои силы на шестой части территории. 8 сентября по просьбе чешской стороны Красная Армия начала переход через Карпаты, двенадцатью днями позднее ее авангард перешел государственную границу Словакии. Но до Банска-Бистрицы, центра национального восстания, оставалось еще не меньше двухсот километров. И вермахт предпринимал отчаянные попытки удержать Карпаты, не допустить ни шага отступления. В тылу немцы безжалостно убивали каждого, кто мог быть заподозрен в связи со словацкими, советскими и французскими партизанами.

Янко Михник опустил бинокль.

— Нападать на гнездо этих стервятников, — размышлял он, — равносильно самоубийству. У них — тяжелые пулеметы и четырехствольные зенитки. Прежде чем взорвем хоть одну машину, каждого из нас они успеют превратить в решето.

У Янко исхудалое, с резко проступившими скулами лицо, синие глаза, черные волосы. До сорок второго он работал мастером на сталеплавильном заводе в Подбрезовой.

— Придется, видно, с другого бока заходить, — задумчиво произнес Мартин Карваш, вся жизнь которого прошла в лесу и в горах.

Это был искушенный в своем деле лесоруб с короткой русой бородой и добрыми меланхолическими губами. Довоенное ремесло приучило его к отшельничеству, к неделям одинокого житья в лесной хижине. За тысячу шагов он мог различить огонек лесного костра. А когда вблизи от него разорвалась первая граната, Мартин почувствовал чуть ли не облегчение. Звук взрыва оказался куда менее впечатляющим, чем треск и уханье упавшей на землю гигантской ели, а уж это было ему не в диковинку.

— С другого бока... это, как я понимаю, боеприпасы и горячее, — сказал Леонид Семенов, слесарь из Белоруссии, поправляя ладонью вечно спадающие на лоб пряди густых светлых волос.

В конце августа он вместе со своими товарищами вылез из «дугласа», приземлившись на партизанском аэродро-

234 ме, даже не подозревая, что в ходе восстания здесь будут садиться советские самолеты самого различного назначения — больше тысячи машин с людьми, минометами, пулеметами, противотанковыми ружьями и взрывчаткой. Судьба семьи Семенова оставалась неясной: все считались пропавшими без вести. Но он был уверен — и ничто не могло поколебать этой веры, — что когда-нибудь снова увидит родных. Вот уже два месяца, как он сражался в отряде коммуниста Янко Михника.

— С бензином будет труднее. Легче достать патроны и гранаты, — включился в разговор Франтишек Прохаска, молодой учитель богословия из Остравы.

— Как они все-таки доставляют авиационный бензин? По железной дороге? Или на машинах? — ломал голову Мартин.

— Неважно, как доставляют. Важно, где хранят. Если в «гнезде», тогда — спокойной ночи, святой Флориан! — озабоченно заключил учитель.

Все четверо покинули наблюдательный пункт, облюбованный на крутом склоне, и снова спустились под своды мачтового леса. Они вслушивались в глубокую тишину гор, которую не мог разбудить даже оглушительный крик ушастой совы.

«Сколько наших погибло от этих «мессершмиттов» и «фокке-вульфов», — думал Семенов, — должен же быть какой-то способ вывести их из строя».

Подъем занял больше часа. На выступе скалы показался маленький домик, где в прежние времена ночевали лесорубы. О нем знали по описаниям Доминика. Сквозь вершины елей пробивался холодный свет октябрьского солнца.

— Теперь у каждого — своя задача, — тоном приказа объявил командир. — Мартину — установить, есть ли на станции бензоцистерны и когда их пригнали. Франтишек должен выяснить, как горючее доставляется к машинам. А Леонид передаст в штаб, что нашей разведке удалось... короче говоря... передаст то, что нужно.

Франтишек Прохаска чувствовал, как в душу заползает страх, неотвратимый и вязкий. Ему, человеку, свободно владеющему немецким языком, поручали непосредственные контакты с оккупантами. Он уже не раз добывал необходимые сведения — для командования дивизии это была просто бесценная информация. И каждый раз ему приходилось глушить в себе страх, к тому же в физическом отношении он был слабее других, да еще и мучился мыслью.

— Избушка будет у нас командным пунктом. Я остаюсь здесь,— сказал Янко Михник. И немного спустя добавил: — Может, поблизости еще кого-нибудь из наших встречу.

2

Раздался резкий телефонный звонок. Унтер-фельдфебель Шлезингер взял трубку, заученно представился и принял распоряжение выпустить на линию колонну грузовых машин. Состав с цистернами был уже на станции.

«Нарочно, что ли, подгадывают к тому времени, когда охота вздремнуть? — с раздражением подумал он.— Другие давно уже дрыхнут».

Он поднял кулак и крикнул:

— Колонну на марш!

Эхо огромной пещеры удесятирило силу звука. Электроагрегаты давали очень слабый свет. От этого длинное клинообразное лицо Шлезингера еще больше вытягивалось. Красноватые нити ламп, работающих вполнакала, бросали скудные дрожащие отсветы на длинные ряды металлических бочек. Казалось, они тоже подрагивают в этом призрачном свете. А в сотне шагов от них, за ступенчатым контуром бетонной стены, начиналась вечная пещерная тьма.

Правда, вечной она не была. До войны здесь находилась стоянка автобусов, беспрерывно сменявших друг друга и летом и зимой. Сюда стекались толпы туристов, гонимых благородным любопытством, жаждой увидеть собственными глазами подземное царство с просторными залами, лестницами и сталактитовыми колоннами, с узкими коридорами, по которым можно двигаться лишь в затылок друг другу, с окаменевшими занавесами с причудливыми фигурами, созданными самой природой. Сюда приходили слушать гул подземной реки, пробившей каменную толщу, и яростное клочкотание невидимых водопадов. Все здесь захватывало воображение, давало пищу для фантастических прогнозов о том, как всеокрушающая сила воды может изменить этот пещерный мир за миллионы лет.

Заспанные и недовольные водители бензовозов тянулись к своим машинам. Затяжной дождь превратил окрестные дороги в непроходимые трясины. Каждый рейс требовал поистине виртуозного мастерства и предельного напряжения сил. Если привозили двухсотлитровые бочки, это было

236 еще терпимо. Но когда горючее переливали из железнодорожных цистерн, пыхтеть приходилось всю ночь. Вернувшись на базу, вконец усталые солдаты должны были еще и повозиться с разгрузкой. Они снимали бочки с машины, подкатывали тяжелые булькающие цилиндры к порогу, за которым начиналась непроглядная тьма, выстраивали их в ряды так, чтобы они были поближе к выходу на случай, если ночью или в самую рань прикажут опять грузить на машины.

— Господам пилотам на все наплевать,— шипел себе под нос Шлезингер.— Им главное, чтобы вовремя разбудили да машины заправили. А за порядок спрашивают с меня, хотя сливки снимает один только Шпис.

Этот Шпис чинил ему всяческие помехи на пути к фельдфебельскому званию. На прошлой неделе Шлезингер со своим помощником штабс-ефрейтором Кнорром заглянули в глубь пещеры, с карманными фонариками прошли не менее двух километров — так им, во всяком случае, показалось. Шли и все охали: вот уж действительно волшебное царство! Луч фонарика высвечивал несказанные краски каменеющих сосуллек, колдовское мерцание набухающих на стенах капель. А сверху давила первобытная мощь каменной громады.

Шлезингеру вспомнился облаченный в ливрею экскурсовод, как свои пять пальцев знающий этот загадочный мир. И разумеется, имеющий опыт общения с иностранцами. Он говорил на многих языках. Прежде всего, конечно, на английском, французском, ну и довольно сносно — на немецком. Он и поведал о том, каков примерный возраст пещеры и когда она была открыта, сколько веков требуется сталактитам, чтобы их длина увеличилась хотя бы на миллиметр, и как бесконечно долго происходит рост сталагмитов. Он приводил точные данные о том, из каких минералов какие краски умеет извлекать подземная вода, и процитировал выдержки из произведений знаменитых путешественников, побывавших в пещере. И уж, конечно, этот специалист, этот полиглот смог бы рассказать, удалось ли пытливым ученым и любознательным путешественникам пробиться в неизведанные глубины этих подземных ходов или же величавые горы закрыли им доступ к своим недрам, породив какое-нибудь страшное катастрофическое явление.

Шлезингер и Кнорр скрестили лучи на том самом месте, откуда в толще скалы начинался узкий коридор. Он открывался матово-черным сколом, пропадавшим в потоке неукротимой подземной реки. Унтер-фельдфебель Рихард

Шлезингер из Кроссена на Одере не очень надеялся, что ему когда-нибудь удастся свести знакомство с удивительным экскурсоводом. Хотя когда он, участник блицкрига, находился во Франции и его часть была расквартирована в оккупированном Париже, ему не терпелось приготовить для своей жены что-нибудь эпохальное: «Смотри, Лило, что я сумел завоевать для Адольфа Гитлера и великой Германии». Но между сороковым годом на Западе и сорок четвертым на Востоке разверзлась целая пропасть. В Татрах он воевал уже довольно своеобразным способом. Шлезингер занимался бензоснабжением. Сверху, с ледяных вершин Высоких Татр, веяло ледяным холодом и сыпало снегом. Казалось, в самом мятущемся воздухе слышится угрожающая нота возмездия. На каждом шагу подстерегали тени убитых — это были люди разных национальностей. Вход в пещеру преграждали массивные ворота. Раньше их закрывали только на ночь. Они были вытесаны из могучих бревен и крепились на обильно смазанных шарнирных петлях невероятной величины. Но циклопические ворота уже не внушали ему ощущения безопасности. Он страшился повешенных, замученных пытками, расстрелянных, заживо погребенных, хотя непосредственного участия в акциях не принимал. Для погибших крепостные ворота не были помехой, тени беззвучно проходили сквозь них и задавали свои беспощадные вопросы...

А о чем думал штабс-ефрейтор Кнорр? Прежде всего, пожалуй, о горячем. Он знал толк в своем деле и не хотел бы менять занятие. Кнорр хорошо понимал, что местечко ему досталось непыльное. Во всяком случае, не грозит перспектива пополнения поредевших в боях стрелковых подразделений и заново формируемых частей люфтваффе.

Снаружи слышался шум моторов и знакомый металлический скрежет. Постепенно затих рокот остановленных двигателей. Захлопали дверцы кабин. Прибыла колонна с горячим. Шлезингер вытащил свой блокнот. Снова с грохотом покатались бочки. Снова ругань погрузочной команды. И птицы смерти с черно-белыми крестами на металлическом оперении подобрали когти, чтобы начать полет в сторону заалевших на востоке гор, чтобы продолжить охоту на людей, отстаивающих свою свободу.

238 жима Тисо. В конце июля 1944 года юго-западнее Свети-Мартина высадилась организационная группа советских военных специалистов для подготовки фронта партизанской борьбы. Она приступила к формированию отрядов добровольцев. Патриоты Словакии и бежавшие из концлагерей красноармейцы, французы, венгры и румыны вливались в ряды восставших.

Но чешское эмигрантское правительство в Лондоне вынашивало иные планы. Оно рассчитывало затянуть назревающее восстание хотя бы до вступления Красной Армии. А затем путем государственного переворота образовать консервативное правительство, угодное западным союзникам.

29 августа Гитлер ввел свои дивизии. В тот же день в Банска-Бистрице Словацкий Национальный Совет провозгласил открытую борьбу с оккупантами и отечественной реакцией. За короткое время партизанские отряды освободили центральные и северные районы Восточной Словакии. Режим Тисо незамедлительно двинул свои военные силы на подавление освободительной борьбы. Но солдаты и офицеры братались с партизанами. Начался массовый переход военнослужащих в войска патриотов.

Успешные действия восставших вынудили командование вермахта перебрасывать в Словакию все новые мотопехотные дивизии, танки, тяжелую артиллерию и части люфтваффе. Им было приказано потопить в крови землю, вышедшую из-под власти поработителей.

Партизанские формирования несли тяжелые потери. От взвода Янко Михника осталось лишь четыре человека. А из ста шестидесяти бойцов всего отряда выжило только двадцать три.

К немалому удивлению Янко, Франтишек и Мартин вернулись уже поутру.

— Пещера? — спросил он, не в силах скрыть разочарования.

— Мальчишкой я часто бывал там, — задумчиво произнес Мартин. — Лет тридцать назад. Она уходит в глубь горы на многие километры. Должно быть, и боковых ходов там хватает.

Послышался хруст сломанной ветки. Они привели автоматы в боевое положение и бесшумно пропали в белесой мгле. Немного отойдя, все трое присели на корточки и стали напряженно прислушиваться. До них донесся посвист

тростниковой камышовки. Трижды в определенной последовательности повторился условный сигнал. 239

— Это Леонид.— Мартин первым уловил звук осторожных шагов.

— Все в порядке?

— Штаб нас торопит, сильно торопит.

Янко готов был вспылить, с усилием взял себя в руки.

— Нападение на пещеру — это же пустая, безумная затея. Тут уж мы никак не порадуем товарищей из штаба.

— А зачем атаковать вход? Может, у пещеры есть выход?

Все трое внимательно посмотрели на русского. Как они до сих пор до этого не додумались! Если попробовать подобраться к горячему из глубины?

Ближе к полудню лесоруб Мартин Карваш начал спуск. В латаной-перелатаной куртке с топором за поясом, в старой засаленной шляпе, он не был обременен никакой ношей. В мятом рюкзаке — ничего, кроме куска хлеба. Хорошо, что в горной лачуге нашлось кое-какое барахло. Он шел широким, но размеренным шагом в сторону лепившейся к холму маленькой деревушки. От нее до полевого аэродрома было всего несколько километров. По дороге встретил старика, пасшего двух тощих коровенок.

— Бог в помощь! — крикнул Карваш.

— Бог спасет, — хриплым голосом отзывался крестьянин. Это прозвучало довольно дружелюбно.

Мартин сказал, что ищет своего брата Милоша Татарку. Судя по всему, война занесла его в эти места. Он должен быть где-то тут, неподалеку от большой пещеры. Мартин выжидательно смотрел в воспаленные, изъеденные дымом костров глаза старика.

Тот энергично замотал головой:

— У нас никакого Милоша Татарки нету. Иначе я бы его знал.

— Но эта деревня близко к пещере?

— Точно так. В тыща семьсот тридцатом году гулял здесь Яношик из Тершова под Жилиной. Отчаянная голова. Тут его и схватили. Вот это был бунтовщик! Как он потрошил богатеев... И всего-то с горсткой товарищей. С ними вместе и сложил голову, — доверительно сообщил старик.

Он задумался — вероятно, вспоминал что-то — и немного спустя добавил:

— А те, кому удалось спастись, нашли эту пещеру и схоронились в ней. Так у нас в деревне рассказывают.

— Там, наверно, и выход есть? — как бы между про-

240 чим спросил Мартин, до боли в пальцах сжимая топорище.

— Точно так,— с готовностью подтвердил старик.— Верстах в девятнадцати от входа. Только об этом мало кто знает. Спуститься туда вовсе даже несподручно. Разве что на канатах. Да и кому это нужно-то? Господам путешественникам и здесь хорошо заходить. С факелами по ровной тропинке пройдешь версты три. А дальше кто же сунется? Кому жить надоело?..

— А где же тот спуск?

— В молодости я был сущий сорвиголова, все на свете хотел перевидать да перепробовать, добрался и до нашей пещеры.

Тут словоохотливый старикан, не скупясь на подробности, описал путь в пещеру. И Мартину стоило немалого труда выделить в его рассказе главное.

— Как же мне найти бедного братишку?

— Войне скоро конец. Много народа из лесов выйдет. Люди говорят: там партизаны. Горы ведь и помогать умеют.— Он бросил на лесоруба испытующий взгляд.

Мартин почтительно коснулся рукой шляпы. Ему хотелось до конца выдержать тон, взятый в начале встречи.

— Душевно вам благодарен. Да поможет вам бог.

— А вам с божьей помощью отыскать брата.

Карваш поспешил назад и круто взял вверх. Ноги не знали устали и, казалось, сами несли его вперед. Надо было, можно сказать, на ходу выработать точный план действий, раздобыть взрывчатку, бикфордов шнур и электрические фонарики. Значит, около двадцати километров. Далековато. Это же без малого вся протяженность Высоких Татр. Сумеем ли справиться одни? Надо будет прихватить Куси. Мартин лихорадочно соображал и яростно скреб заросший жесткими волосами подбородок.

4

До фашистской оккупации Доминик Куси работал в шахте взрывником. Твердость характера как-то на свой лад уживалась в нем с несокрушимым природным добродушием. Всем, что знал и умел, он старался быть полезным делу национального возрождения и уже успел нанести существенный урон силам захватчиков. Когда командир изложил ему идею дерзкой и весьма рискованной операции, он немедленно дал согласие участвовать в ней.

— Зачем столько взрывчатки? Так можно перестараться, товарищи. Авиационный бензин, если кто знает, рванет так, что дай нам бог самим-то уцелеть...

Он провел ладонью по колючей щетке волос на большой шишковатой голове и принялся что-то подсчитывать, потом сунул командиру какую-то записку. В ней была представлена нужная ему цифра с двадцатипроцентным запасом, как говорится, на всякий пожарный.

25 октября они отправились в путь. Еще продолжала сопротивление Банска-Бистрица. С аэродрома беспрерывно стартовали «мессершмитты» и «фокке-вульф»...

Никто из членов крохотного отряда не имел представления о том, втором входе. Никто из пяти партизан не предполагал, что значит девятнадцать километров пещерного перехода. Никто из них не мог с уверенностью сказать, сумеют ли они пройти сквозь эту бесконечную темноту, по ледовым ухабам, через каменные завалы и бешеные потоки. Им было над чем поломать головы: девятнадцать километров обычной дороги — это четыре часа ходьбы для тренированного человека. А чего стоит километр углубления в пещеру? Сколько времени это займет? Час? Пять? Надолго ли хватит батареек в их фонариках? Охраняют ли немцы бочки? Можно ли к ним приблизиться, если все вокруг освещено? Куда ударит взрывная волна? Что станет с воздухом? Не вытеснит ли его удушливый газ? Кроме того, там наверняка найдется чему гореть, не исключена возможность медленного, ползущего пожара. И конечно, не мудрено погибнуть от удушья. Удастся ли выполнить боевую задачу и во второй раз одолеть неимоверно тяжелый подземный путь при вероятном преследовании со стороны противника? А что, если фашисты знают о выходе? И в любом случае держат его под прицелом?

Так или иначе, прежде всего надо было найти это место и спуститься в пещеру под покровом ночи. Почему-то именно начальный момент операции больше всего пугал учителя богословия Франтишека Прохаску. Он уже не мог справиться со своим страхом, когда до его сознания дошел тот непреложный факт, что им предстоит совершить акт насилия. Постепенно он впадал в какую-то мрачную уверенность, что задуманную операцию ему не пережить. Он таил свои чувства от товарищей и в одиночку боролся со страхом.

«Ты интеллигент, ты не имеешь права позориться перед простыми людьми», — говорил он себе, украдкой ощупывая свои тощие бицепсы.

«Ты не смеешь быть последним, хотя меньше других подготовлен к физическим испытаниям. Ты должен преодолеть себя», — шептал Прохаска.

«Никак я не думал, что увижу в пещере такую красоту,— вспоминал Мартин Карваш,— уж я-то побродил с коптящим факелом по темным каменным залам. Людям казенного Яношика было небось потруднее. Они и дорожку не могли найти. У нас и фонарики, и оружие, и взрывчатка, и сало. А надо будет покемарить — на этот случай теплые овчины имеются».

Янко Михник и Доминик Куси шли впереди. В который раз обговаривали они все детали предстоящей операции, выбирали наиболее надежные пути к цели. Группу замыкал Леонид Семенов. Никогда в жизни не доводилось ему заглядывать в этот фантастический мир горных пещер. Он размышлял о могучей статике природы, дивился тому, как своды подземного коридора могут держать на себе грандиозную тяжесть гор.

Ландшафт несколько изменился, сгладился. Началась область холмистого плоскогорья. Где-то в этих местах и надо было искать второй вход в пещеру.

Янко дал сигнал. Группа остановилась. Мартин Карваш сложил на землю всю свою поклажу вместе со снаряжением. Оставив при себе только топор, он исчез в темноте. В том случае, если нарвется на фашистов, он должен действовать совершенно бесшумно. Хоть бы луна светила чуть поярче. А вдруг старик что-то напутал, смешал явь с легендой? Но вскоре Карваш разглядел густые заросли ежевичника — об этом месте и говорил ему крестьянин. Теперь надо было двигаться с предельной осторожностью: тут можно угодить в расселину, затушеванную пыльным растительным покровом. Карваш цеплялся за колючий кустарник, огрубевшие ладони переносили это легко, а вот лицо покрывалось кровоточащими ссадинами. Мартин двигался к едва заметному углублению, издали напоминавшему старую зарубку на огромном стволе. Густые заросли кустарника поползли куда-то вниз и стали похожи на бороду сказочного существа. Мартин начал медленно скользить по каменному желобу, перехватывая руками крепкие пучки стеблей и корневищ. Потом стал обшаривать каждый выступ, каждую впадину. Он вновь вернулся на то место, которое довольно путано описывал ему старик. И опять неудача. Мартин начал искать уже почти наобум, произвольно меняя направление. В какой-то момент из-за пояса выскользнул топор и бесшумно исчез, точно сквозь землю провалился. Карваш почувствовал, что стоит на краю обрыва. Луч фонаря осветил кусок серо-бурой скалы, глубже он пробиться не мог: там начиналась вечная тьма. Мартин нашел вход в пещеру. Он долго не мог отдышаться.

ся — не столько от усталости, сколько от волнения. Грудь ходила ходуном, по всему телу бежали струйки пота...

Леонид Семенов вызвался спускаться первым. Он больше других был знаком с альпинизмом. Ему доводилось лазать по горам Кавказа. Но, конечно, при великолепном свете южного солнца, усиленного вечной белизной вершин. Здесь же, пользуясь крохотной светящейся точкой, можно было рассчитывать только на то, чтобы отыскать ближайший выступ — поставить ногу — да вовремя разглядеть сумасшедшие глаза ночной птицы, не подозревая, в какие глубины ведет тебя стиснутый в руках канат.

Янко Михник, Доминик Куси, Мартин Карваш и Франтишек Прохаска впились глазами в слабую точку света, которая становилась все более призрачной и наконец пропала вовсе. Потом натяжение каната ослабло. Голос Леонида едва пробился наверх, он звучал так глухо, как будто шел из засыпанной могилы. Леонид достиг порога пещеры.

Следующим начал спускаться Франтишек. Его смертельно бледное, покрытое испариной лицо медленно таяло в темноте. За ним последовал Карваш.

Доминик, который всю жизнь в силу профессии работал под землей, горел любопытством увидеть шахту, сотворенную самой стихией.

Янко еще раз тщательно закрепил канат — от его надежности во многом зависело их благополучное возвращение, — попытался, насколько было возможно, прикрыть лаз ежевичником так, чтобы путь в пещеру оставался незаметным даже при дневном свете. Он явственно услышал шум авиационных двигателей, доносящийся с аэродрома — до него было двадцать километров, — и тоже погрузился в кромешную темноту, таящую столько загадок и неожиданностей.

5

Сколько раз унтер-фельдфебель Шлезингер порывался покинуть свою «керосиновую лавку» и переквалифицироваться в парашютисты-десантники. Но недавно один из раненых, отправляемых в Братиславу, порассказал ему про гнев и ярость, до которых довели местное население бесчисленные акции эсэсовцев. Шлезингер понял, как неуютно ходить в шкуре смертного врага целого народа, и больше не заводил уже речи о своем перемещении. Напротив, был рад-радешенек, что имеет возможность отсидеться в подземной крепости.

В ближайший четверг, 28 октября, предстояло нечто

244 особенное: посетить пещеру изъявил желание сам командир эскадры, заинтригованный рассказами о ее красотах.

— Господа желают совершить экскурсию,— сладким, вкрадчивым голосом начал свое наставление Шпис.— Понравится им эта пещера или нет — меня мало волнует. А вот если им что-то не глянется в твоём хозяйстве, мне придется поволноваться за тебя, Шлезингер. Надеюсь, мы хорошо поняли друг друга?

— Так точно,— хрипло выдавил унтер-фельдфебель.

Он бросился пересчитывать все единицы хранения, сверял их с записями в своей книге, а заодно и просмотрел блокнот штабс-ефрейтора Кнорра. Все было в порядке. Более ста тридцати тысяч литров горючего с самым высоким октановым числом. Шлезингер распорядился выстроить бочки, как солдат на параде. Он залезал в каждый угол, требовал, чтобы каждая ветошка лежала на отведенной ей полке. Очень уж не хотелось попасть впросак и лишиться теплого местечка.

И вот высокие гости прибыли. Взор его прямо-таки заморожен знаками недостижимой доблести. Драгоценным металлом сверкают ордена, пожалованные за точное поражение всевозможных наземных целей на участке от Зволена до Тельгарта, на магистрали, ведущей от Банска-Бистрицы на восток. Голубые фуражки небрежно сдвинуты набекрень, из-под них выбиваются лихие чубы — обычным армейским офицерам такое не дозволяется. Имперский орел выглядит скорее агрессивно, чем монументально. Шелковый галстук. Две дубовые ветки золотыми змейками сверкают на петлицах. Это подполковник. Шлезингеру впервые посчастливилось воочию увидеть командира авиаэскадры — героя, уничтожившего столько вражеских объектов. Главное, конечно, чтобы он не уничтожил его, мелкую сошку унтер-фельдфебеля Шлезингера. Позади капитана, командира эскадрильи Айзенхаммера стоял адъютант. А уж за ним — Шпис.

На сей раз на иллюминацию не скупились. Мощные прожектора указывали важным персонам путь через заградительную стену, которая замыкала собой часть пещеры, доступную для посещения туристов. Путь длиной почти в два километра! В пещере было прохладно и даже почему-то сквозило. Сверху, из темноты, в издевательском ритме летели капли, оставляя черные пятна на добротных гарусных блузах. Настроение гостей было испорчено. Эти мелкие неприятности смазали впечатление сказочной красоты открывшего свои тайны царства минералов. Офицеры в нерешительности остановились.

— Да... Если бы это находилось в великой Германии, то, пожалуй, имело бы смысл... и смотрелось бы иначе. А к чему это здесь? Допустим, пещера Германа в Гарце или грот Фен в Заальфельде не более чем миниатюрные копии этой необузданной игры природы. Ну и что с того? Не пора ли нам вернуться к своему обычному дневному ремеслу? — Так командир эскадры поставил точку.

Обычное дневное ремесло означало: поливать огнем землю с воздуха. И чем ближе к земле, тем больше смертельный укус. Разница между тем, что приказано уничтожить, и тем, что случайно попадало в оптический прицел, все сильнее стиралась.

— И далеко она тянется?

Неопределенное движение рукой.

— Метров через двести конец. Проход завален, — соврал Шлезингер. Он-то знал, что еще никто не продвигался дальше этой черты, сейчас тоже, как он надеялся, охотников идти дальше не будет.

— Значит, с этой стороны вас врасплох не застанут?

— Не застанут, господин подполковник. Кроме того, у заградительной стены имеется круглосуточный пост.

Когда они вновь оказались по сю сторону бетонной стены, командир эскадры хотел спросить, от кого, собственно, должна защищать эта стена, но, очевидно, забыл о своем вопросе. После подавления восстания крестьяне остерегаются якшаться с партизанами, и коммуникации немецких войск, по существу, вне опасности. Сто тридцать тысяч литров бензина для одной только эскадрильи Айзенхаммера — это же просто прекрасно, давненько не знали они такого достатка. И он решил отметить образцовый порядок хранения:

— Пусть другие берут пример.

Адъютант щелкнул каблуками и сделал запись в своем блокноте.

Гауптфельдфебеля распирало от счастья. Услышав похвалу командира, он почувствовал себя выше ростом. «Только бы не слишком заносился этот Шлезингер», — подумал Шпис.

Снова тускло блеснули ордена в лучах слабого октябрьского солнца. «Мессершмитты» и «фокке-вульфы» продолжали свои налеты на Банска-Бистрицу, все еще не взятую врагом.

На душе у Шлезингера было довольно мутно. Что, если этому взбалмошному и честолюбивому Айзенхаммеру взбредет в голову сунуться в пещеру с ревизией и пройти чуть дальше, чем во время сегодняшней «экскурсии»? Тог-

246 да уж ему, Шлезингеру, несдобровать. Наверняка придется расстаться с «керосиновой лавкой». Ведь он не имел понятия, куда ведут все эти залы, коридоры, гроты, водопады, и тем самым отнюдь не способствовал безопасности хранилища. Преднамеренная дезинформация командира эскадры в период боевых действий — это грозит по меньшей мере двумя годами строительных работ или того хуже. Шлезингера просто трясло.

В самом деле, могут ли их застать врасплох с той стороны? Эти слова жгли и угнетали. А что, если оттуда действительно можно ждать нападения?

Но все-таки похвала высокого начальства давала Шлезингеру повод и воспрянуть духом, хотя бы с помощью двойного нордхойзера¹. Нельзя сказать, что это придало ему оптимизма, но маленькое возлияние навело на кое-какие полезные мысли: выставить двойные посты у входа и бетонной стены. Это, пожалуй, единственно верное решение. Тогда ему могут и... И он выпил еще рюмку двойного.

6

После нескольких изнурительных часов перехода все чудеса подземного мира стали казаться чем-то само собой разумеющимся. Невероятная усталость притупляла восприятие даже самых необыкновенных исполинских явлений, открывавшихся в свете скрещенных лучей пяти карманных фонариков и вновь исчезающих в непроглядной темноте. Мысли о том, как непрост дальнейший путь к цели, тоже не прибавляли сил.

С большим трудом они протиснулись в некое подобие каменного котла. Здесь Янко решил сделать привал: людям надо поспать. Этот котел вызывал представление о первобытном великане, который яростными ударами кулака вынужден был отвоевывать себе пространство. Крепкие, точно деревянные, сталактиты связками копий угрожающе нависли над головами. Почва казалась изборозженной великаньим плугом. Повсюду виднелись щели, глубину которых нельзя было предсказать. Мнилось, что в них затаились допотопные ящеры. Кругом, подобно алтарным свечам, торчали сталагмиты. Местами они являли собой бесчисленные обломки, как будто здесь кто-то поработал мечом. Местами напоминали частый штакетник. Тут они слепили своей белизной, там — поражали невероятно густым красным цветом. В их окружении могло почудиться все что

¹ Сорт водки.

угодно: кошки, изготовившиеся к прыжку, дьявольские ухмылки, гномы, ведьмы, мадонны. Но люди уже не обращали на них внимания. На восторги и страхи не оставалось сил. Надо выполнять задание. Это главное.

Янко посветил на циферблат. Прошло четыре часа. Особого облегчения отдых не принес. Тыльной стороной ладони Янко прикрывал раздраемый зевотой рот, усилием воли пытался стряхнуть сковавшую тело усталость. Луч фонаря скользнул по причудливым окаменелостям, потом осветил лица товарищей. Они блестели бисеринками пота, такой пот выступает при упадке сил.

— Теперь придется обходиться одним фонарем. Он будет у ведущего.— Янко прислушался к собственному голосу, измененному необычной акустикой. Его звучание напоминало скорбный напев священника, идущего за катафалком.— У нас всего четыре фонаря и две запасные батарейки. Мало. Но что поделаешь? Если они еще свежее, должно хватить на двадцать четыре часа. Если нет — все зависит от быстроты нашего хода. Мартин, ты уже бывал в пещере. Ступай вперед.

Перед ними было три подземных коридора. По какому из них идти? Карваш перекинул топор через левое плечо — так он меньше всего сковывал движения. Автомат и маломощный фонарик — в правой руке.

Но начать путь оказалось не так просто. Его преграждала воронка, выдолбленная в камне чудовищной силой воды. Работа тысячелетий. Второй проход упирался в замысловатое нагромождение скальных глыб. Потратив на поиски не один час, лесоруб нашел-таки тропинку, ведущую по обрывистым уступам. Ему казалось, что за время этого подземного путешествия вся его жизнь как-то уплотнилась, стала такой недолгой и обозримой. Годы, проведенные в горах,— все, что было за плечами, почти утратило протяженность, уподобилось сжатой пружине. В прошлом не виделось никаких проблем, никаких загадок. Прожитая жизнь имела смысл только как исходный рубеж данного момента, когда от загадок проходу нет. И его ждали, может быть, самые важные в жизни часы, ради которых он жил до сих пор.

Сейчас, как никогда, он чувствовал свою спину. Он знал, что за ним следуют четверо товарищей, что именно на него сейчас возложена основная тяжесть. Конечно, все они движимы единой волей, как высокопарно выражался маленький Прохаска, хотя в гулкой тишине пещеры было слышно, как у каждого зубы стучат. Мартин Карваш выполнял приказ своего партизанского командира Янко Мих-

248 ника и готов был выложиться до конца. Он видел, как беспомощно мечется магнитная стрелка, и терпеливо, метр за метром, на ощупь двигался вперед. Приходилось раздвигать камни весом в центнер и больше. Он прокладывал путь, целиком полагаясь на инстинкт, вел жестокую борьбу с горой, которая мощно сопротивлялась всякому вторжению в свои недра и словно придумывала все новые преграды.

Сколько раз они падали, разбивая колени, вставали, натыкались на препятствия, оступались и все-таки двигались вперед. Только вперед...

Были моменты, когда перед глазами вспыхивал, искрился какой-то морок. Но Мартин лишь сильнее стискивал зубы и, совершая мучительное усилие, делал еще шаг.

За спиной послышался стон и дробный грохот камней. Когда Мартин обернулся, свет фонариков выхватил из темноты лицо Прохаски. Тот лежал без движения, почти заваленный грудой камней. Рот широко раскрыт. По всей видимости, глубокий обморок.

— Упорства ему не занимать,— сказал Янко Михник.— Но сил у него не хватит. Он свяжет нас.

— Если хотите знать мое мнение...— Доминик провел рукой по своим жестким волосам.— Его надо как-то устроить здесь, а на обратном пути мы его захватим.

— Только не здесь,— умоляюще прошептал Прохаска, сверкнув белками глаз.— Я выдержу. Можете не сомневаться. Клянусь вам.

Он кое-как поднялся и, сильно клонясь вперед, сделал шаг, второй...

— Ну чего вы еще ждете?

Остальные молчали, вопросительно переглядывались. Леонид Семенов взял фонарь. Он знал не только Кавказ, но бывал и на Урале. Работал там по комсомольской путевке и успел порядочно полазить по горам. Случалось ему ходить и ночными тропами, когда предметы теряют реальные очертания и нужна нечеловеческая осторожность, чтобы продолжать путь. И все-таки это не шло ни в какое сравнение с тем, что выпало им проделать сейчас в чудовищных каменных жерновах. Ему стало страшно, он гнал от себя страх, казавшийся порой таким неодолимым и неотвязным. Но у них была цель, был конечный смысл, и перед этим отступало все. Леонид прилетел сюда, чтобы участвовать в партизанском движении. Ему не терпелось испытать себя. Операция «Пещера»— как раз то, что нужно. Карваш, например, вообще не знает страха! Про таких, как он, говорят: беспартийный большевик. Янко тоже бо-

рец по призванию и надежный товарищ. Комок энергии. Стальная пружина. Если задето чувство справедливости, он будет биться до конца. Пещера поглотила их лица. Остались невидимые волевые токи. Лицо Франтишека, узкое и бледное, как плесенью, подернуто страхом. Сейчас он идет предпоследним. Слышно, как принаравливается к шагу Янко и Мартина. Тон задают они. За спиной — дыхание Доминика. Взрывник невозмутимо тащит на горбу свои термитные бомбы. Наверняка перебирает в уме все мыслимые варианты операции, раскладывает все по полочкам.

«А что, если мы заплутаем? И не найдем бензохранилища?»

Чем сильнее давали себя знать усталость и напряжение, тем слабее становилась путеводная мысль, обескровленная судорожной работой мускулов.

Через восемь часов Янко дал команду сделать еще один привал.

— На отдых — всего два часа. Все лишнее оставляем здесь. Выступаем в двадцать один ноль-ноль. Считаю, что с первой половиной справились неплохо...

7

Пожелав капитану боевых успехов, командир эскадры вскинул руку, как того требовало ритуальное «немецкое приветствие».

— На вашем месте, Айзенхаммер, я бы лучше общался эту самую пещеру, — бросил он напоследок и укатил с аэродрома на своем вездеходе.

Гауптфельдфебель неслышно подошел к часовым, охраняющим вход, и что-то недовольно буркнул, заставив их испуганно отшатнуться. Шлезингеру пришлось прервать возлияние, оставалась добрая половина настоящей на траве водки.

Унтер-фельдфебель боязливо уставился на Шписа. «Из-за тебя, собака, у меня дважды срывалось повышение», — думал он, вновь ощущая прилив лютой ненависти. Хватит церемоний... Небрежно развалясь на стуле, Шлезингер всем своим видом демонстрировал нежелание отдавать рапорт. Шпис отметил про себя эту неожиданную вольность и покосился на бутылку: должен же его подчиненный сделать жест примирения. Шлезингер решил не упорствовать — наполнил еще одну рюмку.

— Итак, ты сказал командиру, что пещера ведет в тупик: завал, затор и так далее. — Шпис не скрывал ехидства.

Унтер-фельдфебель не торопясь допил свою долю.

— Это я слышал от здешних крестьян. Кроме того...

— Что — кроме того?

— Кроме того, я и сам был в том месте...

Шлезингер холодно посмотрел в глаза своему недоброжелателю:

— Сам был в том месте... А знаешь ли ты, что кое-кому это может показаться недостаточным.

Шпис осушил свою рюмку.

Унтер-фельдфебель мгновенно насторожился:

— Кому же, интересно знать?

— Я вот краем уха слышал, как старик посоветовал капитану лучше обшарить пещеру.

«Сейчас он, как сопляк, замазает штаны», — злорадно подумал Шпис, с интересом поглядывая на подчиненного.

— Он, значит, так сказал... в таком духе... Ну и что с того?

— Ты же знаешь нашего шефа. Уж если он взял что на заметку, не отступится, пока не...

Унтер-фельдфебель начал потеть. Он задыхался от жары при восьми градусах тепла — такая температура обычно держалась в пещере.

— Я могу, конечно, еще раз поглядеть.

Шпис сбросил маску:

— Еще раз поглядеть? Командира вздумал дурачить, прохвост. Это тебе даром не пройдет. Прежде чем Айзенхаммер ступит туда, ты там сам все на карачках облазишь! Даю один день сроку. Выкручивайся как знаешь. Успеешь или нет — мне наплевать!

— Так точно, гауптфельдфебель.

Это была безоговорочная капитуляция. Шпис ослабил-ся и пошел прочь. Он имел основание отметить свою победу бутылкой маркитантской водки.

Свои руководящие функции Шлезингер передал штабс-ефрейтору Кнорру. Тот сидел в деревянном балагане в виде миниатюрного барака. На двери красовалась подобранная где-то табличка с надписью: «Учетчик». Кнорр вполне был готов принять на себя бремя власти.

«Раз начальство заставляет лезть в этот чертов лабиринт, я буду первым и единственным, кто внесет в это дело ясность», — взбадривал себя унтер-фельдфебель на первом километре пути. Потом его стали одолевать тревожные мысли о многотонных глыбах, готовых вот-вот сорваться ему на голову, о скользких саламандрах, о скрытых тьмой бездонных ущельях. В какие-то мгновения его не на шутку начинала пугать возможность встречи с неизвестными на-

уже звероящерами и прочими монстрами, жаждущими добычи. Так он дошел до места, где недавно заверял командира эскадры, что дальше пути нет, тропа завалена. Зажав в зубах фонарь, Шлезингер начал работать руками. Он чувствовал боль исцарапанных пальцев, чувствовал, как кровоточат колени и липкое тепло медленно расползается по сукну штанин. Струйки пота стекали за колючий воротник. Страх грозил с обеих сторон — где-то позади в темноте маячили призраки Шписа и капитана Айзенхаммера.

Сталагмиты образовывали сплошные заслоны, подобные коралловым рифам. Но внезапно перед ним открылся каменный зал с высоким сводчатым потолком. Известковый пол был изрезан руслом подземного потока. Отвесная гранитная стена указывала один-единственный путь. Бешеный поток каскадами бугрился на крутых порогах, его открытый участок составлял более тридцати метров, а дальше, образуя kloчущую воронку, он снова исчезал в каменной толще. Ползая среди груды камней, ощупывая каждое углубление, Шлезингер упорно искал лаз. Луч его фонаря загнанно метался в тесном пространстве. Все было тщетно. Пришлось начинать сызнова. Нервное возбуждение заставило его еще раз перескочить через узкую щель, оставшуюся позади. Она-то, как показалось Шлезингеру, и таила в себе разгадку. Неужели он близок к истине? Грудь распирало от радости. Он стал покорителем пещеры! Теперь с точностью до метра сможет он описать эту слепую кишку. И грубыми поспешными штрихами Шлезингер сделал карандашный набросок, обозначил протяженность последнего участка пути. Он снова заглянул в щель и сунул листок в планшетку. Колени подгибались — и от слабости, и от пережитого волнения. А стоило пройти двести шагов в обратном направлении, как он окончательно обессилел. Неодолимо тянуло отдохнуть, хотя бы несколько минут. Шлезингер присел на гладкий валун, ощутив спиной похолодевшую от соприкосновения с гранитной стеной одежду. Веки отяжелели, пришлось закрыть глаза... Он с удовольствием сводил бы в этот зал капитана Айзенхаммера, показал бы ему всю его затейливую красоту...

Когда Шлезингер был еще школьником, ему привелось побывать на шахте в Цвикау. И больше всего тогда запомнился запах — запах безмолвных камней, царивший в мертвых штольнях. Сейчас он вдруг снова его почувствовал — этот запах. Черт знает, откуда он взялся. И тут же многое, очень многое ожило в памяти. Во всех подробностях вспомнился тот день, когда он подписал контракт, на двенадцать лет связавший его с армией. Увидел он и Лило,

252 свою жену, и крыши Парижа... Пещера все не кончалась... А он явственно видел, как на далекой родине, танцуя в воздухе, опадают листья лип и каштанов, желтые и красноватые...

8

Свет погас совсем. Уже во второй раз пришлось испытать это жутковатое ощущение — очутиться в свинцовой, непробиваемой тьме. С Домиником такое уже случалось когда-то в шахте: были технические неполадки. Он не разбирался в электротехнике, не понимал самой природы электричества. В начальной школе этому не учили. А потом было не до учебы. Отец погиб в третьем сражении на реке Изонцо. Мать была прикована к постели. Четырнадцать лет пошел на заработки, его взяли в шахту. Он толкал вагонетки, доверху груженные рудой, и лишь чудом не надорвался, работая по двенадцать часов в сутки. Весь свой жалкий заработок до последней кроны приносил домой. И гордился этим. Однажды произошел несчастный случай — во время небольшого обвала ему придавило ногу. Старый взрывник Пешек забрал его в свою каморку. Мало-помалу обучил ремеслу, не переставая удивляться ловкости и сообразительности пытливого подростка. Пешек взялся всячески покровительствовать ему. А как же училище? «Ах, Доминик, мы ведь рабочие люди. Нам положено знать ровно столько, сколько нужно хозяевам, чтобы наживаться на нашей костоломной работе. А ты и так знаешь больше, чем им требуется».

Во время одной из аварий Пешек подорвался — взлетел на воздух вместе со всем запасом взрывчатки. Вскоре после этого предприниматель вызвал к себе двадцатидвухлетнего парня и спросил: «Сумеешь заменить Пешека?» Доминик без колебаний принял предложение. К его дневному заработку прибавилась одна крона. Столько он и получал до последних дней работы.

Но мечта по-прежнему жила. Он хотел стать специалистом! Не только знать профессиональные приемы, но и понимать суть физических процессов. И решение, принятое им на днях, — взорвать авиабензин термитной бомбой с высокими детонационными свойствами — мыслилось началом овладения серьезным делом. Победа над фашистскими захватчиками и эксплуататорами наверняка в корне изменит жизнь, и тогда он получит возможность продолжить учебу. Его знания пошли бы на пользу и лесорубам, и грузчикам, помогли бы облегчить тяжелый физический

труд. И мать по-человечески прожила бы остаток жизни. Он бы добился для нее санаторного лечения в Песчаны...

Доминик с головой укрылся овчиной и уснул со счастливой улыбкой на лице.

Франтишек Прохаска пытался вчувствоваться в смысл и образ света. Он силился вернуть видимый мир, еще раз зримо представить себе окружающее. С полной ясностью. Только так. Сейчас непременно должен быть свет... вот-вот появится крошечный огонек, отбрасывающий волшебный круг, в котором нет места страху.

«Через десять секунд я открою глаза. Или нет. Лучше — через шестнадцать. Ведь шестнадцатого — мой день рождения, это самый счастливый день. И тогда прольется теплый свет. Ведь все, что здесь происходит, не более чем захватывающая экскурсия. Я буду потом рассказывать о ней ученикам, в классе. Потом. Когда все будет позади. Все пережитое здесь они прочитают по моему лицу. Надо мной пятисотметровая скальная толща. Вы можете это себе представить? Вы только подумайте: река, по ней скользят лодки, на берегу играют дети — это же целый пейзаж — и вдруг она уходит в неведомые недра. Она хочет скрыться от глаз, с дикой яростью вгрызается в горы, пробивает себе путь в гранитной массе. Она проделывает проход, который и становится этой пещерой, в камнях выдалбливает себе ложе, неустанно расширяет его. Эта река не для рыб. В ее водах движутся одни только камни, она катит их по дну, играет ими, как смерть, выбирающая себе жертву. Там обитают безглазые личинки, моллюскообразные отвратительные черви не больше пяди длиной. Вот и все. Не это ли известный нам по мифологии Стикс, который отделяет все дышащие существа от вечности?

В такой пещере, дети мои, бог ближе к вам, чем где-либо... Тут ему не нужны посредники, он сам льет свет и высылает страх, от которого вы не спасетесь, даже укрывшись овечьей шкурой. Весь мир сведен к черному пространству вокруг вас. Зададимся вопросом: не так ли выглядит тот порог, который тшились возвести миллиарды живущих до нас людей? Порог между сей жестокой жизнью и обетованным бытием. Наша жизнь бесконечно немилосердна. Она таит множество шипов и терний, она ранит нам руки и души».

Да, такой речью он напутствовал бы мальчиков и девочек:

«Мы должны идти к истинной простоте, сдерживать желания и страсти, не соблазняться мишурным блеском и благами земными. Это подземное затворничество невообра-

254 зимо прекрасно. Здесь не слышно войны, не видно ее страшного лика. Никто в тебя не стреляет, никто не преследует. Кажется, что ее и вовсе нет — войны под знаком свастики, войны, благословленной рукой фашиста Тисо, проклятого отщепенца, преступника, прикрывающегося учением христовым.

Ты — учитель богословия, Франтишек Прохаска, а следовательно, не силен в политике. А это, дети мои, учение об истребительном огне. «Уже небытие» и «еще небытие» схватились друг с другом. Даже простительные грехи должны быть искуплены болью. Среди разгула истребительного огня бог прячет свой лик. Для погрязшего в грехах миг просветления и свершения лучших упований отодвигается на какое-то время. Но зато потом он услышит от бога: «Смотри же, беру тебя в царствие мое. Ты уже тень, как мириады теней до тебя. Забудь свою жизнь и все, что принадлежит ей. Забудь людей...»

Забыть людей? Но ведь рядом со мной четверо бедных грешников. Они измотаны схваткой с истребительным огнем. Измучены борьбой за свободу, сопротивлением превосходящему врагу. Они обессилены тьмой, ведь никакого света... Немец Фридрих Шиллер говорил о богах, которых тщетно искать внизу, в царстве страха и мрака. Наши боги — это ложные боги, они беспощадны к рабочим и крестьянам, так же как к христианам и марксистам».

И учитель богословия из Остравы, изболевшийся душой за судьбу порученных ему детей, молча плакал. Он осязал каждую теплую слезу, медленно скользящую по впалой щеке, безжалостно отмеряющую те недолгие минуты, которые остались для отдыха.

«Янко говорил бы своим ученикам что-нибудь другое, — думал он. — До чего же неповторимо это царство минералов, что за прихотливая игра породила его! Этот призыв продиктован необходимостью восстановить телесные и духовные силы. Да, Янко, металлург из...»

Остроугольные камни больно врезались в поясницу. Франтишек слышал мерное дыхание товарищей. Он не желал отступать перед тяготами похода. И понимал, что сумбурная мистика его религии бессильна смягчить испытания, уготованные пещерой.

Раздавались тупые звуки падающих капель... роняли влагу тысячи камней... Эта жуткая барабанная дробь длится уже миллионы лет. Прохаска вдруг вспомнил, что существует детальный план операции, но так не хотелось думать о возможном исходе. В этой ситуации он чувствовал себя жертвой обстоятельств, принужденной принять новые

правила жизни, чтобы, дай бог, вынести и одолеть натиск всех ее жестокостей.

Леонид Семенов не смог по-настоящему уснуть. В полусне виделась ему длинная прямая дорога. От Житомира она сворачивала к северу и вела через пшеничные поля, по глубоким, пшеничного цвета пескам. Хорошо еще, что смог запрячь тройку крепких лошадей. Да и они чуть не храпят от натуги,— лето на редкость жаркое, земля раскалена, иглы небольших сосенок побурели от зноя. И только берегам, кажется, не страшна стальная голубизна лишенного влаги неба. Но вот почва размякла, появились болотца, заросшие густой осокой, двигаться стало опасно. Показалась дамба. Дорога перешла в гати, которые вели к быстрой и юркой Ирше. А там, за мостом и переправой, городок Малин. Между мостом и предместьем — толстобокая водокачка. На площади — памятник Ленину. До вокзала идти через сады и хмельники. А вот как раз и поезд. Он еще не ушел. Экспресс «Минск — Киев». Самая счастливая пора. «Все началось, когда я встретил Надюшу. Я никогда не видел таких красивых глаз, и эти пышные светлые косы... Готов был ходить за ней по пятам. Не было минуты, чтоб не думал о ней. А как она танцевала! И как лучились ее глаза. Так она смотрела, когда решили пожениться. Когда родился Вася, у нее тоже были такие глаза. Лето тридцать девятого... И вечерами, когда я гасил свечу... Нет, не могли они погибнуть. Я чувствую, каждой кровинкой чувствую, что они живы...»

Потом грянула страшная весть. Мобилизационный пункт. Леонид оказался на западной границе. Фашисты топтали мирную землю. Первые горькие потери. Бои за Минск... Оставшиеся в живых получили приказ влиться в состав отходящих частей... Эшелон двигался на Киев. Как раз перед Малином — повреждение железнодорожных путей. Вермахт зацепился за берег Ирши, готовил плацдарм в районе моста. Леонид начал войну прямо в центре своего родного городка, в который уже врывались авангардные части 8-й армии гитлеровцев. Немногочисленные подразделения стрелков-гвардейцев вступили в схватку с отборными частями вермахта. Огонь вели из буйно разросшихся хмельников, били по берегу Ирши. Несли тяжелые потери. Леонида неотступно преследовал вопрос: здесь ли Надежда и Василь, минует ли их наш огонь? Артиллерия держала берег под непрерывным обстрелом. И так десять дней.

Вдруг пришел приказ: «Отойти к Киеву!» У Леонида сжалось сердце. «Отойти к Брянску!», «Отступить к Орлу!...» И еще двести километров отступления... Но Красная

256 Армия устояла. Начинался откат немцев в западном направлении. Фашистские орды двинулись вспять, и путь их изгнания занял больше двух тысяч километров. И тремя годами позже Леонид вновь ощутил нестерпимую боль, проезжая мимо родных мест на запад. Он добрался до Вислы, где ему было дано задание вступить в ряды словацких партизан...

В последние два месяца Леониду пришлось испытать такое, что было вполне сравнимо с черными днями сорок первого года. А теперь вот — операция «Пещера»... Цель ясна! Но разве это под силу горстке мужчин?

В руке Янко вспыхнул фонарь. Он осветил узкую щель. Через нее надо было как-то перескочить, чтобы попасть в некое подобие просторного зала. Истекала последняя минута отдыха.

Это место не спутаешь ни с каким другим. Подземная река тысячелетиями размывала здесь мягкую породу и бешеным потоком устремлялась в разрыв скалы. В сводчатом зале грохотал мощный водоворот. С плоской ложбины прямо в пенящийся водоворот свешивался огромный язык — это вода намыла груды галечника. На другой стороне темнела отвесная гранитная стена. Громоподобный шум гулко отдавался в сводах, говорить было невозможно. А метров через тридцать вода исчезала, уходя в узкую, метровую щель, сверкающую черными ребрами. Гора, захлебываясь, поглощала поток.

Шкуры и одеяла были увязаны. Теперь возглавлять группу поручили Мартину Карвашу. Луч фонарика уперся в гребень одного из бесчисленных водопадов. В нем билась ветвь, коричневато-зеленые листья омывались прозрачным потоком.

— Черт возьми! — воскликнул Янко. — Скоро мы будем у входа. Раньше, чем думали. Может, даже этой ночью.

Луч оторвался от дрожащей в воде ветви и снова скользнул по многослойной поверхности скалы, по известняку и гнейсу, кварцу и руде.

Мартин взял свой топор, даже сейчас он не мог с ним расстаться. Инстинкт подсказывал, что они входят в полосу, где крутой нрав природы начинает постепенно смягчаться: все меньше жесткой каменной пыли попадалось в углублениях скального грунта. Размеренным шагом лесоруб двинулся вперед. Ему представилось, что он идет горными лугами, что сегодня ни ему, ни его пиле роздыха не будет. Договор есть договор. Фонарь с линзой в палец толщиной хорошо освещал тропу, заметную только его, привычному к

лесному сумраку глазу. Тропа вела через впадины и щели, огибала причудливые нагромождения камней, петляла между исполинскими валунами. Мартин полностью полагался на свое чутье, о чем, конечно, не догадывались неуверенно шагающие за ним люди. Ему казалось, что вспыхнувшие в свете фонаря сталактиты — это пилоны, специально поставленные в его честь. На душе становилось и радостно и грустно, как это часто бывало с ним в горах.

В известняковой пыли он вдруг увидел отпечаток сапога. Левый сапог. Проступает даже изгиб подковки, и так же четко — шестиугольные шляпки гвоздей. Этот след вел в том направлении, откуда они пришли — он и его товарищи.

Янко Михник раздвинул руки, опасаясь, что кто-нибудь по неосторожности затопчет след. Все молча смотрели на Янко.

— Когда он, по-твоему, тут был?

Мартин опустился на колени и, приставив к тропе фонарь, начал сосредоточенно изучать след. Это тянулось мучительно долго.

— Отпечаток довольно резкий. Хотя здесь, при полном безветрии, это мало о чем говорит. Но хотя бы одна капля наверняка повредила бы форму, если...

— Что — если? — готовы были закричать остальные.

— Если этот отпечаток был оставлен раньше, чем часа два назад.

Франтишек нервно постукивал пальцем по предохранителю.

Обшарили каждый камень вокруг. Это стоило немалых усилий, но иначе нельзя. И снова удивил Мартин Карваш. Между двух здоровенных камней он обнаружил след сапога с правой ноги.

— А почему непременно фашист? Может, здесь прятался кто-то из наших.

— Вернулся ли он назад? Или преспокойно бредет на наш свет?

— Не исключено, что мы его проскочили.

— Максимум осторожности. У нас всего три батарейки... Леонид, у тебя хорошие глаза...

9

«Галлюцинации... — думал унтер-фельдфебель Шлезингер, — галлюцинации. Здесь такой тяжелый воздух. Может быть, это рудничный газ?»

9

«Несвятая София»

Но танцующая точка не исчезала. На несколько секунд осветилась нижняя часть пещеры, заиграв вдруг такими красками, как будто разорвалась брызжащая разноцветными огнями новогодняя ракета. Светящаяся точка металась в темноте подобно июльскому светлячку. На глаз до нее было не больше шестидесяти шагов.

Шлезингер вполне овладел собой. Нет, ни о какой живности не может быть и речи. О новых чудесах минерального царства — тоже. Этот свет — дело рук человеческих. А вдруг там вздумал пошляться Айзенхаммер с парочкой помощников? Его они могли не заметить — камень помешал. А идут, наверно, от большого грота, где прямо в реку свисает каменный язык, где, собственно, и кончается пещера. Вот так история. Не докладывать же ему, что проспал прибытие командира эскадрильи. Тогда уж вовсе никаких милостей не дождешься. Унтер-фельдфебель! Это еще смешнее, чем штабс-ефрейтор.

У Шлезингера расходились нервы. Как ни пытался себя успокоить — все впустую. Светящаяся точка бесшумно приближалась, и зажжена она была явно людьми. Его охватил панический ужас. От ударов сердца дергалась голова. Бежать? Пуститься во всю прыть от этого пляшущего огонька? Но вокруг — черный, как деготь, мрак, нельзя шагу ступить без подсветки. И тут его осенило. «Не двигаться! Оставайся на месте! Спрячься! Дай им пройти!»

Свет приближался все быстрее, скользил по буграм и впадинам на расстоянии сорока шагов от Шлезингера, неуклонно двигался в том направлении, где находился склад горячего. Унтер-фельдфебель больше не отваживался включать фонарь. Он вдруг сообразил, что как раз напротив того места, где он расположился, круто вверх поднимается куча галечника. Вот куда надо забраться, чтобы не попасть в этот страшный луч. Осторожно, проверяя надежность каждого камня, начал взбираться. Ему удалось протиснуться в тесную нишу между каменным потолком и вершиной осыпи. Тут он прикинул, что высота ее шесть или семь метров. Теперь можно вздохнуть, теперь он в относительной безопасности. Шлезингер прижался лицом к скользкому граниту и снова затаил дыхание. Шум воды заглушал все другие звуки. В узком проходе блеснул дрожащий огонек, потом слабо осветился грот напротив того гладкого валуна, на котором он только что сидел. Все это заняло не больше одного мгновения, равного удару сердца. Вот луч скользнул дальше — именно в том направлении, куда вела тропа, в направлении склада.

Унтер-фельдфебель увидел гигантскую тень. Это она

двигалась вместе со светом, прокладывающим путь. Какой-то бородач с топором на плече. В руке — автомат. А когда луч дрогнул — там была впадина примерно двухметровой глубины, — Шлезингер разглядел фигуры еще трех вооруженных мужчин. Они помогали подняться вверх четвертому, который тащил какой-то ящик. Дрожащая точка начала удаляться. Тени исчезли. Остался только немолчный грохот воды. И страх, какого Шлезингеру еще ни разу не приходилось испытывать. Эти люди двигались вполне целенаправленно, они прошли мимо него, отрезали от места, где было его спасение. И наверняка они будут там раньше, чем он.

А вдруг они просто заблудились и бродят в поисках выхода? А что? Ведь только он установил, где кончается пещера! Там никто не бывал! Откуда же они взялись?

Шлезингеру стало совсем плохо, внезапная боль железным обручем сдавила затылок. Он начал осторожно сползать с осыпи. Тьма вокруг хоть выколи глаза. Рыскающий вдалеке огонек исчез, будто его и не было. А Шлезингер должен был его отыскать, вплотную приблизиться к нему. Только так он смог бы обойти этих людей, прорваться к стене и поднять тревогу.

Но просто ли это сделать? У него задрожала челюсть. Стоит зажечь фонарь, как он станет прекрасной мишенью. Шлезингер схватился за пистолет, но как ужаленный отдернул руку. Это было бы совсем уж глупо. Он пригнулся, уткнул фонарь в камни, включил его и на полусогнутых двинулся вперед. И вдруг снова увидел свечение. До бетонной стены оставалось самое большее тысяча шагов, даже если принять во внимание все неровности и изгибы тропы... Обойти и поднять тревогу? А что, если он сейчас вскочит, бросится вперед и заорет дурным голосом? Может, его услышат часовые и водители? Но тогда даже слабого света складских ламп будет вполне достаточно, чтобы выпустить в него несколько автоматных очередей. Тут двух мнений быть не может, эта братия способна на все, им терять нечего. Партизаны или красноармейцы — невелика разница. Унтер-фельдфебель все не мог унять дрожь. Страх парализовал не только тело, но и мозг.

10

Какая-то сила толкнула Карваша вперед: он услышал что-то похожее на отдаленный шорох. Теперь Мартин не просто шел, а, скорее, брал штурмом осыпи, завалы и теснины. Он настолько ускорил шаг, как будто к точно

260 назначенному сроку спешил увидеть рассеянный свет агрегатов. Он был у цели! Наконец-то вышли на позицию, с которой можно поднять на воздух гнездо фашистских стервятников. Первая часть задания выполнена. И за короткое время. Он подергал себя за бороду,— трудно было поверить, что все это ему не приснилось. Провел рукой по холодному металлу автомата, ощутил привычную тяжесть топора, словно приросшего к плечу. Нет, это была явь, так же как и тяжелое дыхание товарищей за спиной. Они целиком положились на него, не сомневались в правильности любого его шага.

В вечной темноте пещеры что-то забрезжило. После того как Мартин шепотом оповестил об этом товарищей, каждый отчетливо увидел мерцание. Им открылась плоскость, залитая нежным розоватым светом. Она напоминала ночное облако, тронутое первыми лучами зари. Тысячу раз Мартин видел такую картину в горах при восходе солнца. Но на сей раз она была до странности неподвижной, ее создавал какой-то постоянный источник света, не зависящий от хода светил. Чувствовалось присутствие человека. На гладко вытесанных стенах пещеры лежали блики искусственного света, открывавшего взору добротное оборудованное бензохранилище.

Взмахнув рукой, Мартин дал знак подняться и привести оружие в боевое положение. Согнувшись, он медленно, будто через силу, двинулся вперед. Надо было поближе подойти к розовой стене. Впереди явственно проступала какая-то горизонтальная линия. Ремень автомата он накинул на шею, чтобы освободить руки для работы топором. Своды пещеры становились все выше и выше, подобно нефу собора, где когда-то в детстве он побывал с отцом... а вот название города уже не вспомнить. Наконец горизонтальная преграда стала четко различимой — бетонная стена полутораметровой высоты, из-за нее и лился искусственный свет. И тут же пахло авиационным бензином, по мере приближения к стене запах становился сильнее. Стало быть, дошли.

Карваш тяжело пополз назад. Он передал командование Янко Михнику и шепотом доложил, что несколько минут назад видел какой-то свет в глубине пещеры. Он махнул рукой в том направлении, откуда они пришли.

— Может, кто нас преследует. Надо бы проверить.

Янко знал, что у Мартина отличное зрение. К тому же кто-то все равно должен обеспечивать тыл. Он молча кивнул Мартину.

Командир эскадрильи капитан Айзенхаммер дал понять своим парням, что на днях намерен лично убедиться в надежности охраны этой загадочной пещеры. Потому-то гауптфельдфебель и не мог уснуть. Незадолго до полуночи он, чертыхаясь, сбросил с себя оба одеяла, смочил холодной водой набрякшие веки, сунул в нагрудный карман записную книжку и пошел к хранилищу. Ночь выдалась спокойная. Машины с черно-белыми крестами теперь напоминали спящих рыб, зарывшихся в темный ил. Вот уже два часа не было вылетов. Все уgomонилось. Над аэродромом нависла необычная тишина. Шпис не боялся двухкилометрового пути по совершенно обезлюдевшему открытому пространству.

«За безопасность нашей люфтваффе можно не волноваться», — внушал он себе и, как всегда, чтобы подогреть свое служебное рвение, начал думать о рейхсмаршале Геринге, ради которого дал бы разорвать себя на части. А этому полуфельдфебелю он устроит хорошую взбучку, если тот не подготовил точную схему подземных помещений. Часовые у входа не дремали. Приложив к губам палец, гауптфельдфебель бесшумно скользнул внутрь. После тьмы беззвездной ночи равномерно освещенные емкости с бензином показались ему чуть ли не праздничным зрелищем. К левой стене лепилось барачного типа строение, где находились нары для отдыхающей смены и рабочий закуток Шлезингера.

Заглянув туда, гауптфельдфебель вспугнул задремавшего штабс-ефрейтора Кнорра. Тот очумело подскочил, едва не опрокинув стол, и вытянулся. Шпис спросил, какого черта он не отдыхает. И не без удовольствия услышал, что Кнорр дожидается возвращения своего начальника. Шпис решил не упускать случая провести основательную проверку.

— Сколько водителей?

— Двенадцать человек. Никаких происшествий...

— Охрана?

— Четверо у ворот. Четверо у стены. Происшествий не случилось.

— Тех — снаружи — я сам видел. А остальные?

Он открыл дверь и направился к стене.

— Господин гауптфельдфебель...

Шпис удивленно обернулся:

— Что такое?

Кнорр поправил съехавшую пилотку.

— Я подумал... раз господин унтер-фельдфебель в пещере... Я подумал, что у стены хватит пока одного часового.— Не без робости смотрел он в холодные глаза Шписа.

«Может, от этого малого и будет прок, если его использовать против зануды Шлезингера. Судя по всему, он умеет соображать»,— размышлял Шпис. Он подчеркнуто одобрительно кивнул Кнорру и пошел вдоль рядов бочек, решив пробыть здесь до тех пор, пока унтер-фельдфебель не вернется восвояси.

— А теперь, Кнорр, марш отсюда. Ночь уже на исходе.

В будке моментально погас свет.

«Если уж пришлось пожертвовать сном,— думал Шпис,— пусть и Шлезингер попытается как следует. Уж я-то сумею прибавить ему хлопот».

12

Янко Михник неслышно приближался к освещенному пространству. Он увидел усталого часового, маячившего у бетонной стены, и установил, что оба ее участка заходят друг за друга и на протяжении примерно четырех метров идут параллельно. Проход между ними так узок, что двоим в нем не разойтись. Янко внимательно следил за фигурой человека, который как заведенный ходил от ворот к стене и обратно, делая каждый раз около полусотни шагов. Кажется, у него поблескивают погоны. За спиной затаились Доминик с Леонидом, они должны были обеспечивать поддержку огнем и с нетерпением ожидали сигнала. Янко повернулся к Франтишеку.

— Не выпускай из виду этого ходока,— шепнул он.— Услышишь приказ — сразу стреляй. Выбери удобную позицию. Целься спокойно. Стрелять надо без промаха. Как только подложим бомбы — быстро назад, к месту сбора.

Молодой учитель сник, почти съезжился. Доминик напомнил, что снимать надо обоих, иначе он не сможет начать. Все четверо пригнулись: неутомимый гауптфельдфебель только что отмерил очередной круг и теперь подходил прямо к стене. Это заметно нервировало часового. Тот старался занять такое положение, чтобы не терять из виду начальство.

Янко знаком подозвал Леонида:

— Когда этот гусь отойдет к воротам, а часовой подойдет поближе к проходу, надо его бесшумно обезвредить. Тогда Доминик приладит провод.

Леонид все понял.

В это время Карваш осторожно двигался вглубь. Ему вполне хватало того слабого света, который падал со стороны хранилища. Мартин умел замечать малейшее изменение обстановки, о котором любой другой на его месте и не заподозрил бы. Не укрылась от его взгляда и мгновенная, длившаяся доли секунды вспышка в глубине темного коридора. Для него этот просверк говорил не меньше, чем комок снега, скатившийся из-под лап сурка в зимних Татрах, чем первый отблеск утра в капле тумана, окутавшего хижину. Мартином владел инстинкт охотника. Не успев отойти от товарищей на расстояние восьми — десяти шагов, он ощутил кислотоватое дыхание другого человека, еще недоступного ни зрению, ни слуху. Но он безошибочно чувствовал его присутствие и, вытянувшись на каменном ложе, ловил каждый звук, различая даже шуршание собственной бороды, коснувшейся гладкой поверхности камня. Точно так же он прислушивался к мягкому шагу медведя. Ему вспомнилось беззвучное скольжение кольчатого ужа или гадюки, совершенно безобидной твари, если ее не вынуждают защищаться. Он снова напряженно замер — послышалось усталое, прерывистое дыхание. Так дышит человек, подавленный страхом. И совсем недалеко... Карваш положил автомат к основанию громадного валуна и, взяв в руку топор, медленно, сантиметр за сантиметром, начал ползти на звук...

Дверь караульного помещения распахнулась. Из нее, посвистывая, вышел какой-то солдат. Свет карбидной лампы упал на бочки с бензином и даже достиг лица Мартина. Шлезингер судорожно выпрямился и как-то неловко вскинул руку с пистолетом.

Карваш занес топор для смертельного броска. Но пещера по-прежнему хранила безмолвие. Ни солдат, который вышел из караулки, чтобы справить малую нужду, ни Шпис, марширующий по хранилищу, ничего подозрительного не заметили.

13

Время тянулось мучительно. Картина оставалась на удивление неизменной: гауптфельдфебель, с тупым упорством вышагивающий вдоль бочек, и часовой, неподвижно торчавший у самого прохода.

А напряжение росло. Леонид, неотрывно следивший за обеими фигурами, чувствовал, как нервное напряжение поглощает все силы. Сказывались тридцать часов пути. Ча-

264 сового надо убирать аккуратно, без единого шороха, а то Доминик и не подступится к бочкам.

«На него надо смотреть просто как на помеху. Убрать с дороги, и никаких гвоздей. Таков приказ!» — говорил себе Леонид, но от этих мыслей спокойнее не стало. Через оптический прицел он видел скучающего вояку, озабоченного только тем, как бы поскорее скоротать часы карательной службы.

Леонид легко перемахнул через бетонную стену и успел лишь запомнить расширенные от ужаса глаза, прежде чем ребро ладони со страшной силой обрушилось на торчащую из шинельного ворота шею и мгновенно перекрыло сонную артерию. На долю секунды Леонид ощутил тепло кожи этого человека. Он не дал ему упасть. Хрипящий немец откинулся ему на руки. Положив его на землю и ухватившись за ноги и полы шинели, Леонид начал оттаскивать его к стене. Каска, как нарочно, постукивала по камням.

Начальник там, у ворот, уже успел развернуться и направился в его сторону, к тому самому месту, где только что стоял часовой. Леонид замер, осторожно опустив ноги солдата на землю. Снял с предохранителя автомат. Вдруг этот любитель шагистики заметит исчезновение часового и все поймет?

Но Шпис был слишком погружен в собственные мысли. Он снова сделал крутой поворот, не заметив никаких признаков угрозы вверенному его заботам объекту.

Семенов перетащил немца через проход. В тусклом красноватом отсвете ламп он увидел скользнувшую мимо него фигуру Доминика, в каждой руке — по термитной бомбе.

По давней профессиональной привычке Доминик в своем деле превыше всего ставил точность и надежность. Прежде всего он бросил цепкий взгляд на удаляющуюся к воротам фигуру гауптфельдфебеля. Тут он впервые увидел громоздкие штабеля бензиновых бочек. До него донесся голос Янко:

— Куси, ты знаешь, на что идешь. Нам нужен стопроцентный результат.

Вспомнил он и голос начальника штаба: «Товарищ Куси, операция «Пещера» — дело крайне опасное. Вы готовы к этому?»

Первую бомбу он пристроил удачно. Вывел контакты. Скоро сезам откроется. При температуре около четырех тысяч градусов по Цельсию. От этого склада останется один черный дым. А вторую? Доминик начал бесшумно тянуть провода. Задача почти математическая...

Марширующий гауптфельдфебель приближался. Снова с весьма недовольным видом подошел к стене. Взрывник затаился, протиснувшись в широкую щель между бочками. Шаги раздались совсем рядом.

«А ведь у тебя и пистолета-то нет», — сказал себе Доминик.

Но сапоги проскрипели мимо, так и не изменив ритма бравого прусского шага. Доминик быстро прикинул, сколько метров отделяют немца от стены.

«Возвращается, черт бы его побрал!»

Дверь караулки опять распахнулась. Оттуда кто-то подал голос. Эх, ребята, не хватало еще, чтобы вы затеяли смену часовых. Снова кованые сапоги процокали мимо, в сторону ворот... Видать, этот вояка так и не заметил пропажи часового...

Доминик проворно, точно ласка, выпрыгнул из своего укрытия и с проводом в руке сделал большой бросок вперед. Здесь он пристроит вторую, уложит, как любимое дитя. Это решает все. Он работал с лихорадочной быстротой. Потом снова оказался за стеной. Теперь надо быть дьявольски внимательным и не напутать с контактами. Он увидел неподвижно лежащего часового. Над ним склонился Леонид, прислушиваясь к каждому сбою в тихом хрипящем дыхании. В проходе согнувшись сидел Франтишек. Он впился взглядом в темнеющую у ворот фигуру.

Доминик проверил еще раз. При неполном повороте запал должен дойти до первой бомбы. Через две секунды повернуть рубильник до отказа...

— Контакты в порядке, Янко, — тихо сказал он.

— Тебе доводить до конца. Все зависит от тебя.

Они лежали напротив друг друга, тяжело дыша от усталости.

— Жди моего знака. — Он пополз к стене. — Леонид, отходи... шагов на восемьдесят. В случае чего, там и будет место сбора... после взрыва.

«Мартин прикроет нас уже в глубине», — молча решил он.

Леонида поглотила тьма.

«Все зависит от тебя» — эта фраза стучала в висках Доминика. Он положил обе руки на рукоять взрывного устройства, примеряясь к ней, как к прикладу ружья. Руки приросли к металлу, словно составляли с ним одно целое. Эта железная крестовидная рукоять могла повелевать энергией взрыва, но послушна она лишь уверенным и умным рукам.

«...Жди моего знака... Знак меня врасплох не заста-

266 нет...» Доминик сосредоточился на своей задаче. А Франтишек еще здесь? Почему же он не уходит?

Учитель богословия Франтишек Прохаска из Остравы еще раз мельком взглянул на лежащего без сознания немца. В съехавшей набок каске тот был похож на мертвеца пьяного человека. Франтишек пополз через проход к стене. Это был момент, когда он мог торжествовать победу над собственным страхом. Теперь все давалось легко, все было по плечу. Теперь и он готов выполнить свою часть задания. Его дело — убрать этого распорядителя бочек, чтобы не мешал осуществлению плана операции. И ученики Прохаски, конечно же, будут взирать на него с восторгом и благоговением, когда услышат конец всей истории. Истории, в которую так трудно поверить.

У Доминика волосы встали дыбом, когда он заметил отсутствие Прохаски. Хуже не придумаешь. Нельзя даже дать знать товарищам: неугомонный воин люфтваффе явно почуял что-то недоброе и вышагивал от ворот в их сторону. Он уже был на полпути, а то и ближе. В этот момент из темного зева пещеры послышался условный сигнал — трель тростниковой камышовки: «Карре-карре, кит-кит...»

Доминик почувствовал, как помимо его воли напряглись мышцы рук. Пальцы плотно обхватили крестовидную рукоять, но еще не решались на необходимое усилие.

Фашист был в нескольких шагах от стены. И вдруг перед ним в мгновение ока появилась тщедушная фигурка Прохаски. Он вцепился руками прямо в грудь гауптфельдфебелю. Тот, однако, не был ошеломлен внезапным нападением. Он овладел инициативой, сам схватил учителя и закричал:

— Тревога! Нападение! Тревога!

Открылась дверь караулки. В полумрак ворвались блики карбидных ламп.

Во второй раз призывно пропела камышовка: «Карре-карре, кит-кит...»

Доминик еще успел увидеть, как немец без особых усилий бросил наземь самовольного смельчака. А из барака чуть не кубарем выкатилось несколько солдат... Он не имел права больше медлить. Приходилось жертвовать товарищем. Иного выхода нет. Доминик с силой повернул рукоять, доведя ее до полуоборота. И сразу же встал. Ему не терпелось видеть результат собственными глазами. Пещера гулко ухнула, вторя страшному удару. Он получил мощнее, чем можно было ожидать. Взорвалось лишь несколько бочек. Но и эти пять-шесть тысяч литров бензина

облаком взлетели в воздух. Чудовищно опасным облаком. Доминик довел дело до конца. Движением мастера он привел рукоять в предельное положение. И в темное горючее облако вонзилось жало второй термитной бомбы. Страшный, взрывной накал воспламенил летучий бензин.

Вспышка огромного светового шара словно выбелила своды пещеры. Этот пылающий ком с безумной жадностью начал заглатывать кислород. Поднялась настоящая огненная буря. Потом — что-то похожее на удар грома, на крик попавшей в цель молнии после многочасового нарастания грозового заряда. Это был рев первобытного чудовища, норовящего расколоть землю. Поток пламени подбросил людей в воздух. Взрывная волна вырывала каменные глыбы, за миллионы лет сросшиеся со скалами. Сверху в залитое огнем пространство сыпались многотонные куски породы. Бочки, подобно хвостатым кометам, сновали по днищу грота и в лепешку расшибались о гранитные стены.

Караульный барак напоминал раздавленную коробку, внутри него задыхались те, кто еще оставался там после тревожных криков гауптфельдфебеля. Успевшие выбежать увидели в последний миг своей жизни сплошную огненную завесу, закрывшую все пространство пещеры.

«Резеда... желто-красная... ничего особенного», — пронеслось в мозгу Доминика, ослепленного катастрофой. Это была его последняя мысль. Бетонную стену, за которой он укрывался, смело напором взрывной волны. Стена погребла под собой Доминика.

14

Огненный шквал, вызванный вторым взрывом, спалил остатки караульного помещения и погнал в глубь пещеры черно-красные клубы гари. Одновременно другой поток высадил дубовые ворота и устремился наружу.

Первым пришел в сознание гауптфельдфебель. Сначала показалось, что легко отделался. Потом — острая сверлящая боль в затылке. Но верхняя часть тела была невредима.

Надо было расстегнуть воротник, достать блокнот дисциплинарной практики и сделать запись об этом неслыханном происшествии! «Но что это я тут валяюсь? И ноги как ватные. Вроде бы и не очень их перетрудило. Прошел взлетную полосу да здесь, в пещере, сделал несколько кругов...»

Шпис начинал злиться.

— Встать! — приказал он собственным ногам.

Но это не помогло. Ноги не шелохнулись. Рядом раздались стоны.

«Диверсант? Тот самый хлюпик, что хотел вцепиться мне в горло? Куда же он спрятался, когда рвануло бензин? Чего же я лежу? Почему не начинаю дознание? Кто мог подложить такую свинью? Этот у меня еще попляшет, прежде чем станет покойником! Ну чего же я?»

Франтишек Прохаска, щурясь от едкого дыма, смотрел на груды обугленных бревен. Его по-прежнему заботила только одна мысль: доказать товарищам, что, несмотря на свой необоримый страх, он способен на храбрость. Потому-то и кинулся на фашиста, хотя условный сигнал дважды совершенно отчетливо приказывал ему отходить. Ни о чем другом он не помнил. Эта душная, ослепленная яркими вспышками пещерная ночь стала конечным состоянием и последней целью, исключающей всякое ожидание. Он знал: «Мы в пух и прах разнесли эту базу, источник вражеской мощи». И тут его пронзила жуткая в своей простоте мысль: «Мое тело больше не принадлежит мне. Нижняя часть точно отмерла».

Рядом кто-то надрывно застонал. Тот самый слоняющийся призрак? Фашист... Враг... Но все-таки человек. Франтишек уловил обрывки слов и фраз. Вспомнилась Острава, где говорили на каком-то своеобразном языке, возникшем из смешения словацкого, чешского и польского. Но здесь звучали немецкие слова, и смысл их он понял не сразу. Человек, лежащий в двух шагах, жаловался и проклинал: камень раздробил ему ноги. Чуть не плача, он молил о помощи. Потом повелительно звал солдат, которых больше не существовало. Кричал, стenal, всхлипывал...

Франтишек вдруг обнаружил — и это открытие не столько испугало, сколько вернуло чувство реальности, — что они лежат под одним камнем. Он и его враг. Никаких болевых ощущений. Он начал ощупывать пальцами свою ватную куртку и, дойдя до пояса, наткнулся на камень. Попробовал с другой стороны — тоже камень. Вытянул наугад левую руку — камень. Больше он не решался шарить: боялся, что заденет корчившегося в муках человека. Обломок скалы, придавивший их обоих, наверняка весил не одну тонну.

Когда гауптфельдфебель уже перестал говорить и из его горла вырвался предсмертный хрип, Франтишек почувствовал ледяной холод, охвативший пах и живот и уже коснувшийся груди. Впервые он ощутил полную свободу... свободу от страха... Да, и это тоже он непременно расскажет своим ученикам...

Мартин Карваш пытался обрести ясность мысли, хотя голова раскалывалась от боли. Из раны, из маленькой пулевой раны, еще текла кровь. Человека, который мигал фонарем, он настиг за несколько секунд до взрыва. Когда тот схватился за пистолет, Мартин занес топор. Противник пригнулся. При первом сигнале Карваш швырнул его за валун, прижал к камню, приставил к лицу стальное лезвие. Потом встал во весь рост. Вот тут и грянул долгожданный гром. Мартину казалось, что он под стать извержению вулкана. Именно в этот момент в лицо ударил камень, величиной с кулак, не меньше. Мартин пошатнулся. Шлезингер снова схватил пистолет в надежде избавиться от своего конвоира. Он выстрелил в припавшего на колено бородача, но лишь ранил его в плечо. Карваш вскрикнул и сделал прыжок в сторону. Топор со свистом рассек дымный воздух. На сей раз он попал в цель, опередив второй выстрел. Шлезингер был мертв. На запрокинутом лице резко выделялся острый подбородок.

Медленно клонясь, Мартин начал падать. Все случившееся не очень удивляло его. Такова, видно, судьба.

Через несколько минут его нашел в темноте луч фонаря. Это был Янко. На мгновение он осветил фигуру убитого немца и снова посмотрел на товарища:

— Стисни зубы, Мартин, я иду за Леонидом.

Карваш попробовал встать — кое-как удалось. Левой рукой он зажимал рану. Теперь его страшило только одно — стать обузой для товарищей.

Леонид ловко перевязал Мартину плечо. Тот с величайшим трудом вынес вперед ногу и пошатнулся. Янко и Леонид с двух сторон подхватили его. Они все еще надеялись, что таким способом все трое сумеют уйти от беды.

Янко прикидывал: осталась всего одна батарейка. Фонари Франтишека и Доминика пропали. Значит, света хватит максимум на четыре часа.

Свет безнадежно вяз в наполненном копотью пространстве. Дышать было тяжело, одолевал кашель. Леонид спешил и торопил Янко.

«Больше всего тут моей вины, — думал Михник. — Доминик Куси, вечный тебе покой! А Франтишек? С чего он вздумал нападать? Знал же, что надо уходить... Когда кончится война, в окне его дома непременно появится портрет с черной лентой и белыми розами, а на стене, по обычаю, венок из луковиц. О чем я? Склад взорван. Охрана уничтожена. Задание выполнено».

И командир взвода Янко Михник вдруг разом уловил проплывшую в памяти череду подземных переходов, гротов, водопадов, сталактитовых колонн, куполов и порталов. Всему этому не было конца. Все так же шумел водопад, по-прежнему тяжело стонал раненый лесоруб. И голова его бессильно клонилась на плечо. Леонид Семенов, казалось, ушел бесконечно далеко. Он то и дело гасил фонарь. Экономил. А вот и скальный зал. Здесь они отдохнут. Осыпь галечника, напоминающая язык, все так же круто выгибаясь, соединяет плоскую возвышенность с клочущей воронкой. Вертикальная плоскость гранитной стены. А внизу, в невидимых твердых берегах, глухо ревет поток. Они взяли все, что могло пригодиться. А одеяла и овчины, такие необходимые еще недавно... К чему они теперь? Леонид поднял сумку Прохаски. Он знал, что учитель хранил в ней две тонкие богослужебные книги. «Может, когда-нибудь попадут к его близким», — подумал он. На этот раз ничего, кроме хлеба и сала, решили не брать. Выход из каменного зала снова потребовал предельных усилий, выбирались через уже знакомую расщелину. В ушах еще долго стоял гул подземной реки. Можно было подумать, что их сопровождает жуткая музыка преисподней.

Мартин терял остроту зрения. Ориентироваться становилось все труднее, он едва понимал знаки, которыми обменивались Леонид и Янко. Зато ясно виделась сверкающая гора, роскошное покрывало лесов и горных пастбищ, низкие туманы. Зубчатые гребни Карпат. Из-за них встает красное солнце. Золотые нимбы в вершинах небожителей-елей... Звонкий удар топора. На губах — вкус пота, а иногда и крепкое словечко. Теперь можно позволить себе глоток сливовицы, а потом крикнуть со вкусом...

Но было и темное облако. То самое, которого он втайне боялся и все-таки не ожидал. Вот оно, уже наплывает. В сердцевине — мутное серое ядро. Оно расползается и пожирает свет. Облако идет прямо на него. Подминает долину. Как перед бурей... Покрепче держать топор, иначе не миновать беды.

Карваш вздрогнул и снова окунулся в пещерную тьму. Его трясло от холода. Он почувствовал, что Янко и Леонид держат его за правую руку. И сразу вспомнил, что автомат остался под камнем у бетонной стены. А топор? Топор он из последних сил метнул в фашиста... Не было на его веку ни одной ели, на которую он без боли, без душевного содрогания поднимал бы свой топор. Губы издавали чуть слышный шепот. Он просил прощения за столько погубленных жизней. Но этот удар здесь, в пре-

исподней, он нанес без сожаления, без всякой внутренней борьбы. Да и топора больше не было. Его вырвала из рук какая-то непостижимая сила.

Янко остановился. Лесоруба они осторожно опустили на землю.

Мартин увидел слабый свет карманного фонаря, не зная о том, что на него уходят последние крохи энергии, оставшейся в батарейке, и работать ей не больше часа. А протянет ли он, Карваш, хотя бы час?.. Вдруг в свете яркого дня появился старик с коровами, который навел его на неизвестный вход в пещеру. Потом увидел себя самого — с большой черной бородой... выходящим из хижины...

— Янко... — Дальше говорить он не мог, слова превращались в рыдания, путались в свалявшейся бороде. — Леонид... — Ему удалось шевельнуть рукой.

В этот жест он хотел вложить всю свою братскую благодарность тем, кто помог ему добраться до родного берега.

16

«На «диком Западе»,— пришло в голову Леониду,— покойников засыпают камнями, чтобы уберечь от койотов, наших хранит от фашистов вечная ночь». На эту мысль навела его бледно-желтая вспышка света. Потом снова потекли минуты полной слепоты. Его неудержимо тянуло вперед, но на пути были бесконечные бугры и впадины, двигаться приходилось до отчаяния медленно.

— Полпути, кажется, одолели,— голосом смертельно усталого человека произнес Янко. — Давай передохнем пару минут, и батарейка целее будет.

Они тяжело опустились на скользкие камни и молча сидели в кромешной темноте. Ни голод, ни жажда больше не донимали. Утратилось чувство времени. Все помыслы сводились теперь к единственному вопросу: можно ли выбраться отсюда без света?

— Все еще пахнет взрывом.

— Запах за нами ползет.

— Идти придется быстрее,— с заметным усилием сказал русский.

Он встал на ноги и зашатался. После короткого отдыха мышцы одеревенели. Надо было приучить их к новым усилиям. Янко, спотыкаясь, последовал за товарищем. Тлеющий огонек электрического света властно притягивал взгляд, но был бессилен даже обозначить силуэт.

Пещерная тьма сжималась все плотнее, казалось, что она нижет узкие кольца, охватывая ими двух бредущих

272 вперед мужчин. Минуту... еще минуту... Хотя бы сотню шагов. Только бы выйти из горловины...

Угадываемое глазом пространство простиралось не более чем на три метра. Дальше — лишь слабо мерцающий волосок лампочки, грозящий исчезнуть в любую минуту.

— А чего нам бояться! — резко, с какой-то отчаянной решимостью воскликнул Леонид. — Как-никак нас двое!

Красноватый волосок был окончательно стерт чернотой. Несколько раз щелкнула кнопка. Бесполезно. Янко выпустил из рук уже ненужную жестянку, и фонарик со звоном покатился по камням...

Леонид на ощупь продвигался вперед. Теперь он старался вслух описать каждое препятствие, все, что задевал руками и прощупывал подошвами. Янко шел вплотную, почти в затылок. Это подгоняло, не давало останавливаться.

«Десять минут на тридцать метров, — подсчитывал Янко, привыкший замерять пройденный путь. — Стало быть, на девять тысяч метров — три тысячи минут. Итого: ровно пятьдесят часов... Пятьдесят часов... да еще — время на частые передышки, когда не то что мышцам, костям уже неважно. Силы на исходе... Выжить! Выжить! Самое малое — пятьдесят часов. Значит, еще пять дней до света. А сколько часов они промучились? Слышно, как бежит секундная стрелка, но циферблата уже не увидеть. Был бы свет, сильнее хотелось бы выжить. А так...

Что, если фашисты устроили погоню? Вдруг в наши спины брызнет свет мощных фонарей, и гортанный голос преследователя рявкнет: «Вот они!...» У нас надежные советские автоматы, но не так уж много патронов. Последний надо обязательно сберечь... Живыми нас не возьмут...»

Незаметно для самого себя Янко Михник забыл про пещеру. Он механически подчинялся негромким командам Леонида. Воображением все сильнее завладевал образ, который перенес его в совсем другой мир. К нему приблизилось бесслезное лицо жены. Так и хотелось крикнуть Леониду: «Смотри, она тоже поднялась в горы. Мария, моя жена. Одолела те же пропасти и скалы. Видишь — встала. Ребята даже посторонились... «Милко», — она сказала только одно слово».

— Милко — это наш сын, ты понял, Леонид? — говорил он уже вслух. — А ее глаза? Почему она так смотрела? «Что случилось, Мария? Что с нашим Милко?» — «Они схватили его». В ее голосе, поверь мне, Леонид, уже не было жизни. «Что с ним сделали?» — «Всех ребятшек они загнали в ангар. Дескать, это заложники на тот случай, если нападут партизаны. Я должна была видеть, как они дела-

ют... Кто-то крикнул немецкую команду. Одно короткое словечко. Всех покосило. Милко тоже был там. Я все ви-дела своими глазами. Я, его мать...»—«Говори дальше»,—просил я, а в глазах едкая муть... «Мы похоронили их...»

Леонид давно уже полз, опираясь на руки. Казалось, так будет быстрее. Он все время боялся сбиться с пути. Хуже всего, если они ходят по кругу. Ориентироваться уже невозможно. А инстинкт, который вел его раньше, будто угас.

— Что было дальше... с Марией? — спросил он, сам толком не понимая, что им движет — сердечное участие или потребность изнуренного мозга оградить себя от вспышки безумия.

— Она решила уйти в деревню. Ее было не удержать. Она знала, как отомстить за Милко. Вряд ли уж найду ее в живых.

Леонид вздрогнул от этих слов. С сорок первого года никаких сведений о Надежде и Василе. А ему и не нужны никакие сведения, он все равно верит в счастливую встречу. Леонид слышал, как Янко пытался справиться с рыданиями. Он и сам корчился от душевной боли и стискивал зубы так, что скулы ломило. Неужели и Наде суждено видеть гибель сына? Что с ней будет? Разъяренной рысью бросится защищать малыша? Или ее остановит рассудок?

Словно очнувшись, Леонид отогнал эти мысли: «Что можешь ты знать о чувствах матери?»

— Янко, поведи немного ты, — чуть слышно проговорил он и ощутил нестерпимую сухость во рту. — Янко, воды! Нам надо попить...

Михник тоже вышел из забытья. Видения исчезли. Снова черная безмерность. «Воды!..» Его сразу же ожгло острое чувство жажды. Теперь они ползли рядом, подгоняемые мучительным нетерпением Янко. Натыкаясь на невидимые преграды, в кровь разбивали руки и лица. Воды! Река явно дурачила их. Отыскать ее никак не удавалось.

— Воды! — запекшимися губами шептал Янко. — Проклятая вода...

— Сдается, мы ползем по самому краю ущелья, — предположил Леонид.

Янко едва удержался от сильнейшего соблазна броситься вниз, в бурлящую черную пропасть. На мгновение замер. Его трясло от панического страха. Но тут в лицо ударила холодная струйка воды. А сперва показалось, что капли расплавленного металла. Доводов рассудка больше не существовало. Страшная сила влекла навстречу вожделенной влаге. С хриплым воплем он рванулся вперед, опередив Леонида, даже отбросив его назад.

— Янко! — Слабый крик потонул в оглушительном реве водопада.

Семенов резко подался вперед, схватил словака за ремень:

— Куда лезешь? Тебя же закрутит, как щепку!

Михник впал в безумную ярость. Жажда немедленно коснулась губами воды помутила разум. Он ударил Леонида, пытаясь освободить ремень. Тяжело пыхтя, они боролись друг с другом. И все больше приближались к обрыву. Леонид из последних сил оттолкнул Янко и почувствовал резкую боль в правой руке. Холодное прикосновение автомата. Одним рывком он опрокинул Михника. Тот молотил воздух коваными сапогами. Последний удар... Потом они оба лежали, не в силах пошевелить пальцем. Прошло несколько минут. Русский вытянул вперед руки и вновь начал на ощупь продвигаться. И вдруг какая-то могучая сила отбила вытянутую руку. Это была упругая струя ледяного потока. Леонид молниеносно обшарил ближайшее пространство и обнаружил неглубокую впадину, наполненную холодной водой. Вот она уже в ладонях. Леонид осторожно понес ее назад, брызнул в лицо Янко. Тот конвульсивно рванулся навстречу.

— Иди сюда,— сказал Леонид.— На двоих хватит.

— Дай руку, Леонид.

Придерживая друг друга, они сползли к потоку, к тому месту, где бурное течение умиралось чем-то вроде широкой бухты. Оба припали к воде и, уронив в нее лица, торопливо и долго пили. Потом тяжело откинулись на спины. Казалось, никогда еще не чувствовали они такого изнурения. Их состояние напоминало короткий обморок. Подобно редким осенним листьям куда-то в темную мглу уносились последние мысли.

Семенов заставил себя открыть глаза. Снова тьма. Но это темнота пространства, а не внутреннего зрения, тьма пещеры, а не чернота сомкнутых век, в которой вспыхивали рассыпающиеся пестрые круги. Это было пробуждением воли, непреклонным решением выжить и вынести на белый свет весть о разыгравшихся здесь событиях. Он должен рассказать там, наверху, о героической смерти Доминика Ку-си, Франтишека Прохаски и Мартина Карваша.

— Янко, пора двигаться дальше!

Не услышав ответа, Леонид бросился к тому месту, где ожидал найти Янко, но его руки натыкались лишь на холодную поверхность камня.

— Янко! — крикнул он еще раз, но тут же убедился, что шум воды ему не перекрычать.

Леонид уже не чувствовал усталости. Все его помыслы сосредоточились на пропавшем товарище. На ощупь добрался до ложбинки, где они напились воды и где их сморил сон. Янко здесь не было. Несчастный случай? Исключено. Янко надо найти.

«Жажда утолена,— думал Михник,— но дороге мне не осилить. Леонид двужильный. Он-то выберется из этого чертова подземелья. Я буду ему только мешать».

Янко потихоньку отполз в сторону, подальше от спящего товарища. Ориентируясь по шуму воды, он начал двигаться в обратном направлении, пытаясь найти в скале какое-нибудь укрытие. Силы, физические и моральные, были подорваны настолько, что он сам призывал свою смерть.

— Янко! — Крик все-таки пробился сквозь гром водопада.

Михник лишь покачал головой, он уже не мог подняться на ноги. Теперь он даже не пробовал встать... Уснуť... Кто знает, может, это не так уж страшно. Сколько людей переступило этот последний порог...

Немолчный шум воды дурманил и убаюкивал. Тупое равнодушие вытесняло все желания и чувства... Какой жуткий мрак!

Внезапная вспышка яркого огня вывела его из оцепенения. Огонь был совсем близко.

— Фашисты! — крикнул он, мгновенно вскочив. — Леонид, прикрывай!

Он щелкнул предохранителем автомата. К ногам скатился большой камень. Михник быстро обошел его.

— Не стреляй, Янко! Подумай о Марии. Она где-то ждет.

«Слава богу, опомнился»,— с облегчением подумал Леонид. Словак вздрагивал от подавляемых рыданий, он покорно следовал командам Леонида. Семенов вспомнил свой кавказский опыт. Он и еще несколько комсомольцев прошли тогда довольно опасным маршрутом через пороги и водопады. И какие это были водопады! Дух захватывало от крутизны...

Ему удалось найти удобное место, где они смогли пересечь поток знакомым Леониду способом. За его ремень крепко ухватился Янко, а сам он, промокнувший до нитки, ощупывал руками скалу, рассчитывал каждую пядь пути.

«Подумай о Милко!»— эти слова действовали на Михника лучше всяких команд и вразумлений.

Потом они очутились в каком-то каменном мешке и дол-

276 го бились в поисках выхода. Тут и там упирались руками в вогнутую стену. Беспомощно опускались на корточки, сморщенные невероятной нервной усталостью. В такие минуты разом наваливалась вся накопившаяся боль — мышечная боль изнуренного бессонницей тела, боль голода и жажды, боль гноящихся ран. И такой же физической пыткой оборачивалась тоска по свету, мечта о спасении.

«...А эта толстобокая водокачка в Малине,— вспоминалось Леониду,— ее разрушила наша же артиллерия. Вскоре рассекли понтонный мост. Фрицев последний раз контратаковали из хмельников. Знамя полка было у меня в руках. Ленин все еще стоял на высоком пьедестале. Город заволокло дымом. Июль сорок первого. Только месяц с начала войны... Надежда и Василь. Если бы им удалось вовремя уйти на восток».

«...Марию я возьму с собой,— клялся себе Янко.— Удержу ее от безрассудного шага. Все время буду с ней, каждую минуту. У нас одна боль за Милко и одна ненависть. Ненависть станет силой. Будем бороться. Как же я раскис? Сдаться немцам?.. Неужели я этого хотел?»

17

— Янко! Мне кажется, выход близко.

У Михника застучало в висках... Выход близко?.. «Мне кажется, выход близко!» Это сразу и в толк не возьмешь. Ведь это же обещание жизни. Огромной будущей жизни.

— Канат крепил ты.

Руки снова приникли к шершавому камню. Янко быстро подался вперед. Голова гудела от напряжения. Как она только не разлетится на куски. И опять камень... Камень... Бесконечная скалистая твердь. Куда они идут? Все та же скользкая неровность. Невыносимо. «Когда я держал этот канат? Сколько веков назад? Я касался его последним. Точно помню два острых конуса в человеческий рост. Два каменных пальца. Один чуть ближе. Его-то и обмотал канатом. Ошибка исключена. Я это запомнил. И глазами и руками...»

У Янко кружилась голова.

— Если мы вправду у цели, должен же быть хоть какой-то проблеск света.

— Может, сейчас ночь.

— Тогда надо ждать утра... Ждать утра...— горячечной скороговоркой пробормотал Янко.

— Попробуем еще поискать канат.

— А если это не конец пещеры?

— Нет, я чувствую: здесь маленько потеплее.

Сантиметр за сантиметром они стали прощупывать треснувшие стены старого подземного котла. Янко машинально продолжал бормотать, где и как он закрепил канат... Если не теперь, то уже, наверно, никогда... И тут в его ладонь попал какой-то странный предмет. Кожи коснулось что-то совсем не похожее ни на камень, ни на металл, ни на гладкую ленту ремня. Что-то вроде пучка грубого волоса в палец толщиной. Неужели канат?..

— Канат!

Янко ухватился за него обеими руками, даже было повис на нем и почувствовал, как бессильно сползает вниз. Он снова тяжело и прерывисто задышал.

Леонид подполз к нему и начал его поднимать, как делал уже много раз за эти бесконечные часы: он просто взваливал его себе на спину, когда тот не мог двигаться. Леонид убеждал, говорил о самом главном: Красная Армия скоро пройдет через Карпаты, фашистскому господству скоро конец...

Он потрогал канат, с его помощью надо было взять многометровую высоту. Наверху никого нет. Значит, это надо сделать предельным усилием воли и обескровленных мышц двух полуживых человек. Силы таяли с каждой секундой. Медлить было нельзя. Иначе сами погребут себя в каменном колодце.

— Ждать до утра мы не можем,— тихо сказал Леонид. — Еще пара часов — и нам уже на ноги не встать. Возьми конец каната и обвяжись покрепче. Я полезу первым. Как только закреплюсь, начну тебе помогать. Так, глядишь, и выберемся.

Автомат и даже патроны показались ему неподъемным грузом. Семенов добрался до каменных пальцев, кое-как примостился возле них. Потом приподнял канат, обвил его вокруг правой ноги и попробовал подняться с помощью рук. Хватило бы сил хотя бы на несколько метров! Свободной ногой он искал выступ, пока безуспешно.

«Только наверх... наверх... не давай ноге потерять канат, а то все пропало. Ну, еще раз!» — мысленно приказывал себе Семенов. Он больно ударился головой об острый, как карниз, выступ. Подтянулся еще. Вновь почувствовал ребристую поверхность. Нашупал несколько каменных зубцов. Потрогал их. Надежно. Раскачавшись, уцепился за выступ. Метров пять есть... Едкий запах пота.

— Один кошачий прыжок, Янко!

Канат натянулся.

— Делай ногами замок и тянись!

Он слышал, как стонет от напряжения Янко, и тоже на пределе сил начал выбирать канат. Горячая боль обожгла сухожилия, вот-вот разорвутся. Наконец-то показалась рука.

— Крепче держись! — Леонид просунул руку Янко за поясной ремень, стиснул зубы и, откинувшись назад, рванул на себя тяжелое тело Янко. Тут же расслабил мышцы и, жадно хватая ртом воздух, распластался на узкой площадке уступа. Сколько еще будет таких рывков? Постепенно дыхание выровнялось.

— Леонид...

— Что?

— Ущипни-ка меня, только по-настоящему...

Русский терялся в догадках.

— Может, осталось немного силенки,— простонал Янко.

— О чем ты?

— Просто хочу знать, не снится ли мне это. Да открой ты глаза-то!

— Я ничего не вижу.

— Наверх смотри.

У Леонида по-прежнему мелькали в глазах обманные огоньки. Но потом взгляд его точно магнитом притянуло чуть заметное сероватое свечение вверху, над их головами. На несколько секунд он зажмурился и снова широко раскрыл глаза. Теперь можно не сомневаться. Там, наверху, медленно занималось утро.

— Сумели! Осилили! — воскликнул Янко, и в его тусклом голосе зазвучала новая, живая нота.

Леонид подергал канат и снова обхватил его руками. Словаку он помогал на каждом метре подъема. Становилось светлее, и это облегчало задачу. Но свет обнажил в скале острые, как ножи, ребра. О них терся канат. Зрелище не из приятных. До кромки, опушенной зарослями ежевики, оставалось метров семь. Самые страшные, мучительные метры. Янко потуже обвязался концом каната.

Леонид еще раз проверил надежность узлов у себя на груди. Собрал в комок всю оставшуюся в нем энергию, подтянулся, продвинулся на метр, на два... еще... еще... Перед глазами все поплыло и завертелось. Послышался крик галок, гомонивших где-то в кустах. Пальцы судорожно вцепились в жесткие стебли, и — чудо! — они выдержали, помогли ему выкарабкаться на твердую, пахнущую травой землю.

В рассветном небе угасали бледные звезды. Леонид и Янко полулежали в густом ежевичнике, рядом чернела большая нора, ведущая в подземелье.

— А ведь мы были здесь впятером.

— Зато скольких спасли, подпалив крылья стервятнику...

Командир взвода Янко Михник и Леонид Семенов, спотыкаясь, шли навстречу свету. Мысли о пережитом путались с явью. Начали новое восхождение, снова поднимались в горы и теперь шли уверенно и ровно, потому что точно знали: там, за перевалами, должен быть штаб. На пути к нему остались лесоруб Мартин Карваш, взрывник Доминик Куси, учитель богословия из Остравы Франтишек Прохаска.

По дороге встретили старика. Он пас своих коров на том же месте, что и несколько дней назад, и давно уже заметил двух смертельно усталых путников.

— Да поможет вам бог! — сказал он неожиданно высоким голосом. — Этак с неделю назад проходил тут один молодой бородач, своего брата искал, какого-то Милоша, если не путаю. Здесь про такого не слыхали... Вы его случаем не знаете? От добрых людей можно не таиться... Он еще про нашу большую пещеру спрашивал.

Янко поглубже засунул под куртку автомат.

— И тебе бог в помощь, отец. Бородача в черной шляпе мы хорошо знали. Пещера, говоришь? — Он внимательно посмотрел на старика.

Тот скользнул быстрым взглядом по дороге, расходящейся дальше в трех направлениях, и добавил:

— Скажите ему: дело сделано. Главный вход взорван. Фашисты оттуда убрались... Храни вас господа!

И он озабоченно, ни разу не оглянувшись, погнал обеих коров в гущу кустарника.

Необычная тишина пришла в Словакию. Развернулось формирование новых сил. И хотя 27 октября пала Банска-Бистрица, волею истории пламя кожарищ становилось новым очагом освободительной борьбы.

ПРИГОВОР

Крюгер не помнил другого случая, чтобы столь основательно укрепленная линия обороны была бы полностью стерта в течение немногих часов. Никогда еще воинские контингенты не подвергались такому сокрушительному удару, как те армии, дивизии и полки, которым по приказу Гитлера надлежало удерживать территорию между Вислой и Одессом.

«Вот уже неделя, как русские лупят по нам из-за Вислы. Что ни день, то круче», — мрачно констатировал Крюгер. Три с половиной года минуло с тех пор, как он стал солдатом, и с каждым годом, по его собственному выражению, все глубже вяз в дерьме. Дослужился до обер-ефрейтора. Но, не испытывая честолюбивой тяги к чинам и наградам, сам не желал дальнейшего продвижения по службе. Крюгер вообще ничего не желал. С того момента, как началось это наступление.

Когда войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Жукова взяли в клещи фашистские части вокруг Варшавы, здорово досталось и дивизии, в которой воевал Крюгер. Русские танки перепахали всю позицию и буквально сдули подразделения вермахта, отбросив их в белые, зимние поля.

Милостью судьбы счел обер-ефрейтор то обстоятельство, что противотанковый дивизион, в котором он служил, счастливо избежал таранного удара и, сохранив свою боеспособность, несколько дней назад вместе с другими уцелевшими подразделениями был отведен от линии фронта. Командир дивизиона капитан Зоннеберг получил приказ снова войти в состав армейского резерва.

Теперь он как бы со стороны наблюдал за идущими в боевом порядке танками и на протяжении нескольких часов мог даже слышать сигналы их радиостанций. Зоннебергом овладело глубокое беспокойство. Эти готовые к атаке танки не оставляли сомнения в том, что их целью был Одер. Нетрудно было сообразить, что этот новый, скрежещущий гусеницами броневой котел обрекал на уничтожение выдвигаемые части второго эшелона. А Зоннебергу с его дивизионом теперь уж наверняка не миновать переправы через Варту (дай бог, чтобы один раз), а дальше, минуя Познань, придется выходить к Одру еще до того, как другие его «форсируют», говоря языком штабных умников.

Капитан хорошо понимал, что отводимые части его дивизии, по существу, окружены. О доктрине стратегической инициативы никто уже не решался вспоминать. Армия походила на шевелящую усиками улитку. Эти усики ощупывали польскую землю. Боевой девиз менялся до неузнаваемости. Сейчас он звучал так: «Домой, в Германию! Любой ценой!»

Обер-ефрейтор Крюгер был замечен и даже как-то приближен Зоннебергом вскоре после того, как тот стал командиром противотанкового артиллерийского дивизиона. Это произошло два года назад. Крюгер неплохо изучил ка-

питана. По выражению лица он мог угадывать его мысли и настроения, особенно когда Зоннеберг читал короткие письма своей супруги, весьма изголодавшейся по удовольствиям. Сейчас он с уверенностью мог сказать, что всю последнюю неделю у капитана на душе кошки скребут. Потому Крюгера и не особенно удивляло, что командир стал совершенно равнодушен к продовольственному пайку и ненасытно выкуривал сигарету за сигаретой. Зоннеберг все чаще сетовал на оскудение своего табачного запаса, к которому всегда относился как к подлинному сокровищу.

— Крюгер, вы как-никак были у нас лучшим командиром разведывательного дозора...

Этими словами он начал разговор с обер-ефрейтором на второй день окружения, которое в силу размытости линии фронта казалось еще страшнее и непредсказуемее.

— Вроде бы так,— по обыкновению растягивая слова, ответил Крюгер.— Мне все время везло.

— Ерунда! У вас просто какое-то шестое чувство. И оно пригодились всем нам.

— Вот уж не думал...

— У меня создалось впечатление,— продолжал Зоннеберг,— что Иван спустил на нас пока только свои резервные части. У вас нет настроения как-то лучше оглядеться вокруг?

У Крюгера, конечно, не было такого настроения. Но открываться начальству он поостерегся. Он слишком хорошо знал капитана. Тот мог подластиться к тебе с видом мурлыкающего кота и через секунду выпустить железные когти.

— И где же я должен осмотреться, господин капитан?

— Возьмете с собой ефрейтора Вольтера и будете совершать ежедневные вылазки. Надо отыскать свободную дорогу на запад!

Это был уже не вопрос, а приказ. Крюгеру оставалось лишь испросить разрешения прихватить с собой в качестве переводчика поляка Яна Ялецкого. На тот случай, если столкнутся с местным населением и захотят что-нибудь разузнать.

В ответ Зоннеберг молча кивнул.

С этого дня все трое уже не знали отдыха. Они вступали в контакт с другими разрозненными подразделениями, устанавливали местонахождение и маршруты движения советских войск, собирали сведения для майора Шроттке, который раньше был командиром саперного батальона, а теперь возглавлял так называемую боевую группу. Вольтера и Крюгера высоко ценило начальство. Высоко, как ни-

282 когда прежде. Шроттке навесил им по Железному кресту первой степени и произвел их в унтер-офицеры.

А котел окружения километр за километром, можно сказать, беспрепятственно продвигался к Варте, натываясь на своем пути лишь на осколки уничтоженных частей. Мог ли Крюгер предполагать, что они окажутся на Одере и будут искать спасительную лазейку? А кто может поручиться, что Иван и там не завяжет свой тугой узел? Тем более что боевая группа действует что-то не очень ловко. От всей поставляемой ими информации пока никакого толку. Зачем же лезть на рожон? Зачем эти ежечасные человеческие жертвы? Наверху, видно, никак не поймут, что война проиграна. Но здесь-то, внизу, должно же начальство — Шроттке, Зоннеберг и им подобные — видеть, что выхода, как ни бейся, не будет.

Что, интересно, думает Вольтер? Он, конечно, гордится и новым званием, и Железным крестом, но разговорить его трудно — осторожничают. Ясное дело: хочет домой, к жене и детям. Очень боится плена. Русские внушают ему ужас. А наш поляк — Ялецкий? В сентябре, когда мы готовили удар по Мангушевскому плацдарму русских, Ялецкий попал к нам в плен. Зоннеберг решил, что в сложившейся ситуации он пригодится как переводчик. Вопреки строжайшему приказу по армии капитан велел выдать поляку поношенную униформу и определил его на полевую кухню, заметив при этом: «Мы даем тебе шанс. Будешь плохо себя вести — получишь пулю в лоб. Надеюсь, мы поняли друг друга».

Ялецкий бормотал свое неизменное: «Добже, проше пана!», без устали колол дрова, носил воду, чистил котлы и кастрюли. Он вел себя так, будто и не помышлял о лучшей участи. Что же все-таки творилось у него внутри? Этот вопрос всякий раз задавал себе Крюгер, когда они совершали свои вылазки. Ведь он, собственно, был у себя дома. И если бы вздумал скрыться, никто из нашей компании палец о палец не стукнул бы, чтобы начать преследование. Но вопреки логике Ялецкий не удирает. Наоборот, вел себя так, точно его приклеили к Крюгеру.

В ночь на 23 января снова обшаривали местность впереди медленно ползущей, тающей с каждым днем кучки подразделений. Установили, что значительные силы русских все более глухо блокируют путь к отступлению, и совсем близко, чуть дальше на запад, разбили более крупную боевую группу вермахта. При сообщении об этом Зоннеберг совсем посерел лицом.

— Ну что ж, доложим по инстанции, — устало заметил он.

С минуту помолчал, озабоченно хмурия лоб, а потом вдруг, необычайно оживившись, заговорил:

— Рано утром обоз русоких проезжал как раз под дулами наших самоходок. Там у них горы хлеба, мяса и фантастическое количество папирос... папирос...

— Там, а не здесь,— ответил Крюгер.

— Не будем торопиться с выводами,— горячо возразил капитан.— Артиллерия тут же убралась на прежние позиции. А от пушек до обоза всего-то тысяча метров. Каков соблазн, Крюгер!

— Хлеб и мясо, конечно, дело не лишнее, но стоит ли рисковать ради этого?

— Крюгер! Наивная душа! Речь идет о папиросах. Я не могу не курить. Иначе я просто не выдержу! — У Зоннеберга задрожали руки.

Крюгер совершенно опешил. Он не верил своим ушам. Только чтобы потрафить собственной слабости, капитан готов поступиться жизнями трех человек?

— Невозможно, господин капитан. Мы никогда еще не видели здесь столько трупов, как вчера.

— Русских.

— Нет, немцев.

— Русских,— раздраженно повторил Зоннеберг,— около самоходок только русские.

«Старик совсем спятил»,— подумал Крюгер, чувствуя, как в нем закипает злость. Вслух он сказал:

— Мы никогда не выберемся отсюда, если... если не поставим точку.

— Какую точку? Что вы хотите сказать?

Крюгер понял, что придется говорить до конца и решил: будь что будет.

— Бросить оружие и поднять белый флаг.

— Это речи пораженца, Крюгер! Ваше счастье, что я достаточно благоразумный начальник. Капитулировать, что ли? Да вас ждет неминуемая пуля в затылок, если вы вообще сумеете сделать хоть шаг в их сторону.

— Не уверен.

Зоннеберг начал суетливо рыться в карманах. Вытащил залежалый окурок, с жадностью сделал пару затяжек, опалив при этом кончик большого пальца. Он визгливо выругался и почти захныкал:

— Смотрите! Я обжегся.

Крюгер знал о патологическом страхе, который испытывает его командир перед всяким телесным повреждением. В таких случаях он становится на удивление мягким и склонным к откровенности.

— Капитуляция — это единственный выход, господин капитан. Лучше плен, чем подохнуть. Или вам непременно хочется свернуть себе шею за пять минут до конца войны?

— Да прекратите вы, Крюгер! — простонал капитан. — Прежде всего я хочу, чтобы мои люди уцелели и вернулись домой. Дела наши — дрянь. Но сдаваться? Маленькая осечка — и я пропал. Особенно при Шроттке...

— А если выбрать удачный момент? — не уступал Крюгер. — Парни будут вам благодарны.

— Да, да... — пробормотал Зоннеберг. — Но вы все-таки сходите. Последний раз. Умоляю, Крюгер, достаньте мне чего-нибудь покурить!

— Хорошо, — ответил унтер-офицер.

Капитан отметил на карте то место, где должны находиться остатки разбитого обоза.

— Вольтер слишком устал. Ему нужен отдых, хотя бы один день, — сказал Крюгер, — я возьму только поляка.

Вдали загрохотала артиллерия. Шли бои за освобождение Польши.

Крюгер подошел к Яну:

— Сегодня будет дело, и довольно тонкое. Выйдем вечером, но не очень поздно. Будь наготове.

— Так точно, господин унтер-офицер, — ответил Ялецкий, зачесывая рукой свои светлые волосы.

Когда солнце скрылось в плотной толще облаков и его меркнувший свет синевой покрыл заснеженную землю, Крюгер с напарником отправились в путь. Мороз усилился. Под ногами скрипел снег. Лед, покрывающий реки, был настолько крепок, что по нему мог двигаться транспорт. Теперь каждую ночь в небе проносились истребители и бомбардировщики с красными звездами. Это было верным признаком нарастающего наступления русских.

Огневые позиции самоходных артиллерийских установок расположились на территории уцелевшей крестьянской усадьбы.

Адъютант только что оторвался от наушников. Рядом с ним сидел офицер-связист, взгляд его выражал нетерпеливое ожидание.

— Если верить тому, что говорит Иван, пора заказывать похоронный марш! В Верхней Силезии они перешли границу — девяносто километров по фронту. А в Восточной Пруссии собираются нанести двусторонний удар по Найденбургу. Они взяли Танненберг — святыню рейха. Бедняга Гинденбург! Двигаясь в нашем направлении, заняли

вчера Влоцлавек. А мы застряли в каком-то нужнике между Литцманнштадтом и рекой. Ну не чушь ли?

Офицер связи тоже отвел душу руганью, негодуя по поводу «большевистских инсинуаций». Адъютант повернулся к Крюгеру:

— Ваш старикан затевает богатую охоту. Мне поручено точнейшим образом описать вам маршрут. Надеюсь, вы не ищите лишних хлопот?

— Нет,— ухмыльнулся Крюгер.

Оба офицера подробно проинструктировали его. Все трое сошлись на том, что русские снова успели вернуться к прежнему рубежу и вылазка чревата серьезной опасностью.

Крюгер вышел из дома и направился к укрытию, в котором сидел наблюдатель. Тому было поручено неусыпно подслушивать противника. Ялецкий стоял чуть поодаль.

Солдат сказал Крюгеру:

— Сейчас не поймешь, что у них там делается: ветер северо-восточный. Но я больше чем уверен, что они готовы завести танки. Так что времени у вас в обрез. Дальше к югу — боевая группа СС, наши твердокаменные братья. Уж они-то свои арийские шкуры так просто не продадут.— Солдат смачно сплюнул, описав длинную траекторию.— Тебе сказали — километр? Как бы не так. Три. Если не больше. Желаю не отморозить задницы!

Крюгер поклялся себе, что в подобных затеях участвует в последний раз. Но сейчас уже поздно отступать. Папиросы, надо понимать, стали чем-то вроде задатка за капитуляцию.

Издаലെка все отчетливее доносился рев мощных моторов. Крюгер укрылся за крохотным островком березняка и подманил рукой поляка.

— Опушка леса должна быть там. Как по-твоему? Ялецкий кивнул:

— Думаю, еще метров восемьсот.

Они осторожно поползли дальше.

«Наверно, русские давно заметили пропажу этой части обоза и пришли поправить дело»,— думал Крюгер. Он напряженно прислушивался. Была обычная фронтовая ночь, когда противник занят перегруппировкой сил.

Наконец добрались до края леса. Теперь на их пути встречались беспорядочные нагромождения самых неожиданных предметов: новенькие гильзы от снарядов, цинковые ящики, лопаты, покореженные коробки с хлебом, мешки, из которых сыпался овес, связанные в кипы шинели и гимнастерки. Внизу чернели воронки. Много убитых. Луч карманного фонарика зацепил изуродованный взрывом печатный станок. Консервные банки, канистры с бензином,

286 пачки денег, одеяла, мучные кули, какие-то рулоны... и снова воронки, снова убитые. В одной бесформенной груди смешались медицинские инструменты, бутылки с водкой, автоматы, боеприпасы, трупы лошадей, колеса, запчасти для танков. И всюду мертвые солдаты.

Унтер-офицер почувствовал, как по коже забегали мурашки. Шум моторов вроде затих, но почему-то казалось, что вражеские танки еще ближе, чем раньше. Так подсказывал инстинкт. Крюгер остановился. Надо пару минут передохнуть и собраться с мыслями! Из-под опрокинутой повозки торчали ноги убитых. Крюгер подошел ближе. Их было двое. Один — бородатый, с почти стариковскими морщинами. У второго лицо совсем еще юное, мальчишеское. Откуда начали военный путь эти люди, рискнувшие без всякого прикрытия сунуться в самое пекло? Откуда они, почти в упор расстрелянные немецкой артиллерией? В каких краях огромной страны, неизмеримо большей, чем Германия, оставили они свои очаги? Сколько верст пройдено ими, чтобы встретить смерть на польской земле?

Крюгер встрахнулся.

— Где же эти вонючие сигареты, черт их побери! Ему никто не ответил.

Унтер-офицер полоснул лучом по кустам.

— Ялецкий!

Тишина была поистине гробовая. Лишь ветер чуть шелестел лоскутьями обгоревшей фронтовой газеты.

— Ялецкий, брось дурацкие шутки... отзовись!

И не успел еще он докричать эти слова, как ему стало совершенно ясно, что поляк исчез навсегда.

Рано или поздно это должно было случиться. Но почему именно сейчас? Крюгер соображал, как ему поступить. Пуститься ли вслед за поляком? Присоединиться к нему? Или проторчать ночь в кустах, а когда наступит день и русские придут искать свой обоз, выйти к ним с поднятыми руками? Тогда война для тебя закончится, Гельмут Крюгер!

А наши парни из противотанковой артиллерии? Ни один из них не вырвется из этого ада. Я должен убедить Зоннеберга, что на спасение имеет право каждый. Не я один. Конечно, старик немного тронулся, но ведь не изверг же он какой-нибудь.

Крюгер методично обследовал изрешеченную пулями машину с продовольствием. При этом чутко прислушивался, регистрировал в сознании каждый шорох. Папирос он нашел гораздо больше, чем могли бы вместить обе его сумки.

Внезапно где-то вдалеке загудели моторы. Танки! Звук шел из-за опушки, а потом стал нарастать и слышался уже с двух сторон. Русские! Они начали атаку! Крюгер бросился бежать. Миновал заросли и выскочил в открытое поле. Это был кратчайший, хотя и самый опасный, путь к своим. Прямо перед ним взметнулся столбик земли, поодаль — еще один. Не иначе как бьют противотанковые орудия его дивизиона. Там, вдалеке, смутно угадывались их позиции. Значит, открыли заградительный огонь. А сзади напирал мощный рев Т-34 и тяжелых танков. Казалось, они сползаются отовсюду.

Унтер-офицер достаточно хорошо понимал, что значит оказаться в полосе огня. Горло перехватило спазмом. Пытаясь сохранить равновесие с помощью двух туго набитых сумок, Крюгер бежал через поле. И не только спасался сам, он мог еще и спасти других. Почему-то мелькнула мысль о пропавшем поляке с такими светлыми голубыми глазами; подумалось о том, что завтра полевая кухня останется без воды и без дров. Как безмерно растягиваются эти три километровых отрезка, когда над головой свистят снаряды и осколки.

Даже воздух становился горячим. Совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки, мелькнула красная звезда на мощной зеленой броне. Танк пронесся, едва не задев Крюгера, пушка была развернута в сторону немецких позиций, стреляла на полном ходу. И Крюгер снова бежал. Пистолет, сунутый за голенище сапога, сползал все ниже и нестерпимо давил ногу.

Еще один танк... Обходит справа. Второй, третий, четвертый... Сколько их тут? Одного из этих колоссов опрокинуло оглушительным взрывом. В воздухе вихрем закрутились куски раскаленного металла и с шипением полетели в снег.

Крюгер прямо носом полетел в какую-то впадину. Он лежал, мокрый от пота, тело дрожало, как в лихорадке. Страшно было даже помыслить, что танки погонят его на сплошную стену огня. Но у Крюгера была своя задача, она-то и подняла его на ноги. Послышался резкий металлический скрежет. На бегу заметил, что гусеницы танка мнут и коречат немецкую пушку. Сквозь лягз и грохот пробивался чей-то пронзительный крик... Крюгера несло вперед. Бежать старался не по прямой, все время петлял, чтобы не попасть в прицел... И снова падал, мечтая зарыться поглубже в снег.

Броня давила броню, как будто стальные гиганты сошлись в рукопашной схватке, но твякающий огонь проти-

288 вотапковых пушек становился все реже и наконец замер совсем. Вскоре затих и гул красноармейских танков. Они двинулись дальше на юго-запад.

Приглядевшись, Крюгер различил какой-то призрачно-серый человеческий поток. Неровно шевелясь, он полз в сторону Варты. Тупо повинаясь привычке, смертельно усталый Крюгер занял место в колонне. С наступлением утра он начал узнавать знакомые лица. Попалось несколько человек из его батальона.

Командира Крюгер нашел в перелеске. Артиллеристы вместе с другими рыли и оборудовали укрытия. Неожиданная атака советских танков отбросила их километров на десять в западном направлении, но котел от этого не перестал существовать. Над Кутно вставала кроваво-алая заря.

Обе сумки Крюгер поставил перед капитаном. Зоннеберг ухватился за оледеневшие шнурки, но глаза его оставались по-прежнему тусклыми. Он открыл коробку и запустил пальцы в аккуратный ряд папирос, потом равнодушно наблюдал, как они посыпались на землю.

— Какой от них прок,—вяло бросил он.

Крюгер обескураженно смотрел на капитана. Что бы там ни было, а задание он выполнил и вправе ждать соответствующей реакции. Кроме того, хотелось доложить об особом происшествии, и он рассказал об исчезновении Ялецкого.

Зоннеберг о чем-то мрачно размышлял.

— У меня уже не осталось пушек, Крюгер. Ни одной. Я уничтожен. Каждый может мне ткнуть: где твой батальон? Что я могу доложить командованию? Мне нечего сказать, просто нечего...

Крюгер снова проникся надеждой. Теперь-то старик должен уразуметь, что всякое сопротивление бессмысленно.

Но капитан молчал. Дрожащая рука рылась в кобуре. Он извлек оттуда кусок пакли для чистки оружия. Потом достал пистолет, повертел его так и этак. И вдруг, сверля Крюгера взглядом, заговорил на высокой ноте:

— Вы предусмотрительно оставили Вольтера и взяли одного Ялецкого. Вот этого делать не следовало, Крюгер. Поляк навел на нас танки... Нет, какой там поляк! Это ваших руки дело, Крюгер!

Вокруг сразу воцарилось напряженное молчание. Солдаты смотрели в их сторону.

— Но, господин капитан!..— с дрожью в голосе воскликнул Крюгер.

— Вы послали Ялецкого к противнику с донесением: расположенный там-то и там-то батальон противотанковой артиллерии должен быть ликвидирован, поскольку его командир не желает капитулировать! — орал Зоннеберг. — Это конец, Крюгер. Вы добились меня. Если вы действительно порядочный человек, исполните мою последнюю волю: застрелите меня. Сам я не могу. А если у вас хватит мужества, сделайте потом с собой то же самое! Вы же так хотели этого выстрела! — Он начал совать пистолет Крюгеру в руку.

— Господин капитан, это безумие!

И тут вдруг послышался до жути знакомый свист снарядов — залп «катюш» пришелся как раз по перелеску. Снаряды взрывались. Казалось, прямо над ухом кто-то бухает медными тарелками. Деревья застлало облаком едкого дыма.

Зоннеберга колотила дрожь.

— Опять Иван идет! Выстрел из нагана в затылок или очередь из «дегтярева» — кому что нравится! — Его лицо искажилось до неузнаваемости. — Приговариваю вас к жизни, Крюгер! Живите дальше! — кричал он, срываясь на дискант. — Как вам подскажет совесть! Последний вам командирский приказ — застрелите меня!

Унтер-офицер держал пистолет в правой руке стволом к земле. Увидев, что со всех сторон к ним сбегаются люди, он закричал:

— Я этого не сделаю!

Зоннеберг рванулся к нему:

— Трусливый пес!

Обеими руками он вцепился в кулак, в котором Крюгер сжимал пистолет, и поднял его вверх. Указательный палец протискивался к спусковому крючку... После выстрела руки Зоннеберга сразу обмякли, разжались. Капитан привалился к груди Крюгера. Глаза широко раскрыты, взгляд скользит мимо стоящих вокруг солдат. Крюгер с ужасом заметил маленькое круглое отверстие в шинели капитана, на ней расплзлось темное пятно.

Зоннеберг стоял, слегка пошатываясь, как будто боролся с напором сильного ветра. Двое солдат повисли на унтер-офицере. Один вырвал у него пистолет, другой с хрустом заломил ему руки за спину.

— Пустите! — кричал Крюгер. — Я ни при чем! У него нервы сдали...

А капитан Зоннеберг все еще держался на ногах. Вот когда произошла его полная капитуляция. Глаза заволакивало желтоватой мутью, сквозь нее он еще видел черные

290 стволы деревьев и даже узнавал кое-кого из своих солдат-артиллеристов, оставшихся без единого орудия. Последнее, что успел зафиксировать угасающий мозг,— вновь доносивший ветром рев танков. Только теперь они уже не внушали ему страха. Его шатало, но фигура оставалась прямой. Капитан упал во весь рост, как подрубленное дерево.

Взгляд Крюгера наткнулся на небритое лицо командира боевой группы майора Шроттке. Огромная голова, тугие, круглые щеки, фуражка, тщательно скрывающая обширную лысину. Унтер-офицеру почему-то подумалось о том, каких хлопот потребует бритье такого лица. Каково придется парикмахеру? Широко расставив ноги, Шроттке уже стоял перед Крюгером. Всем своим видом он внушительно воплощал военную власть.

По его знаку унтер-офицера взяли под руки и куда-то повели.

— Привязать к дереву. Им займется военно-полевой суд,— сказал Шроттке, отправляясь на осмотр своих «новых, неприступных позиций».

Свой воинственный дух Балдуин Шроттке решил испытать еще в первой мировой войне — в 1919 году он незамедлительно вступил в только что созданный добровольческий корпус. Наконец-то он стал солдатом! Стотысячная армия и национал-социалистическая партия, хотя тогда она еще совсем не котиновалась в рейхсвере, преуказали ему дальнейший путь служения фатерланду. Уроженец одного из маленьких городков средней Германии, он получил в наследство фабрику сельскохозяйственных орудий и в своей гражданской жизни неплохо справлялся с ролью солидного буржуа. Правда, преуспевать он начал только тогда, когда «экстенсивная политика на Востоке» стала вершиться с помощью военной силы. Шроттке принадлежал к городской знати. Аплодируя всем призывам фюрера, к началу второй мировой войны он удвоил свой великогерманский пыл и вскоре с оружием в руках поспешил на встречу давней мечте. Он служил великому рейху!

Шроттке, конечно, знал, что сорокачетырехлетний майор для фронтовых офицеров — не более чем «старый мешок», а низшие чины называют его между собой просто «дядей». И терпел это годами, терпел со скрежетом зубным. Но всем этим затаенным мукам и даже памяти о них пришел конец с наступлением звездного часа — когда ему, Шроттке, поручили командование дивизией. И хотя от дивизии, собственно, мало что осталось, Шроттке про себя

именовал свое воинство именно так. Но главное, чем он завладел, был, так сказать, «материал»: кое-какая техника, автоматическое и обычное оружие и, разумеется, подчиненные. Шроттке уже сладко замирал при мысли, что вот-вот перешагнет майорскую ступень, на которой изрядно задержался, так как, по мнению начальства, на большее, чем вдалбливание строевых приемов, не годился.

Теперь-то Шроттке кое-что значил. Он сам стал начальством. Все, кто с ним, повинуются его слову. И чем дольше держит их этот «котел», тем лучше. Внутри «котла» Шроттке познал упоение личной властью.

На его глазах был убит человек. Подчиненный ему офицер. Притом в суровый для Германии час! Этот капитан Зоннеберг, как сообщали осведомленные люди, тоже наломал дров, да еще как!

Балдуин Шроттке потянулся.

«Согласно приказу по армии старшие командиры обязаны без промедления создавать военно-полевой суд в тех случаях, когда боеспособности частей угрожает падение дисциплины, неповиновение старшим начальникам или открытый бунт. Военно-полевой суд призван самыми решительными мерами восстанавливать нарушенный порядок».

Шроттке бросил взгляд на усталое лицо пехотного лейтенанта, которого выбрал одним из членов суда. Вконец измученный ночным сражением, лейтенант примостился на складном стуле, молитвенно сложив руки. Другой член суда, офицер интендантской службы, носил левую руку на перевязи. Он был ранен осколком противотанковой гранаты. Ослабевшие мышцы лица делали его похожим на человека, еле сдерживающего слезы.

— Самое лучшее, что вы можете сделать, Крюгер, это чистосердечное признание,— прокартавил майор.— Так мы быстрее закончим дело.

— Мне не в чем признаваться.

Шроттке презрительно улыбнулся:

— Вы, конечно, будете отрицать, что имели намерение убить вашего командира из его личного пистолета.

— Так точно, господин майор. Капитан Зоннеберг сам приказал: «Застрелите меня». Но я отказался. Произошло самоубийство.

Те немногие солдаты, что стояли вокруг, разом заговорили, выражая согласие с его словами. Лейтенант тоже кивнул пару раз. Шроттке почувствовал, что в этом пункте он многого не добьется. Смерть Зоннеберга — не козырная карта. Но есть кое-что поважнее. Если взглянуть с политической точки зрения.

— Капитан Зоннеберг приказывал вам послать Ялецкого к Ивану, чтобы склонить к нападению на нашем участке. Есть целый ряд свидетелей. Что вы можете на это сказать?

— Снова невпопад,— ответил Крюгер.

«Всю эту историю надо сразу как-то отделить от Зоннеберга,— размышлял Шроттке.— Хотя капитан и не сделал ничего такого, что говорило бы о его подготовке к капитуляции, демонстративное самоубийство свидетельствует совсем не в его пользу».

— А мог бы поляк Ялецкий подтвердить правильность ваших слов? — вкрадчиво спросил Шроттке.

— Мог бы. Но Ялецкий пропал.

— Ага! Когда же он пропал?

— Когда я пытался добыть курево для капитана Зоннеберга.

— Куда же он подевался?

— Не знаю.

— Следовательно, он скрылся до того, как русские танки пошли в атаку.

— Да.

Торжествующим взглядом Шроттке окинул присутствующих.

— И вы не знаете, куда делся Ялецкий?

— Нет, господин майор.

— Ах какая наивность! Разумеется, он у Ивана. Вы же сами его туда послали.

Крюгер не очень уважительно, даже как-то свысока, посмотрел на майора.

— Если бы я захотел, мы бы вместе перебежали к русским. До них было два шага.

Шроттке почти смутился, но тут же вновь овладел собой.

— А в этом-то и вся хитрость вашей операции. Вы вернулись назад и разыгрываете из себя святую невинность. Но меня вам не провести, Крюгер. Вы имеете указание не покидать свой диверсантский пост до тех пор, пока большевистские хозяева не дадут сигнала уничтожить всю боевую группу! — грохотал майор.

— Недавно вы меня наградили Железным крестом первой степени! За получение особо ценных разведывательных данных и отвагу при выполнении боевого задания! А теперь я хожу в предателях?

Члены суда обеспокоенно заерзали. Интендант осуждающе покачал головой.

— Домыслы,— прошептал он.

Шроттке и сам понимал, что без всяких доказательств осудить унтер-офицера не удастся. Но ни при каких обстоятельствах он не мог допустить, чтобы Крюгер дешево отделался.

— Чем вы объясните тот факт, что перед началом наступления польские граждане покинули деревни и укрылись в лесах?

— Одно наше присутствие означало для них, что рано или поздно завяжутся бои.

— Вот ведь как все повернул! А начинать-то надо с другого конца. Ялецкий якшался с красными с той и с другой стороны. Через него-то поляки и получали информацию. Что вы теперь скажете?

Лейтенант громко высморкался, всем своим видом выказывая пренебрежение к казуистическим умозаключениям майора. Но Крюгеру от этого спокойнее не стало. Он чувствовал, что петля все туже затягивается вокруг его шеи, хотя только что уверенно отверг все предъявленные обвинения. Неужели Шроттке известно больше, чем он предполагал? Уж не доложил ли Зоннеберг, в то время как он таскал ему из огня папиросы, этому майору, что Крюгер склонял его прекратить бессмысленное сопротивление? А что, если так оно и есть и Шроттке бережет козырь для последнего удара? Значит, жить Хельмуту Крюгеру осталось считанные минуты.

Эта догадка настолько ошеломила унтер-офицера, что он не находил нужных слов и лишь беспомощно пожал плечами.

— Так я и думал, — ликовал майор. — Польский сброд чуёт поживу, и вы не исключаете этого.

Голос Шроттке вроде бы потеплел, в нем появились почти отеческие нотки.

— Посудите сами, Крюгер, вы оставили Вольтера, поскольку решили идти в компании с поляком. Если бы вы получше за ним смотрели и привели бы его назад, с вами сейчас произошло бы чудо, как... — Он не сразу нашел точное сравнение. — Да, как та мифическая птица, которая возрождается из пепла... Как ее там?..

— Феникс, — сказал лейтенант таким голосом, будто проводил сеанс гипноза.

Над холмом с воем пронеслись ракетные снаряды, выпущенные «катюшами», и совсем близко, за перелеском, раздались взрывы.

— Правильно, Феникс, — рассеянно подтвердил майор.

«Черт возьми, неужели опять начинается? Надо скорее проверить это дело. Доказательств вполне достаточно».

Он сделал знак членам суда и вместе с ними отошел шагов на десять для совещания. Замахав руками на стоявших поблизости любопытных солдат, Шроттке заставил их отойти на почтительное расстояние. Затем быстро заговорил о чем-то, обращаясь то к пехотинцу, то к интенданту.

«Судя по всему, они не могут договориться», — с надеждой подумал Крюгер. У него создавалось впечатление, что члены суда были за него: уж очень размашисто жестикулировал Шроттке, правая рука гневно рубила воздух. Большим пальцем майор тыкал в пехотинца, указательным — в интенданта, потом в ход пошла вся пятерня. Он явно навязывал им свою версию. Крюгеру не удалось слышать ни единого слова, но он понял, что майор своего добился. Оба офицера устало кивали, их виноватые взгляды скользили мимо всемогущего начальника.

Крюгер покрылся холодным потом, когда все трое стали медленно приближаться к нему. Преисполненный величия майор Балдуин Шроттке принял картинную позу:

— Именем нации военно-полевой суд выносит следующий приговор.

Первое. С обвиняемого унтер-офицера Крюгера снимается подозрение в убийстве своего командира.

Второе. Несмотря на то что суду не удалось представить Крюгеру доказательств его вины в том, что он направил поляка Яна Ялецкого к большевикам для передачи сведений о местонахождении немецкого противотанкового дивизиона, он, Крюгер, подозревается в этом деянии.

Третье. Обвиняемый намеренно отстранил от участия в разведывательной операции унтер-офицера Вольтера с целью способствовать бегству Ялецкого или предоставить ему такую возможность. Военно-полевой суд считает установленным, что поляк выполнял задания большевиков, направленные на уничтожение нашей боевой группы.

Таким образом, Крюгер виновен в грубом нарушении долга бдительного надзора за неполноценным в расовом отношении субъектом. Принимая во внимание безупречное поведение Крюгера до совершения указанного преступления, он приговаривается лишь к одному году пребывания в штрафных подразделениях. Срок наказания следует отсчитывать с момента, когда боевая группа Шроттке окончательно закрепится на территории к востоку от Одера.

Четвертое. На диверсионную акцию, совершенную поляком, военно-полевой суд считает необходимым ответить казнью двадцати польских заложников.

Лицо интенданта исказилось гримасой боли, он попросил разрешения уйти. Вконец утомленный пехотинец зев-

Шроттке повернулся к Крюгеру, губы растянулись в злорадной улыбке.

— Я понимаю ваше разочарование. Понадеялись на Ялецкого, а он вас под трибунал подвел. Чтобы дать выход вашему негодованию, разрешаю вам принять участие в расстреле. Вы войдете в состав команды, осуществляющей приговор.

Зычным голосом Шроттке начал наставлять солдат, отряженных для карательных целей. Он внушал, что долг перед Германией повелевает им мстить за предательство и танковую атаку.

— Здоровое чувство справедливости,— вещал он,— требует показательного акта возмездия. Чтобы не отвлекать боевую группу от больших стратегических задач, суд вынес решение ограничиться расстрелом двадцати поляков, настал их черед понести заслуженную кару.

Майор расхаживал перед строем.

«...Разрешаю вам принять участие в карательной акции»,— резкий голос Шроттке еще звучал в ушах Крюгера, когда тот с унтер-офицером Вольтером сидел на оттаявшем бугорке под сосной.

— Я просто не смог бы участвовать во вчерашней вылазке,— сказал Вольтер.— Майор знает, я говорил. А он только отмахнулся, дескать, теперь это не в счет.

— Я верю.

Оба замолчали. Крюгер был совершенно подавлен. Подозрение в предательстве тяготило его. Неужели нельзя развеять этот поклев хотя бы в глазах товарищей? Но куда хуже было другое: двадцать поляков обречены на расстрел! «Радн чего Шроттке все это затеял? — ломал голову Крюгер. — Чтобы дать волю своей ненависти? Насладиться властью? Но это же бессмысленно — мы сами на волоске от гибели. Если Ялецкий дал тягу, то при чем тут заложники — люди, схваченные без всякого разбора. Майор заставляет меня стрелять по невинным...— У Крюгера заныло сердце.— Может, попробовать упросить Шроттке — уж обойдитесь как-нибудь без меня. Нет, это только усилит подозрения...»

Лагерь пришел в движение. Со всех сторон небольшими группками сгонялись бедно одетые люди. Главным образом женщины, старики и подростки. Их вывели на прогалину, где капитан Зоннеберг успел на скорую руку оборудовать позиции.

Старшим в команде Шроттке назначил пехотного лейтенанта.

На правом фланге поставил Крюгера с чужим карабином в руках. Слева от него стояли девять солдат, принужденных делать то, что до них перепробовали тысячи других.

Лейтенант сортировал приговоренных. Избегая военных команд, он поставил людей в две шеренги. Тех, кто меньше ростом, — в первую. Майор Шроттке расхаживал поодаль. Судя по физиономии, роль карающего судьи увлекала его. Он ждал исполнения лично им вынесенного приговора. Задержался взглядом на Крюгере. Кисло посмотрел на лейтенанта, который, на его взгляд, имел недостаточно подтянутый вид.

— Смирно!

Поляки крепко взялись за руки. Один из них, совсем еще мальчуган, начал вдруг плакать. Его хлопали по плечу, что-то горячо говорили на своем языке. Он умолк, но по лицу все еще текли слезы.

— Целься!

Тут Крюгер не выдержал. Он покинул строй и подбежал к Шроттке:

— Это же убийство, господин майор! Не могу я стрелять в невиновных.

Стволы карабинов опустились. Строй нарушился. Солдаты сбились в кучу, голоса смешались.

— Сами можете убедиться, Крюгер, как подействовал на вас мой психологический массаж, — ледяным тоном сказал майор. — Разумеется, вы не можете стрелять в своих красных друзей. Что и требовалось доказать!

Унтер-офицера душила ярость. «Шроттке, свинья паршивая!» Крюгер уже не мог и не хотел уступать.

— Неужто вам не понятно, что, убив столько поляков, — крикнул он, — вы только ускорите нападение русских! Они в любой момент могут сюда нагрянуть и будут гнать и давить нас, как тараканов!

Пехотный лейтенант побелел, услышав эти слова. Ему уже мерещился новый огневой удар, вот-вот над головами засвистят ракеты. А это будет уже посерьезнее, чем выяснение отношений между разгневанным унтером и толстым Шроттке. Чтобы поскорее прекратить перепалку, он поспешил в их сторону. Но тут уже закричал майор:

— Именем нации выносятся новый приговор: унтер-офицера Крюгера за невыполнение приказа и активное пособничество врагу подвергнуть смертной казни! Приговор привести в исполнение немедленно! — Он сорвал погоны с шинели Крюгера.

— Дай сюда свою трещотку,— сказал лейтенант.

Крюгер молча отдал карабин. Его втокнули в первую шеренгу поляков.

Разжалованный унтер-офицер оказался рядом со стариком. Крюгер держал его рукой за пальто, а тот ухватился за поясной ремень немца. Среди множества мыслей, мелькнувших тогда в голове Хельмута, настойчиво повторялась одна: «Если война унесет хотя бы на двух-трех человек меньше, это уже большое дело. Я никогда не стрелял в безоружных и сегодня не пойду на это».

— Смирно! — еще раз скомандовал лейтенант.

Крюгер стиснул зубы.

— Целься!

Хельмут увидел, как солдаты шевельнулись, не очень стройно взмахнув стволами. Сейчас, спустя мгновение, из черных отверстий брызнет смерть. Он прикрыл глаза. Лучше умереть вместе с поляками, чем быть среди палачей.

— Огонь!

Первую шеренгу опрокинуло огнем. Крюгер почувствовал, как его тоже рывком бросило на землю. Рядом с ним слышались стоны и предсмертный хрип. Потом все стихло.

— Перезаряжай!

Лейтенант вдруг резко повернулся лицом на восток.

— В укрытие!

Рокот моторов усиливался с каждой секундой.

— Сталинский фейерверк! «Катюши»! — крикнул майор.

Его ноги отказывались повиноваться. Снаряды рвались совсем близко, деревья потонули в дыму, слышались крики раненых. Мглистый воздух распарывали ракеты нового залпа. Русские били по укреплениям к северу от перелеска. По запорошенной снегом земле растекалось широкое темно-рыжее облако.

Такой момент упускать нельзя. Поляки из второй шеренги — женщины и дети — быстро отползли в сторону и вскоре исчезли за деревьями. Команда, назначенная для исполнения приговора, уже не обращала на это внимания. Каждый думал только о том, как получше укрыться. Даже майор Шроттке образцово распластался на снегу, опасаясь лишний раз поднять голову.

«Так, значит, это смерть,— подумал Крюгер,— где же меня зацепило? Ведь должна быть боль!» А боли он не чувствовал. Рука старика по-прежнему держалась за его ремень. Глаза уже потухли. На груди бугорками густеющей крови обозначились три раны...

Внезапно огонь оборвался, и на испещренном воронками поле протяжно и мощно запели танковые моторы.

С неуклюжей поспешностью майор Шроттке встал на ноги и бросился прочь. Сейчас он хотел одного — как можно дальше убежать от этого места, от расстрелянных им людей, от расплаты за все, что совершил за годы войны.

Рядовой 2-й Польской армии Зенон Майерович и сержант гвардейских частей маршала Жукова Федор Чадаев почти одновременно вышли к месту недавней расправы. Четверо из поляков передней шеренги остались в живых. Трое получили тяжелые ранения. Им была оказана первая помощь.

Потом солдаты увидели человека в вермахтовской униформе, ремень которого сжимала рука мертвого старика.

— Это ваш палач? — спросил по-русски Чадаев у пожилого человека, чудом избежавшего пули, и взял наперевес свой автомат.

Поляк сразу понял, о чем идет речь, и, размахивая руками, торопливо пытался убедить сержанта в обратном. Он отвел ствол в сторону, потом указал на валявшиеся поблизости погоны Крюгера.

— Капрала приговорили к смерти! Он не хотел стрелять!

Поляк подошел к Крюгеру, присел рядом и похлопал его по плечу. Из глаз поляка по небритым щекам катились слезы.

— Ду никс капут? ¹ — спросил Чадаев у Крюгера, осторожно ощупывая его шинель.

Хельмут постепенно приходил в себя. Его жизнь спасена. Неужели эти парни из «команды» не могли понять, на какую гнусность их толкали «именем нации».

Зенон Майерович и Федор Чадаев помогли растерявшемуся немцу встать на ноги. Потом русский показал рукой на подножие холма. Туда стекались люди в серых вермахтовских шинелях, группами и в одиночку. Они шли с поднятыми руками. Крюгер узнал нескольких бывших товарищей, среди них — унтер-офицера Вольтера, который панически боялся русских. Увидел и лейтенанта, взявшегося исполнять приказ, и яркую повязку офицера интендантской службы, был там и адъютант командира дивизиона в кожаной куртке мотоциклиста с сорванными погонами.

Все они кое-как построились в колонну и устало двинулись на восток, охраняемые лишь тремя автоматчиками. Но сколько бы Крюгер ни вглядывался в этот серый поток, майора Балдуина Шроттке увидеть ему не удалось.

¹ Тебя не ранило?

— Ну всё. Нет больше вашей «боевой группы», — сказал Чадаев. — Чего же раньше-то не сдались? Меньше было бы крови.

Крюгер пожал плечами. Он взялся за лопату и начал копать могилу для убитых поляков.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Незадолго до десяти вечера маршевая музыка резко оборвалась. Оба одновременно посмотрели на потрескивающий репродуктор.

«Внимание! Внимание! Объявляем воздушную тревогу».

Голос звучал настолько бесстрастно, как будто говорящий хотел создать впечатление, что никакого отношения к существу информации он не имеет.

«...Крупные силы противника вторглись в воздушное пространство северо-западной Германии, их авангард угрожает населенным пунктам на линии Ганновер — Брауншвейг. Повторяю...»

Снова музыка. Марш Бетховена.

На лицо мужчины набежала серая тень, резче обозначились морщины вокруг глаз, уголки рта опустились. Ноги окаменели, и не очень уверенным шагом он пошел в спальню, поднял с кровати Энну, свою двухлетнюю дочь, начал бормотать ей какие-то утешительные слова.

Динамик тревожно и шершаво затикал.

«Внимание! Внимание! Противник продолжает наступление, ожидается воздушный налет на Берлин. Для северных районов объявляется тревога!»

Хельга Зайдель бережно завернула ребенка в одеяло. Муж уже держал наготове кое-что из вещей. На лестнице — суэта и грохот. Бесперывно хлопали двери. Казалось, что в доме хозяйничает небывалый сквозняк. Крепко прижимая к себе ребенка, женщина почти неслась вниз по ступеням.

Из сумрачного пространства двора раздался чей-то гневный окрик:

— Свет! Свет гасите!

Снова заговорил репродуктор. Теперь уже торопливо и не так бесстрастно. Герберт Зайдель задержался, чтобы дослушать очередное сообщение: «...достиг северной окраины и пересек городскую черту...»

Герберт выключил радио и бросился вниз. Он остановился у входа в подвал, возле двери виднелась фигура Мюллера, смотрителя бомбоубежища.

Горизонт озарялся красными сполохами. Через несколько секунд послышался грохот, напоминающий грозовые раскаты. Зенитные батареи обстреливали ночное небо. Густыми зелеными гроздьями зависали шары ракет, они резко и вразнобой вспыхивали, оставляя за собой длинные шлейфы. Эти вспышки с беспощадной ясностью открывали пространство, ставшее объектом уничтожения.

— Глядите лучше вниз, Зайдель.

В подвале уши могли отдохнуть: грохот звучал приглушенно, как будто проходил сквозь вату. Время от времени можно было расслышать притупленный звук взрыва, звон разбитого стекла, ощущалось содрогание влажного грунта.

Хельга вдруг заметила, что ее бьет дрожь. Шел уже шестой год войны. Каждая ночь, проведенная в бомбоубежище, была страшнее прежней. На лицах все отчетливее проступал страх. Прежде всего — у стариков и рабочих военных заводов. То один, то другой в изнеможении закрывал глаза. Ожидание превращалось в бездумную дремоту сознания. А вась и на этот раз пронесет. А что будет с теми, кто не сумел спрятаться?

Сквозь стены пробился протяжный вой сирены. Отбой. Люди вздрогнули. Но чувство облегчения приходило не сразу. В безлунном небе удалялся и таял гул моторов. Из потемок подвального коридора все устремились на лестницу. Помятые и озябшие, возвращались в свои квартиры, чтобы через час-другой снова забиться в подполье. И уж тогда придется посидеть подольше. Днем бомбят американцы, ночью — англичане...

— Я так боюсь, что в этом сыром подвале Энна подхватит какую-нибудь болезнь, — сказала Хельга, поднимаясь по лестнице. Ее бледное, с тонкими чертами лицо подернулось паутиной морщин. За окнами заметно светлело.

— Ложиться уже не стоит.

Герберт Зайдель поцеловал жену и вышел из дома. Они жили недалеко от Мюггельзее¹. Добираться на работу было не так-то просто. Наверняка трамвайные пути снова разворочены взрывами. До восхода солнца вряд ли начнут бомбить.

Сквозь прозрачный кусок окна спальни, заклеенного картоном, можно было увидеть густые клубы светлого дыма. Хельга неслышно поднялась с кровати. Прислушалась. Энна все еще крепко спала. 15 апреля 1945 года. Ровно три года назад у себя в клинике она встретила Герберта.

¹ Озеро в юго-восточной части Берлина.

Шрамы, оставшиеся после заводской аварии, она просто не замечала. С первого взгляда ее потянуло к этому скромному и милому человеку. Через несколько месяцев они решили пожениться.

— У нас будет семья,— повсюду повторял Герберт, сияя счастливой улыбкой.

Его отец погиб в 1918 году, во время отступления, на земле Франции. Мать умерла в тридцать пятом, вскоре после того, как перенесла тяжелую операцию.

Родители Хельги жили в Шварцвальде. Отец, довольно крупный чиновник, из-за болезни желудка раньше срока вышел на пенсию. Столичная жизнь, над которой к тому же нависла угроза постоянных бомбардировок, не прельщала его. Он предпочел поселиться в более спокойном и живописном уголке Германии.

Хельга пожелала остаться в Берлине. Надо было завершить обучение, чтобы стать медицинской сестрой. С этого начался конфликт с отцом, приведший чуть ли не к разрыву. При клинике нашлась маленькая комната, которую она делила с одной лаборанткой. Была крыша над головой, было казенное питание. На большее она и не рассчитывала, посвятив себя учебе и уходу за больными.

Потом встретила Герберта. Им казалось, что самой судьбой они предназначены друг для друга. Герберт добился определенных успехов на профессиональной стезе и получил место конструктора. У него была небольшая квартира в Лихтенберге. Там они узнали, что такое счастье. Родители были приглашены в Берлин на свадьбу. От отца веяло ледяным холодом. Его уязвило достаточно скромное общественное положение мужа его дочери.

И снова был апрель. У нее начались родовые схватки, на десять дней раньше срока. О том, чтобы попасть в больницу, уже нечего было и думать. В то время как акушерка спасала новую жизнь, за окном уже зловеще завывала сирена, и этот вой катился по всей Франкфуртер-аллее на восток.

Энне было два часа от роду, когда начался очередной налет и пятиэтажный доходный дом занялся пожаром. Они бежали к станции метро «Лихтенберг». Это была адская ночь, все вокруг содрогалось и рушилось. Спасаясь от взрыва, Хельга и Герберт потеряли друг друга. У нее по ногам текла кровь. Прижимая спеленутого ребенка к ноющей груди, она даже не пыталась сдерживать стоны. Но все-таки добежала.

Под утро пришел Герберт. На голове — повязка. То, что матери с ребенком удалось уберечься от шквала огня, ка-

302 залось ему чудом. Крошечная нежная девчушка... Акушерки уже не было в живых, ее убило обломившейся балкой.

Все имущество Зайделей составляли теперь те обгорелые вещи, в которые они были одеты. Эта полная ужасов ночь надломил Хельгу. Здоровье уже не позволяло ей выполнять свои профессиональные обязанности. Да и не могла она разлучиться с ребенком хотя бы на час. Случай подарил им квартиру близ Мюггельзее. Родители сделали широкий жест, отдав мебель из своего старого дома, которая давно уже пылилась на складе. Время от времени посылали кое-какие продукты для внучки.

Зайделя несколько раз вызывали на медицинскую комиссию, но годным к военной службе все-таки не признали. Из-за болезни глаз и учитывая характер работы — он был занят в авиационной промышленности, — давали некоторую отсрочку. Но возможность оказаться в редущих рядах защитников рейха, подставить себя в качестве «пушечного мяса» приводила Герберта в ужас. Кто же в этом полуразрушенном городе будет защищать больную Хельгу и ребенка?

Чем стремительнее приближался тот час, когда война вступит сюда, на улицы города, где была подготовлена и зажжена, тем сильнее Хельга пуждалась в муже, тем сильнее боялась потерять его.

Вот и в то утро, 16 апреля, она как бы по инерции занялась хозяйственными делами, немного поиграла с дочкой и снова опустила руки, думая о самом страшном. Металлический голос из репродуктора: «Люди, которым грозит участь оказаться в руках большевиков, обречены на жестокие муки. Глумление вражеской солдатни над женщинами и детьми не описать словами... Пошады не знают даже младенцы, умирающие от пыток... Никакая ночная бомбардировка не сравнится с тем, что ожидает каждого, кто не будет до последней капли крови сражаться за фюрера и великую Германию...»

У Хельги оборвалось сердце. Ее годами убеждали в звериной жестокости неприятеля. Она чувствовала, что для сопротивления нет больше сил, и с нескрываемой скорбью смотрела на свою Энну: лучащиеся доверием глаза, забавная белесая макушка, красивые пухлые губки. Как часто, измученная кошмарными снами, она в испарине просыпалась и смотрела на ребенка. Даже средь бела дня ее преследовало жуткое видение: грубые, узловатые ручищи хватают Энну, приставляют к детскому затылку дуло пистолета.

Смотритель бомбоубежища Мюллер, участник первой мировой войны, и его жена фрау Мюллер только что при-

ехали на велосипедах из своего маленького садового хозяйства в Ханнельсберге. Он принес новость: рано по утрам где-то часов с пяти со стороны Одера слышится беспрерывный шум моторов.

— Просто наши держат там оборону,— сказала фрау Мюллер.

Муж на это ничего не ответил.

Хельга все еще не могла не слушать радио. Она пыталась как-то просеять бодрые заверения в успешном отражении противника и брызжущие яростью реляции из «временно занятых врагом областей» и составить представление об истинном положении дел.

Возвращение Герберта с работы каждый раз было для нее настоящим избавлением. Обнимая мужа, она боялась разжать руки и не отпускала его целые минуты. Но как только всматривалась в утомленное лицо, как только замечала настороженный взгляд в сторону прихожей, где они складывали корреспонденцию, на нее снова обрушивался страх. Герберт ждал повестки со штампом «Управление военного округа». Хельга не хотела причинять беспокойства мужу и омрачать своими тревогами те недолгие часы, когда он находился рядом. Она умела скрывать свои чувства.

Ночами они молча лежали в постоянном ожидании сирены, которая стала уже обычной приметой быта последних недель. Они по-прежнему любили друг друга, но любовь их стала как-то тусклее, не было полной откровенности, приходилось таить мысли о том, чего боялись больше всего на свете.

По утрам — солодовый кофе, несколько ломтиков хлеба с мармеладом и снова разлука до вечера. Изнурительная беготня вниз и вверх по лестнице, из холодной квартиры в затхлый подвал и обратно.

17 апреля случилось то, чего она так страшилась и все-таки не ожидала: явился местный функционер национал-социалистической партии.

— Значит, так, фрау Зайдель. Примите мобилизационное предписание.

Хельга стояла как пригвожденная, не могла сделать ни шага. Мужчина прикоснулся к своему значку со свастикой:

— Большинство давно уже на полях сражений.

В голосе и казенный апломб, и участливое внимание соседа. Он протянул ей конверт.

— Вот уж действительно исключение. Просто счастливый случай! — Что-то похожее на улыбку. — Ваш муж остается в Берлине! В инженерных войсках. Наверняка где-

304 нибудь при штабе — с его-то каллиграфическими способностями лучше не придумашь. Еженедельный отпуск. Дополнительные карточки на питание. Двойная порция сигарет и прочее.

Хельга не заметила, как человек вышел на лестницу. Она рассеянно смотрела на бумагу. Ее муж остается в Берлине... Еженедельный отпуск... Может быть, все не так уж плохо...

Герберт, казалось, предчувствовал, что сегодня дома его ждет повестка. Он лишь слегка побледнел, когда взял в руки листок казенной бумаги. Хельге так хотелось верить. Глядя на нее, он тоже чуть повеселел. Вдруг и в самом деле все сложится благополучно.

Потом наступил вечер.

— Ты должен сразу же написать, где ты и что с тобой.

— А ты береги свое здоровье, Хельга.

— Мы с Энной будем тебя навещать... как можно чаще...

— Смотри за нашей Энной!

Последние слова прозвучали как завещание, снова тревога сдавила сердце.

Прошло три дня. Почтальон уже издалека отрицательно качал головой. И это было равносильно крушению. Она оказалась как бы в пустом пространстве, не сулящем никакой надежды.

21 апреля Хельга уже не могла усидеть дома. Решила идти в управление округа, чтобы получить хоть какие-то сведения о муже. Энну оставила у фрау Мюллер. Бежала до станции метро «Фридрихсхаген». Контролерша спросила:

— А у вас есть спецпропуск?

— Спецпропуск?

— Да. С сегодняшнего дня пользоваться поездами разрешено только сотрудникам аппарата вермахта, военнослужащим частей СС и тем, кто работает на оружейных заводах.

На улицу вышла совершенно оглушенной. Ей даже не пришлось в голову спрашивать или искать совета.

Вдоль Фюрстенвальдской дамбы в город тянулся поток беженцев. На повозках и ручных тележках они везли остатки уцелевшего имущества. Маленькие дети с испуганными лицами прятались в соломе, прикрывающей пожитки, или покачивались на руках матерей. Многие плакали.

«Смотри за нашей Энной...» Один из этих несчастных малышей так похож на нее. Ты должна сделать для нее

все возможное. Помнишь письмо родителей, за два дня до рождества? Они просили, нет просто требовали, чтобы ты с Энной переехала в Шварцвальд. Там-то наверняка никаких бомбежек. И Энна была бы уже в безопасности.

Хельга с отсутствующим видом смотрела на проезжавших мимо беженцев.

«...Я утаила это письмо от Герберта. С моей стороны было бы предательством оставить его здесь одного. Теперь каждый обречен на такое одиночество. А нацист все наврал. Ему так поручили. Какая подлая ложь...»

Прибежав домой, первым делом бросилась к репродуктору.

«Информация вермахта от двадцать первого апреля. В боях под Берлином наши доблестные дивизии добились полного успеха в отражении противника по обе стороны Франкфурта и с помощью контратаки вернулись к прежней линии обороны. В Мюнхенберге и Врицене положение обострилось. Несмотря на стойкое сопротивление наших войск, вражеские силы, хорошо оснащенные танками, сумели продвинуться из района Мюнхенберга далее на юго-восток и юг до Темпельберга и Бухгольца».

И все-таки Хельга еще на что-то надеялась, силилась успокоить себя... Врицен, Мюнхенберг, Бухголец — все это так далеко. Может, еще обернется к лучшему? Может, в последний момент наступит перемирие?

Еще до восхода солнца вой сирены снова загнал ее в подвал. Вскоре там появился знакомый всему дому нацист. Он объявил, что завтра в семь утра всем неработающим надо собраться у конечной остановки трамвая для рытья окопов. Кроме того, школьники, члены гитлерюгенда и даже лица, занятые в военной промышленности, должны иметь в виду: в ближайшие дни они могут оказаться в рядах фольксштурма, ожидается дополнительный призыв. Он предупредил также, что регулярный выход газет, а стало быть, своевременное поступление официальных сообщений сейчас гарантировать нельзя.

Нацист ушел. На лицах жильцов застыло выражение тупой отрешенности. Хельга посмотрела на Мюллера. Ей показалось, что на фоне всеобщей усталости и безразличия его глаза отличаются какой-то осмысленностью, смотрят так, словно он пытается разгадать будущее.

Вечером старик подсел к ней:

— Что слышно о вашем муже?

Хельга молча покачала головой. Понизив голос, он сказал:

— Теперь уже недолго.

— Со вчерашнего дня я не слушала радио.

— Бои идут в Лихтенберге, Нидершёнхаузене и Фронау. Это уж совсем не дальние подступы.

Вздрыгнув всем телом, старик зашелся долгим, мучительным кашлем.

«Мне уже все равно,— думала Хельга.— Надеяться больше не на что. Герберт не вернется».

Старый Бенедикт заговорил снова:

— Вокзал опять под обстрелом.— Голос Мюллера дрожал.

«Вокзал? Это же в четырех километрах отсюда, чуть западнее нашего дома! Мы ждали русских с востока, а они уже за спиной. В центре города!»

Бенедикт забормотал молитвы. Потом простодушно приснул:

— Остается только верить!

Фрау Мюллер полистала какую-то затрепанную брошюрку и начала читать:

— «На тех, кто не являет собой образца германской верности и не сражается до победного конца, ложится доля вины за то, что часть нашей нации...»

Хельга закрыла глаза. Неужели они обречены? Неужели ей придется увидеть смерть собственного ребенка, которого будут топить, как щенка? Или расстреливать? От этой мысли ее бросило в холод. Но делиться горем не хотелось ни с кем, даже с решительной фрау Мюллер.

В подвалах слышали отдаленный лязг гусениц, стук колес, цоканье бесчисленных копыт. Помещение показалось устрашающе тесным. С маленькой Энной на руках она побежала вверх по лестнице. Оказавшись на улице, быстро свернула за угол. Фюрстенвальдская дамба. Вдоль нее нескончаемый человеческий поток. Какая-то сила толкнула Хельгу навстречу толпе, катящейся в задымленный город. Раздвигая серую массу, тесня друг друга, двигались грузовики, самоходные артиллерийские установки, легковые автомобили, тягачи, минометы, обозные подводы, санитарные фургоны, машины с боеприпасами, вездеходы, саперная техника, конники, велосипедисты, гурты скота, опять артиллерия и все новые толпы.

Люди, захваченные этим безостановочным движением, бросали растерянные взгляды на тех, кто стоял на улице... Прочь, скорее прочь отсюда. Беженцы беспомощно пожимали плечами, вероятно сожалея о том, что не могут разорвать серые цепи странной торопливой процессии. Нежная

ткань морозящего дождя саваном ложилась на это печальное зрелище. Иногда раздавались взрывы какого-то животного смеха и звон разбитых о мостовую бутылок. Все это неудержимо несло мимо, тяжело дыша и грубо пробивая себе дорогу...

В больших глазах ребенка отражалось непрерывное мельтешение. Мать не могла сойти с места. Она долго стояла под холодным дождем, и ей стало казаться, что перед ней проползает само крушение, сама неизбежность конца.

Сероватую мглу распарывали военные самолеты. На крыльях обжигаяще алели пятиконечные звезды. Под ними — обезумевшие колонны. Вместе с другими людьми Хельга бросилась в ближайший подъезд. Это еще не конец. Сколько может длиться это безумие?..

Потом колонны стали редеть. Образовались зияющие разрывы. Наконец поток прекратился совсем. На дороге еще появлялись отдельные танки. Они ненадолго останавливались, чтобы создать хоть какую-то видимость защиты, и снова, ревя моторами, шли в направлении всеобщего отступления.

Улица совершенно опустела. Впечатление полной необитаемости. Тишина, от которой закладывало уши, таила в себе нечто зловещее. Последние из тех, кто оставался на улице, испуганно озираясь, кинулись искать укрытия. Хельга побрела в подвал, плотно прижимая к себе детское тельце. Теперь она знала, что ей делать. Оставался лишь этот единственный путь. Только в подвале могла она найти покой и защиту. Бледные лица вопрошающе повернулись в ее сторону. Она опустила голову.

Но тут вдруг все почувствовали резкий толчок. Бомбы! От ударной волны вздрагивал пол, с треском шаталось все здание. С потолка летели куски бетона, извести, гипса. Следующий взрыв был уже отдаленным. Потом бомбежка прекратилась.

С лестницы чуть не кубарем скатился Мюллер.

— Я своими глазами видел! Нас накрыли наши же самолеты! — вопил старик, задыхаясь от волнения. — Глядите, люди добрые, как с нами обходятся бонзы. Кто мы для них? Отработанное сырье! Отходы истории!

Хельга с ребенком стала подниматься наверх, в квартиру. Машинально читала фамилии на дверных табличках. Второй этаж. В стене зияла дыра. Несколько месяцев назад здесь был потревожен неразорвавшийся снаряд. Следующий этаж. Ноги подкашивались от усталости.

Вот наконец они и дома. Она распахнула сколоченные из досок ставни. Здания напротив казались нежилыми, во-

308 круг — никаких признаков привычной жизни. Разве что соседи с ведрами. Да хлюпающие поршнями насосы. Повсюду уже обозначились яркие пятна цветников. Кусты и деревья уже начали зеленеть. Еще несколько дней — и распустится сирень.

Но над жизнью, доверчиво раскрывшейся навстречу будущему, простерлись крылья бомбардировщиков, мелькающих в прорехах облаков к западу от их дома. Смерть грозила оттуда.

Хельга еще раз все взвесила. Нет, нельзя отдавать Энну надвигающейся беде. Надо быть вместе. Она уйдет из жизни вместе с ребенком... Но снова встал раздирающий душу вопрос: имеет ли человек право распоряжаться жизнью другого? Она была уверена, что Энне грозит мучительная смерть, но могла ли она отвести эту смерть, отдавая ребенку свою любовь до последнего вздоха?

А Герберт? Почему она не поставила перед ним вопрос: что мне делать, когда положение станет совсем безнадежным? Теперь уже поздно. Герберт никогда не вернется. А разве не смогли бы они счастливо прожить еще хотя бы несколько лет?

Вдруг она заметила фигуры... какого-то землистого цвета. Они двигались через сады. Это были красноармейцы. Видимо, они не очень-то заботились о маскировке — не ожидали здесь особого сопротивления.

В ее распоряжении оставались считанные минуты. Глядя на безмятежно играющую дочку, она всеми силами старалась удержать слезы. Яд должен действовать быстро, не причиняя боли. Его хватит на двоих. Как хорошо, что она всегда носила его с собой. С тех пор, как в конце сорок второго года в здание клиники попала бомба. В полуразрушенном операционном зале она наткнулась на разнесенный в щепки шкаф, где хранились ампулы.

Дальше действовала как во сне.

— Энна, поди-ка сюда. На, выпей из бутылочки! Радостно сверкнув глазами, девочка подползла к ней.

— Мама!

— Мы вместе...

Еще раз, как бы ища спасения, скользнула взглядом по комнате. Нет, терять нельзя ни секунды.

Вдалеке раздавались редкие пушечные выстрелы. А на берегу озера палили многоствольные орудия, каждый залп сопровождался душераздирающим воем.

Дрожащими руками Хельга держала перед лицом девочки бутылку с молоком. Та обхватила ее своими ручонками и жадно пила. Белый порошок не имел вкуса.

· Не раздевая, положила ребенка в кровать.

— Теперь спи, моя любимая... Спи глубоко-глубоко...

Она постаралась придать голосу легкую, бестревожную интонацию.

— Потом все будет прекрасно.

Голубые глаза маленькой Энны медленно закрывались, точно и в самом деле она впадала в глубокий сон.

«Все-таки она видела солнце. Как я и обещала ей в ту страшную ночь, когда она появилась на свет,— думала Хельга.— А я видела солнце в ее глазах, как обещала себе...»

Пальцы плохо повиновались. В стакане — остаток порошка. Какая-то часть просыпалась на пол. Торопливыми глотками она осушила стакан. Но боль за страшную участь любимого ребенка отгоняла смертельный сон. Тогда она взяла перочинный нож и, плотно сжав губы, полоснула себе по запястью. Закапала кровь. Комната поплыла и закружилась... Нельзя надолго отставать от Энны... Теплая влага стекала в ладонь. Лицо Энны было прекрасным, как никогда прежде. Мать тяжело опустилась на колени возле кровати. В глазах ребенка стояла ночь...

Когда Хельга открыла веки, она увидела перед собой бородатое лицо, изборожденное множеством морщин. Губами ощутила прикосновение металлического предмета, рот обожгло какой-то жидкостью. Рядом с бородатым появился еще один мужчина. Говорили на чужом, непонятном языке. Русские! Лица наплывали друг на друга, сливались в одно.

Что-то случилось с левой рукой... Не успела она подумать об этом, как почувствовала под собой мягкую шуршащую солому. Мерный шаг лошади действовал как снотворное. Ею овладевало какое-то неправдоподобное равнодушие. Наверху — полоска светло-голубого неба, по сторонам — крыши невысоких домов. Она медленно повернула голову. Сквозь кружево веток, опущенных нежной листвой, серебристо просвечивало озеро. Потом все это покачнулось, замельтешило, обратилось в мутную круговерть.

— Она без сознания,— сказал бородатый.

— Много крови потеряла,— подтвердил второй.

Он внимательно разглядывал немку, удивляясь тому, что не чувствует ненависти... Бить фашистов!.. Само собой разумеется. Но женщина, на коленях склонившаяся над мертвым ребенком?.. У крохотной девчушки такое спокойное, умиротворенное лицо. Ясное дело, мать хотела после-

310 довать за ребенком. Иначе бы не пыталась вскрыть себе вены. Тут драма человеческая!

Хельга испуганно вздрогнула. «Что со мной? Боже, почему яд не действует? Порошка было меньше половины», — смутно припоминала она. Взгляд скользнул по левой руке. Она была туго перебинтована... «Куда едет эта повозка? Они увозят меня от ребенка...» Глубокая боль заглушила все мысли... Пусть будет так, как назначено судьбой. Противиться уже бесполезно...

Повсюду красные кресты. Повозка остановилась... Носилки.

Женщина-врач осторожно сняла повязку и внимательно осмотрела рану.

— Нож не задел артерию.

Потом приподняла у раненой веки и долго светила карманным фонариком.

— Энна, моя бедная маленькая Энна, — стонала Хельга. Из глаз катились слезы. Голову сдавило невыносимой болью. Она хотела сбросить эту непонятную тяжесть, но нервная лихорадка отняла последние силы...

Цветные пятна стали принимать четкие очертания. И каждый раз, как она открывала глаза, становились все яснее. Она окинула взглядом просторное помещение, в котором стояло около дюжины коек. На стене — яркий четырехугольник солнечного света. Из больших окон видна сверкающая гладь озера.

Две фигуры в белом приблизились к ее кровати.

— Вы были тяжело больны, фрау Зайдель. Но теперь это уже дело прошлое. — Голос звучал так, что ему хотелось верить.

Хельга могла только шептать. Язык и губы были точно деревянные.

Доктор Кёрнер сказал, что война кончилась и уже не будет столько смертей. Врачи Красной Армии сделали все, чтобы Хельга вернулась к жизни. А теперь здесь, в этом госпитале, позаботятся об окончательном выздоровлении.

В это время в коридоре раздался детский плач. И тут же лопнула тонкая оболочка покоя и отрешенности. Хельге чудилось, что она видит глаза Энны, эти доверчивые глаза. Откуда-то издалека доносится резкий, как удар бича, крик:

— Убийца! Убила своего же ребенка, а сама живет! Да еще хочет, чтоб ее выхаживали!

Больная рывком приподнялась на постели.

— Энна!

— Знаю,— сказал врач.— Ваша соседка была у нас. Я имею в виду фрау Мюллер. Она, как видно, всегда готова помочь. Прошу вас верить мне: многие поступили так же, как вы. От страха, отчаяния, неизвестности. Но это все позади. Оставьте всякую мысль о бегстве. Недалек тот день, когда вернется ваш муж. Вы нужны ему.

«Недалек тот день, когда вернется ваш муж» — даже эта фраза отзывалась в ней душевной болью. Для Герберта все самое дорогое и радостное воплощалось в Энне. «Господи, что я наделала...»

И опять навалилась тупая дремотная тяжесть. Распадалась связь вещей и событий. Эта белоснежная кровать. Хлопочущие вокруг люди в халатах — врач и сестра. За окном слышится русская песня. Низкие мужские голоса солдат. Но в палате почему-то по-прежнему спокойно. Выходит, то, что годами внушалось пропагандой, не сбывается. Значит, для ее поступка нет ни причин, ни оправданий. Так стоит ли теперь жить? Не лучше ли уйти, избавить себя от жгучего позора? Она беспомощно посмотрела на доктора.

— Все это вы сказали, чтобы я оправилась от болезни? Или вы действительно так думаете?

— Ваш долг — жить, начать все заново, даже если ребенка нет в живых. Я убежден, что ваша вина значительно меньше, чем это вам сейчас представляется.

Хельга ошеломленно слушала.

— Обещайте мне быть благоразумной. Договорились?

Хельга кивнула.

Вскоре ее навестила фрау Мюллер. Она сказала, что приглядывает за их квартирой, там порядок. А тот самый нацист из их квартала как сквозь землю провалился. Введены новые продовольственные карточки, которые каждую неделю меняются властями четырех держав. Соседка сообщила, что ее муж служит теперь в городской управе и получает за это две карточки. Так что жить очень даже можно.

Хельга жадно слушала, ожидая ответа на вопрос, который нельзя было задать так же, как и обойти: Энна?

Снова работали кинотеатры. Трамвай уже ходил до вокзала. Новым бургомистром был тоже какой-то Мюллер. На Маркплатц теперь находилась советская комендатура, а начальник — по фамилии Берзарин — жил неподалеку от Мюггельзее.

— А Энна? — Хельга смотрела в спокойные серые глаза соседки.

— Мы с мужем похоронили ее.— В голосе ни тени упрека или осуждения.

Лето уже давало о себе знать — теплом и буйным цветом, когда Хельга вернулась туда, где померкла улыбка ее ребенка. В тот же день они с фрау Мюллер пошли на кладбище. Могила Энны. Маленький земляной холмик. Ни венков, ни креста, только небольшая деревянная дощечка... Минуты потрясения и боли...

По дороге домой думала о том, как снова начать жизнь. Зрела жажда искупления. Не терпелось окунуться в работу. Это будет деятельным раскаянием. Оно смягчит, загладит вину.

Они остановились у развалин. Когда-то здесь были доходные дома. Груды мусора, в которых почти терялась проезжая часть улицы. Изуродованные скелеты зданий словно звали к состраданию. Женщины в рабочих брюках и пестрых косынках убрали обломки. Над ними висело облако известковой пыли. Множество движущихся фигур, спорая работа — от этой картины веяло энергией обновления. Люди будто оттаяли. Теперь они снова могли смеяться. Хельга присоединилась к цепочке женщин, которые убрали камни, передавая их из рук в руки. Она была рада, что и для ее рук нашлось дело. Звон молотка, которым она сбивала с кирпичей наросты цемента, придавал ее мыслям какой-то простой и ясный настрой.

Иногда по улице проходили возвращающиеся из плена. Тощие, измотанные войной люди. На проволочных связках болтались банки суповых концентратов. Эти мужчины искали выживших родственников, искали дома, откуда ушли. Но чаще всего не находили. «Если мы отступим, содрогнется мир...» — вещал исходящий яростью Геббельс в последние дни «тысячелетнего рейха».

Хельга поняла, что ей надо готовиться к встрече. Своего мужа она любила сильнее, чем раньше. Но сможет ли Герберт по-прежнему любить ее, если узнает о том, что она совершила?

Бессонными ночами в ее воображении все чаще вставала картина: Герберт сидит на штабеле очищенных кирпичей возле двери их дома. Она видит его издалека. На нем залатанная солдатская шинель. Голова опущена, глаза закрыты, ввалившиеся щеки покрыты темной щетиной. Ей казалось, что она чувствует прикосновение его жестких, потрескавшихся губ. А сзади появляется лицо Энны. Оно сияет радостью и вдруг... меркнет, покрывается смертельной бледностью. Летят зажигательные бомбы, искрами пуржит запывавшая улица, по которой они с Энной бежа-

ли к станции метро «Лихтенберг»... Старуха акушерка, за-
давленная балкой... Изможденный муж, бредущий домой...
Представляя себе встречу с ним, она видела себя необы-
чайно скованной, закрепощенной. А он никак не хочет по-
нять самого страшного. Того, что она говорит ему совсем чу-
жим голосом: «Энна заснула у меня на руках...» И тут раз-
дается его крик: «Неправда! Зачем так жестоко шутить! Она
каждый вечер засыпала...» И, слушая этот сдавленный
волнением голос, не выдержав пристального, испытующего
взгляда, она бы призналась ему во всем: «Я натерпелась
столько страха... и дала Энне яд только потому, что любила
ее... самой сильной любовью». Он бы, конечно, отшатнулся.
После всех страданий, выпавших ему на долю в последние
месяцы, эта утрата стала бы самым страшным ударом.

Как она боялась встречи с мужем! Боялась и желала.
Каждый день мечтала о ней.

С тех пор как Мюллеры уехали в Ханнельсберг, в свое
маленькое хозяйство, она стала избегать других соседей.
Никто из них даже не намекал, что знает о случившемся,
никто не упоминал имени ее дочери, но это лишь неопро-
вержимо доказывало, что соседи осуждают ее поступок. Во
всяком случае, так ей казалось, и даже сочувственные
взгляды в ее сторону не могли ее разубедить.

Вскоре после капитуляции папаша Бенедикт слег в по-
стель. Она больше не встречала его ни во дворе, ни на ле-
стнице. Когда старика несли к больничной машине, Хельга
вместе с другими жильцами стояла у дверей. Он присталь-
но посмотрел на нее, поднял было руку, видимо, хотел что-
то сказать, но не хватило сил. А она готовилась услышать
от него то, что думали все.

Сама квартира стала для Хельги укором и обвинением.
В день возвращения из больницы она перетащила кровать
в столовую. Но каменная стена не могла оградить от про-
клятого места.

После тяжелой работы устало поднималась по лестни-
це, сразу шла на кухню и вставала у окна, обычно надол-
го. Она смотрела в пространство, не узнавая ничего и ни-
кого. Ей все мерещились фигуры в землистого цвета фор-
ме, мелькающие за деревьями сада, и она вновь пережива-
ла те страшные минуты и еще сильнее терзалась жестокой
бессмысленностью своего поступка.

Однажды ее разыскал доктор Кёрнер.

— Я вижу, вы держитесь молодцом, фрау Зайдель. Не
хотели бы снова работать по специальности? Нам крайне
необходимы медсестры. С вашим образованием вы очень
пригодились бы нам.

— Вы думаете, я смогу, несмотря на...

— Именно поэтому, сестра Хельга.

И Хельга дала согласие. Она была преисполнена благодарности: нашелся человек, который доверяет ей.

Начав работать в женском отделении, Хельга старалась отдавать людям все свои силы, быть опорой и поддержкой другим и тем самым уменьшить свою вину. Ухаживать за тяжелобольными стало ежедневной потребностью. И чем труднее это давалось, чем напряженнее шла работа над спасением чьей-то жизни, тем реже мучила ее память о том роковом апрельском дне.

Хельга и доктор Кёрнер стояли у постели одной старой женщины. Врач мог лишь горько констатировать, что возможности медицины в данном случае исчерпаны. Спасти больную нельзя. Полная обреченность. Война совершенно подорвала организм. Кёрнер тихонько прикрыл за собой дверь узкого помещения, в которое не любил заглядывать никто из персонала. Это было преддверие морга. Хельга держала исхудалую руку старухи. Пульс едва прощупывается. Морщинистое лицо застыло в абсолютной неподвижности.

Во дворе госпиталя заработала какая-то машина. Резкие, завывающие звуки перешли в пронзительный визг, не смолкавший несколько секунд. Потом что-то загрохотало, и машина, вероятно, заработала на пустых оборотах. Снова душераздирающий визг. Это был визг пилы, разрезающей бревна. Умиравшая вздрогнула. Ее беспокойный взгляд начал обшаривать комнату и наконец с ужасом остановился на фигуре в белом халате. И опять завизжала сталь. Женщина вздрогнула, как от удара. Раскрытые глаза стали неподвижны, замерли складки на одеяле.

Хельга уловила последний тяжелый толчок пульса. Смерть. И не первая за сегодняшний день. Ежедневно смерть уносила старых и молодых, страдающих сердечной недостаточностью, дистрофией, туберкулезом, добивала тех, кто не оправился от ранений. В потухших глазах застыл страх перед чем-то непостижимым. Хельга попыталась закрыть их — не получилось. На лице умершей появилось вдруг грозное выражение. В нем не было и намека на признательность за «самоотверженный труд милой сестры Хельги» — только обвинение в том, что не сумела отогнать смерть.

...А лицо убитого тобой ребенка? Энна тоже умерла у тебя на глазах, и твое лицо отражалось в ее угасающем взгляде!..

У Хельги бешено застучало сердце. Пила продолжала надсаживать душу, словно подражая предсмертному кри-

ку. Все, что как будто уже улеглось, зарубцевалось, спряталось в глубь сознания, снова вырвалось наружу. И напрасными оказались все усилия забыться тяжелой работой, заглушить боль, настроиться на другую жизнь. Пила все сводила на нет. Она безжалостно терзала нервы, будоражила память.

Хельга зажала уши. Ей не вынести этих мук. Надо пойти с повинной, надо во всем признаться тем, кто облечен правом судить. И только наказание сможет облегчить страшную боль.

Внезапно шум прекратился. За окном вполголоса разговаривали какие-то люди. Хельга отступила на шаг от покойницы, порывисто повернулась и вышла из комнаты. Доктор Кёрнер отложил в сторону бумаги и вопросительно посмотрел на нее.

— Смертельный исход, — сказала Хельга.

— Вы не побоялись присутствовать при этом?

— Для меня это имело особый смысл, — тихо ответила она и немного спустя торопливо произнесла: — Прошу дать мне два дня отпуска... без указания причин.

Врач внимательно посмотрел ей в лицо:

— Разумеется, сестра Хельга.

— Я виновата в убийстве ребенка.

Хельга Зайдель сидела перед следователем. Это был уже далеко не молодой человек с теплыми карими глазами и седеющей головой. Он попросил рассказать все по порядку. Делал какие-то пометки в блокноте. Терпеливо вникал в суть ее сумбурного самообвинения. Да, в его следственной практике это исключительный случай. На языке юристов его можно квалифицировать как убийство в состоянии сильнейшего аффекта. Надо добавить: с очевидным намерением покончить жизнь самоубийством. Намерение осуществить не удалось. Конечно, тут нет ничего общего с преступлением, совершенным из обычных эгоистических побуждений. Нет, однако, уверенности в том, что процесс будет формальным, с безусловным оправданием. И хотя в нашей юстиции уже нет ни одного нациста, но остались еще люди, мыслящие традиционно и не очень уверенно. Возможно, они будут цепляться за букву каждого параграфа. Эту женщину терзает чувство вины, она сама себя осудила на душевные муки. Ей нужна помощь.

Хельга умолкла. Теперь она чувствовала невероятную усталость.

Следователь откашлялся.

— Дело в том, фрау Зайдель, что вам, как и миллионам других, ежедневно морочила голову бесстыдная пропаганда. В конце концов это привело к катастрофическим последствиям. Нацисты немало потрудились, чтобы изобразить советских солдат существами низшего порядка, злобными, мстительными, бесчеловечными. А когда земля вокруг дрожала от бомбежки, когда фронт надвигался на город, эта самая ложь доводила людей до безумного страха, до настоящего психоза. У нас есть точные сведения, что огромное число граждан погибло не от пуль и взрывов, они стали жертвами обмана и устрашения. Можно сказать, что это ваш случай. Вы принадлежите к числу без вины виноватых. Фашизм принес громадный психический ущерб. И, работая медсестрой, вы, наверно, переживали немало людей, которых приходилось лечить от подобного рода потрясений.

Хельга подавленно кивала. В памяти возникали лица женщин, порученных ее заботам. Временами ей казалось, что душевное общение с больными — едва ли не самое главное в ее профессии.

— Я оборвала человеческую жизнь... Я не имела права... Я должна быть наказана,— запинаясь, сказала она. У нее не хватало сил самой наказать себя, ей хотелось, чтобы это сделали другие.

— Вы полагаете, что уголовный процесс облегчит муки совести?

— Да.

Судья все больше убеждался в том, что в данном случае наибольший социальный смысл имело бы простое человеческое решение.

— Вам не может быть предъявлено обвинение. Кому вас судить?

Весь долгий разговор поразил его отчаянной волей к искуплению. Но чьей вины? Вспомнилось все пережитое в концлагере Заксенхаузен. И это еще больше укрепило его в своём убеждении.

— Подумайте о будущем вашей семьи!

Она почувствовала крепкое рукопожатие. Ее не считают преступницей. Вот и доктор Кёрнер говорил что-то в этом роде.

На улице дул холодный, пронизывающий ветер. Всего три дня до первого послевоенного рождества... «Не может быть предъявлено обвинение... Подумайте о будущем...»

Трамваи были набиты битком. Люди висели на подножках, целые гроздья человеческих тел. Следующий будет не раньше чем через полчаса. Сейчас лучше побыть одной.

«Дорога ведет мимо Энны», — подумала она, предчувствуя знакомую боль при виде покрытой снегом могилы. Пурга белой плотной завесой скрывала от нее кладбище.

У озера не было ни души. Люди попрятались в дома, и казалось, что метель вымела их с улицы. Поднимаясь по лестнице, Хельга тяжело дышала. Стала сказываться усталость.

Уже подходя к двери, испуганно вздрогнула. На площадке стоял Герберт. Вопреки ожиданию лицо его не было бледным. Шинель выглядела как новая, без всяких следов починки. И никаких консервов на проволоочной связке.

Он обнял ее. Совсем как раньше. Она слышала его дыхание, чувствовала прикосновение щеки и намокшего грубого сукна. Она прижалась к нему, и на миг вернулось ощущение прежнего счастья. Но страх неминуемого объяснения быстро вернул к реальности.

— А мне пришлось немного подождать тебя. Дверь закрыта. Я позвонил Мюллерам, спросил о тебе. Примерно час пробыл...

Это все звучало как-то уж очень официально.

— Ну иди же, ты совсем замерзла.

Хельга повернула ключ в двери, и вновь ее обступило прошлое, вновь отчетливо, до рези в глазах, представились те апрельские дни.

Она сразу пошла на кухню: комнату видеть сейчас просто не могла. Взглянула в окно. Стекла покрыты морозным узором.

— Поставлю чайник, сразу согреешься... Долго пришлось добираться?

Она еще не успела снять пальто. Хотелось скрыть дрожь. Должен же он спросить об Энне. Герберт почему-то не шел в комнату, он не отходил от Хельги.

— Дай я на тебя погляжу.

Его руки легли ей на плечи. За стеклами никелированных очков — воспаленные глаза с красными прожилками. Ей показалось, что в них блестят слезы. В кухне запахло газом. И сразу странная мысль: возьми она Энну в тот день на колени и открой все три крана, не было бы этих бесконечных мук.

Герберт снял очки, приложил к глазам кусок льняного полотна.

— Сегодня утром во Франкфурте меня отпустили... На свободу. Признали совершенно больным. А некоторым еще долго ждать этого дня.

Почему он не спрашивает, где ребенок? Хельга уже сомневалась, хватит ли у нее силы продолжать разговор или просто стоять рядом с ним под его тускловатым взглядом, в котором читалась не радость возвращения, а, скорее, скорбь по невозвратным утратам.

— Сегодня я ходила в суд.

Герберт как будто не расслышал ее последней фразы, показал рукой на чайник:

— Вода уже вскипела.

«Он был у Мюллеров,— размышляла Хельга.— Просидел там целый час. Все это время они наверняка говорили. В первую очередь, конечно, о войне, о лагере для военнопленных, об освобождении.

— А как поживает моя Хельга?

— Ах, совсем неплохо, господин Зайдель. Ваша жена снова работает медсестрой. В госпитале работы, конечно, хватает. Сами понимаете...

— А наша маленькая Энна?

— Ах, Энна...

И фрау Мюллер повернулась к кухонному шкафу, стала почему-то рыться в его ящиках, а господин Мюллер немного покашлял и со свойственной ему прямоотой сказал:

— Маленькая Энна не дожидается до конца войны... Схоронили мы ее честь по чести...»

Хельга взяла картонную коробочку, где вместо чая держала смесь из разных трав, и стряхнула ее в заварной чайник. Немного просыпалось на стол. Как тогда с белым порошком...

А Герберт все молчал.

«Конечно, ему было невозможно расспрашивать Мюллера: «Не дожидается? Как это случилось? Бомбы? Обстрел?» И тогда господин Мюллер, надо думать, попытался все обстоятельно изложить. Разумеется, достаточно деликатно, но не скрывая всей ужасной сути происшедшего. Сколько сил потребовалось Герберту, чтобы выдержать эту внезапную боль. Он знает все»,— механически твердила про себя Хельга.

— Я слышал, ты вновь работаешь по специальности?

Хельга кивнула, поставила на стол чашки, достала пакетик с сахарином. И поймала себя на безотчетном желании убежать подальше отсюда, скрыться, исчезнуть.

— Иди же, а то остынет.

Муж на мгновение задержался у двери, огляделся вокруг, будто только сейчас осознал свое возвращение и посмотрел на жену так, точно впервые ее увидел.

«...Это моя Хельга. Самый близкий человек на свете... Но до чего же она сейчас чужая и далекая. Неужели она

убила ребенка? Как в это поверить? Она любила Энну больше, чем себя самое, ради Энны шла на любые жертвы...»

Они смотрели друг на друга, оба вдруг почувствовали, что настал момент полной откровенности. Хельга уже не могла сдерживать слезы.

«...Да у него нечеловечески сильная воля. Как он спокоен после всего, что узнал сегодня. Почему он не хватает, не трясет меня, не кричит мне в лицо: „Как ты могла одеть это? Неужели не подумала обо мне?..“»

— Ты доверяешь мне? — хрипло произнес он.

— Доверяешь... — машинально повторила она, и ей показалось, что в этом слове заключено обвинение. — Я всегда доверяла тебе, но тогда, в апреле, пересилило другое.

Его обожгло неожиданной болью. «Тогда пересилило другое... Что это другое? — мучительно размышлял Герберт. — Страх перед русскими? Страх перед смертью? Самоубийство из страха перед смертью? А я, выходит, не в счет?»

Он заставил себя изменить ход мыслей. Ему казалось, что в его душе задета какая-то струна и ее резкий, саднящий звук живет сам по себе. Этот звук ширился, наполнялся страшной силой и был его собственным страхом в те дни, когда остатки 9-й армии попали под беспощадный огонь советской артиллерии и солдаты молили судьбу даже не об отступлении, а об элементарном выживании. Думал ли он, охваченный леденящим душу ужасом, раздавленный животным страхом, о Хельге и об Энне? Да и было ли это возможно даже теоретически? И не великое ли счастье после всего этого видеть снова любимую жену, уцелевшую, как и он, в адском огне войны.

— Сколько же тебе пришлось вынести, бедная моя Хельга, — с заметным усилием произнес он. Подвел голос. А он-то еще собирался долго утешать ее. Разве это не чудо, что они снова вместе!

Она молча прильнула к нему. Его руки не отталкивали, нет, она ощутила его объятия.

— Завтра утром сходим к Энне, — дрогнувшим голосом сказала Хельга.

Случилось так, что она первой произнесла имя мертвого ребенка. Никогда не думала, что будет так. Глаза помутнели от слез, но она видела, что и у Герберта в глазах слезы. И она поняла, что вдвоем им легче будет нести свое горе и вместе они справятся с любыми бедами.

СОДЕРЖАНИЕ

Эберхард Паниц

НЕСВЯТАЯ СОФИЯ. Роман 7

Гюнтер Хофе

РАССКАЗЫ 189

Допрос 189

Далматинский кинжал 200

Пещера 232

Приговор 279

Новая жизнь 299

Несвятая София

Современная

проза

ГДР

Заведующий редакцией А. И. Белинский

Редактор И. И. Слобожан

Художник Д. М. Плаксин

Художественный редактор А. А. Власов

Технический редактор Г. В. Преснова

Корректор М. В. Иванова

ИБ № 4387

Сдано в набор 09.06.87. Подписано к печати 14.10.87. Формат 84 × 108¹/₂.

Бумага тип. № 1. Гарн. литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 16,80.

Усл. кр.-отт. 17,22. Уч.-изд. л. 19,51. Тираж 15 000 экз. Заказ № 187.

Цена 2 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

